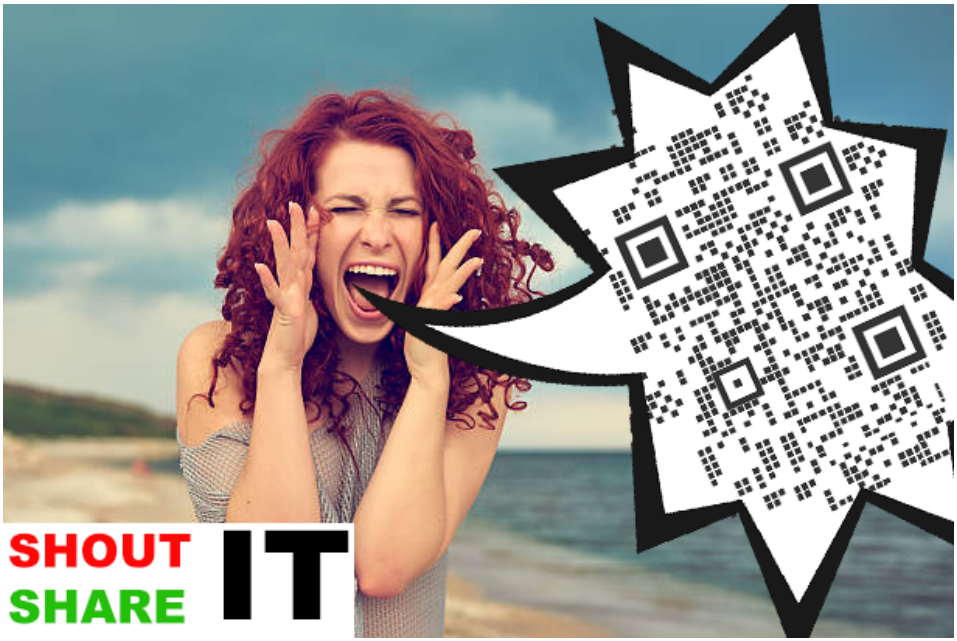
Ирина Емельянова

Легенды Потаповского переулка


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ирина Емельянова рассказывает о Б.Пастернаке, А.Эфрон, В.Шаламове, с которыми ей довелось встречаться в 50-60-е годы, а также о своей матери О.Ивинской (прототипе образа Лары в романе Б.Пастернака "Доктор Живаго"), разделившей не только тяжелые испытания в последний период жизни поэта (включая нобелевские дни), но и понесшей суровую кару за эту дружбу. Впервые публикуются письма А.Эфрон и В.Шаламова к О.Ивинской и И.Емельяновой. Воспроизводятся уникальные фотоматериалы из личного архива автора. В книгу включены также два очерка И.Емельяновой "Дочери света" и "Дудочник с Фурманного переулка".

- Легенды Потаповского переулка
- Письма А. Эфрон
- Варлам Шаламов
- Это было при нас…
- Дочери Света
- О Дудочнике с Фурманного переулка.Воспоминания об Инне Малинкович
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Легенды Потаповского переулка

Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.

Охранная грамота

Весенний день тридцатого апреля

С рассвета отдается детворе…

По-моему, это было именно тридцатого апреля.

Мне девять лет. На мне розовое парадное платье с бантами в тон. Привыкшая к военной и послевоенной бедности, я чувствую себя ужасно неловко. Но дело не только в платье. Сегодня у нас официальный прием — первый раз к нам в Потаповский должен прийти Б. Л., и от меня в связи с этим чего-то ждут.

Уже давно до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком («Моих лет!» — восклицает наша бабушка). Для нас не секрет и ее вечерние дежурства на балконе, когда между рядов «хмурых по случаю своего недосыпа» лип нашего двора (позднее я догадываюсь, что речь шла именно о них) долго бродят две фигуры — одна из них мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор — бабушка перемещалась к другому окну, и все это до тех пор, пока громкий, рокочущий на весь переулок голос Б. Л. — «Посмотрите, какая-то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» — не отгонял ее от наблюдательного пункта.

Кроме темных силуэтов между лип были и более ощутимые сигналы идущего где-то в другом мире романа — время от времени наша крохотная квартирка оглашалась призывными стуками, почти по системе Морзе, — стучали по радиатору ниже этажом наши соседи, счастливые обладатели редкостного в то время телефона, вызывая мать. Стукнув в ответ по вздувшейся от военной сырости стенке, мама мчалась вниз. Возвращалась не скоро, с лицом отсутствующим, погруженная в себя. В этих слухах, стуках, подглядываниях прошел первый год романа, и вот теперь, когда его неотвратимость осознана, совершается официальный прием.

Бедная мать волнуется. Боится за деда — милого, доброго, но, увы, безнадежно отставшего по своим поэтическим

привязанностям «некрасовца», явного, даже воинственного антимодерниста. О страхе перед решительным характером бабушки и говорить нечего. Одна надежда на меня.

Накануне вечером мама долго читала мне стихи. «А теперь прочти ты. Я знаю, ты хорошо прочтешь». Я читаю: «Дрожат гаражи автобазы…» Почему-то я не могу понять в них ни слова. Даже наверняка знакомые мне слова — гараж, автобаза, попав в эти стихи, поворачиваются непривычной стороной, и мне кажется, что я вижу их впервые. Не узнав, я произношу с немыслимым ударением — гаражи. Мать расстраивается, но делать нечего.

На столе коньяк, шоколадные конфеты. Наверное, мама боялась, что обычное наше угощение покажется Б. Л. недостаточно интеллигентным, и морила его голодом.

Вот, наконец, и он. Девять лет — возраст, когда вполне возможно точно запомнить и описать впервые увиденного человека. Однако я не помню, каким увидела Б. Л. весной 1947 года — осталось общее впечатление чего-то необычного: гудящий голос, опережающий собеседника, это знаменитое «да-да-да-да» — «поверх барьеров», вне беседы, «ни к селу, ни к городу»; смуглость, чернота волос (хотя он тогда уже начал седеть); странный африканский профиль… Во всяком случае, он мало походил на того легкого, седого, моложавого, красивого Б. Л., которого я видела так часто после 1953 года, и чей образ вытеснил из моей памяти эту смесь «араба и его коня», представшую передо мной в апрельское утро 1947 года.

Мама говорит, что я пишу стихи, и я от стыда готова провалиться сквозь землю. Б. Л. обещает, что он обязательно посмотрит, только не сейчас. И вдруг на меня обрушивается целый монолог на тему о том, сколько вреда русскому стиху принесли он и Маяковский, как было бы хорошо, если бы они не занимались поэзией, а шили костюмы или подметали улицы. «Ну что вы, нет, нет, — бормочу я, будучи до предела воспитанным ребенком. — Этого не нужно, зачем… нет, что вы…»

Поэму свою я для него переписала: это была история испанской красавицы Изолины де Варгас. Но Б. Л. так и не прочел ее — больше «семейных приемов» не было, наступила пора «разрывов». Затем, правда, их снова бросало друг к другу. Ну, а потом — мамин арест, тюрьма, лагерь… Хотя именно в эти годы, когда мы стали круглыми сиротами, Б. Л., чувствуя свою ответственность, свою невольную вину, часто интересовался моим «творчеством». (Я, слава Богу, подросла и стала скрывать свои сочинения.) Вот одна сохранившаяся открытка, присланная мне в тот же Потаповский уже позже, когда мама отбывала свое в Мордовии, уже умер не выдержавший горя дед, мы были бедны и

одиноки:

«Дорогая Ирочка! Мне всегда бывает некогда, и я тороплюсь, когда захожу к вам. Для того чтобы я мог прочесть твои стихи, о которых была речь зимой, и рассказ, надо, чтобы ты их переписала (от руки, конечно) и я их захватил с собой для прочтения. Сделай, пожалуйста, это в свободную минуту. Тогда я тебе напишу или на словах скажу свое мнение. Я уверен, что все это очень интересно и хорошо.

Твой Б. Л.

3 мая 1952 г.».

* * *

Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства.

Что же это было за семейство? Течение какой жизни, какого обихода нарушил нечаянной кометой ворвавшийся в ее атмосферу поток чужого существования?

Мама познакомилась с Б. Л. в 1946 году в редакции «Нового мира», где она тогда работала, и куда он принес первую книгу романа «Доктор Живаго», называвшегося в то время «Мальчики и девочки». Матери немногим более 30, она очень хороша собой. И прелестный образ молодой женщины в беличьей шубке, шагнувшей ему навстречу, был сразу же «нарезом» проведен по его сердцу. Однако по ковровой дорожке «Нового мира» навстречу Б. Л. шагнула отнюдь не девочка, отнюдь не простодушная Гретхен, какой она показалась ему в тот знаменательный день.

В одну из первых их прогулок по площади Пушкина, когда мать, по ее собственным словам, не могла еще поверить, не могла отнести к себе туманные признания, прорывавшие поток темпераментной, захлебывающейся речи Б. Л., он ей сказал примерно следующее: «Вы не поверите, но я — такой, каким вы меня видите сейчас, старый, некрасивый, с ужасным подбородком, — но я был причиной стольких женских слез!» Мать не сделала ему ответного признания, но, вернувшись после объяснения домой, всю ночь не спала — описывала свое собственное непростое прошлое. Целую тетрадь исписала. И ей было о чем писать в этой тетрадке, и было от чего волноваться, когда она вручала ее при следующем свидании с Б. Л. Очень живо

представляю себе, как обезоруживающе подействовала на Б. Л. эта ее доверчивость, открытость, и скольким Лара во второй части романа обязана материнской тетрадочке: отчаянностью, доверием судьбе, все перекрывающей жалостью.

Что же это была за тетрадочка? Мама рассказывала о судьбе двух своих покойных мужей, судьбе непростой, трагической. Наверное, только в послереволюционной России, когда все, по выражению Толстого, «переворотилось, да так и не уложилось», возможны были такие скрещенья судеб, в жизнь врывались люди, с которыми просто невозможно было бы пересечься, не будь великих социальных потрясений. Я понимаю, какое знамение времени видел Б. Л. в по-разному оборвавшихся жизнях этих двух людей.

Сначала о моем отце — Иване Емельянове. В нашем семейном альбоме есть фотографии высокого человека с тяжелым, мрачным, но красивым лицом, с атлетической фигурой участника первых физкультурных парадов. Это — Иван Васильевич Емельянов, фамилию которого я ношу. Он был вторым (или третьим?) маминым мужем и считается моим отцом. Гладя на его лицо, трудно поверить, что он простой крестьянин из-под Ачинска, что его мать, старуха в черном платке, — неграмотная деревенская баба. В этой семье чувствуется порода и красота.

По комсомольскому призыву Ваня Емельянов из далекой Сибири приезжает в Москву, здесь он кончает рабфак, потом — университет, становится директором школы рабочей молодежи. Я помню, что в детстве нашла в книжном шкафу завещанное мне «наследство» — готовальню: «Дочери моей Иринушке», детские издания: Бонч-Бруевич — книги о Дзержинском, Орджоникидзе, Сталине с той же надписью. Отец купил их, когда мне не было и трех месяцев. А через полгода он повесился, узнав, что мама хочет уйти от него и забрать ребенка. На похоронах товарищи по партии проклинали мать: «Ваня, Ваня, из-за бабы, из-за…» Это было в 1939 году.

Конец 30-х годов… Аресты, процессы… В нашем доме (кооператив 1930 г., отошедший к Министерству обороны) жило много военных: Гамарник, военспецы, офицеры из штаба Тухачевского. Как опустел он за эти годы, и только «воронье» (чекисты) копалось на пепелищах разгромленных квартир. А одновременно — сорвавшиеся с цепи советские администраторы устраивают валтасаровы попойки, «моральные устои» трещат по швам, в месткомах смакуются дела по «разложению». Емельянов явно был человеком другого склада — верным семьянином, тяжелым и требовательным мужем. Конечно, матери было трудно

жить с ним. Вспыхивали и гасли мимолетные романы. Брак этот был обречен.

Как ни горевала бедная мама, считая себя виновницей гибели несчастного Вани, ей не пришлось долго носить траур. Справлялись поминки, где проклинали ее его друзья, а у подъезда дома ее уже ждал человек в кожаном пальто, вполне и со вкусом вписавшийся в новый советский быт. Это Александр Виноградов, отец моего брата Мити. Родом он из деревни Светлые Ключи Владимирской области. Огромная семья, непролазная бедность, болезни, пьянство. По-видимому, яркий, инициативный человек, он уже в 14 лет руководит комбедом, быстро становится председателем колхоза, уезжает в город. Там, на мутной волне «великого перелома» 1929-го года выбивается на руководящую работу. Он — администратор, кадровый работник. В одной из своих ипостасей — главный редактор журнала «Самолет» при модном тогда ОСАВИАХИМе. В редакции этого журнала работает мать, которой по душе его широкая русская натура, обаяние, щедрость. Да и служебный автомобиль, шофер Вася с белозубой улыбкой (есть фото в нашем альбоме), танцы в «Ударнике», на рассвете поездки на дачу, с клаксонами, с пластинками, с шампанским. Будят маленького ребенка, бабушку — застолье, патефон на траве, прелестные женщины в крепдешиновых сарафанах… Можно подумать, что счастье улыбнулось.

Вскоре мама выходит за него замуж. Она уже беременна, ждет второго ребенка, и тут арестовывают бабушку. А Виноградов и бабушка давно не ладят. Бабка против его прописки в нашей квартире. Мать начинают мучить подозрения. Обвиняют Марию Николаевну Костко в антисоветской агитации, в частности в критике фильма «Ленин в Октябре», которая вроде бы за пределами квартиры не звучала… Впрочем, в те годы арестовывали так часто, что это никого не удивило, но, тем не менее, между мамой и мужем, который клянется, что невиновен, происходят безумные сцены.

Хотя уже началась война, суд предполагается открытым, мама берет адвоката. И этот адвокат при тайном свидании с ней в комиссионке на Арбате доверительно сообщает, что видел в деле донос Виноградова. Разумеется, мама не сдержала слова, данного Аронову, адвокату, который был ею увлечен и потому неосторожен. Нервы сдают, она выпаливает мужу все, что узнала. Тут даже Шекспир мог бы попросить другое перо! Наступает день суда, вводят похудевшую, но веселую бабушку (о, она вполне уверена, что с таким адвокатом пронесет!), и тут Аронов, бледный, сообщает маме, что его только что судья отстранил от дела. Суд не откладывается, Виноградов берется быть

общественным защитником и защищает бабушку блестяще. Ей дают всего лишь шесть лет лагерей!

Оставим в этой истории темные пятна. Когда-нибудь юный член «Мемориала» разыщет в Красногорском архиве истлевшую папку дела Марии Николаевны Костко, оживут и заговорят его герои. Но это уже не на нашем веку.

Как ни тягостны были испытания военных лет, они принесли даже известное облегчение — кончились доносы, подозрения, внутрисемейная ложь. Беды стали не мнимыми — настоящими: надо было выживать, спасать детей, семью.

Виноградов умер в самом начале 1942 года от воспаления легких, оставив мать и больного деда с двумя маленькими детьми, а также всю свою огромную деревенскую родню, которую он содержал и возил за собой. Мать героически бьется эти военные годы, сдает кровь, по ночам выкапывает оставленную на полях картошку, ездит по деревням менять тряпки на муку, дед начинает сапожничать. От бабушки нет никаких известий. Мы знали только, что она находится в лагерях Горьковской области на станции Сухово-Безводное. Это Сухове и это Безводное, склоняемое дедом и матерью в различных падежах много лет, начинает казаться нам с Митькой каким-то Кощеевым царством, где лежат сухие кости на сухой, без капельки воды, земле. Однажды мы узнаем, что лагеря бомбят, заключенные гибнут от голода и болезней. Мама решается ехать… Без билета, под лавками, в теплушках, где солдаты прячут ее, прикрывая своими мешками и загораживая сапогами, — добралась она до места. Из этого путешествия мама привозит почти полумертвую бабушку и рассказы о солдатской доброте — никто не тронул ее, молоденькую и красивую, одну; наоборот, помогали, вспоминая, может быть, своих сестер или невест. Но это не последнее путешествие матери в теплушке и не последние солдаты, правда, вот доброта…

Когда бабушка в черных лохмотьях, с суковатой огромной палкой появилась в нашей квартире, я завизжала от ужаса — это был настоящий Кощей из настоящего Сухово-Безводного. И напрасно счастливый дед умолял поцеловать бабушку, меня безумно любившую, — я не могла подойти к ней целую неделю.

Прошло около трех лет, и прелестная молодая женщина, похожая на Гретхен, стоит у окна «Нового мира», накинув на плечи старенькую беличью шубку. Но слишком жива еще память о несчастных и погибших, их неостывшие тени еще бродят по нашей квартире, и когда Б. Л. посмотрел в ее красивые голубые глаза, он в них, наверное, мог многое прочитать.

* * *

Увы, прием не принес мира в наш дом, бурлящий скрытыми страстями, которые до меня, девятилетней, доходили глухими подземными толчками. Прошел год, бурный и странный, мать часто рыдала в своей комнате, взрывалась, в деда, милого бедного моего деда, которого мы с Митькой без памяти любили, летели ложки и чашки, когда он начинал подшучивать над стихами Б. Л. и, запинаясь, воспитанный на Некрасове, пробовал читать «Сестру мою — жизнь». Бабка осталась непримиримой, ее все не устраивало — и то, что Б. Л. женат, а у матери двое детей, и надо подумать об их обеспечении — нужен муж; и то, что он старше мамы намного, и то, что все — «не как у людей». И откуда только у нее взялась эта страсть к респектабельности?

Неожиданно крики и скандалы прекратились. В доме стало тихо, бабушка ходила с виноватым видом и о чем-то шепталась с дедом на кухне. Мы с Митькой играли в маминой комнате, которая вдруг опустела. Мать исчезла. Признаться, мы, привыкшие к обществу бабушки и деда, мало интересовались ее отсутствием. Но прошло несколько дней, а она не появлялась. Из притушенных разговоров старших мы узнавали страшные вещи: она в сумасшедшем доме, в больнице имени Ганнушкина. Бабка сама написала заявление, чтобы ее забрали. Это оказалось неправдой. Она отравилась. Она в больнице и умирает. Но и это было не совсем так. Она отравилась, но была не в больнице, а у своей приятельницы Люси П., которую бабка считала источником многих неприятностей, и домой возвращаться не хочет. Мы с Митькой присмирели и притаились.

Мы уже привыкли жить без матери, как вдруг она вернулась, виновато просунув в дверь бледное личико, как-то по-новому, по-больничному, повязанное простым платком. Она вернулась тихой и какой-то маленькой и долго не выходила из дома. Но потом все пошло по-прежнему.

И год спустя, опять в весенний день, когда по нашему переулку текли апрельские ручьи, в намокшей шубе, перешитой из бабкиной дохи, я шла с Б. Л. «в центр» за покупками. Он получил деньги и хочет сделать мне подарок. Мы идем в книжный магазин. Я впервые наедине с этим совершенно непонятным для меня человеком, перевернувшим вверх дном нашу и без того незадачливую жизнь. Я безумно стесняюсь и не знаю, как себя вести.

— Как мокро. Мы можем промочить ноги, — говорю я.

Б. Л. отзывается стремительно, целым потоком фраз, перекрывающим клокотанье ручьев и сливающимся с ним, так

громко и взволнованно, что я с испугом озираюсь на прохожих: «Тебе кажется, что нужно что-то говорить. Что нельзя молчать, что нужно развлекать меня. Я тебя так понимаю, мне это так знакомо!»

Признаюсь, после этого я не почувствовала себя свободней. Но меня пронзила точность попадания — в самую сердцевину моего состояния, моего детского страха неловкости. У меня была выбита почва из-под ног. Теперь он разгадает каждое мое слово.

К счастью, мы ловим такси. Приезжаем на Кузнецкий и поднимаемся на второй этаж в Лавку писателей. Б. Л. шумно здоровается с продавщицами, представляет им меня, что мне ужасно не нравится и кажется странным, заполняет собой, своим голосом, движениями тесную магазинную верхотуру. Но я вижу, что его любят здесь, не воспринимают как чудака, и успокаиваюсь. Он спрашивает, какие книги мне нравятся. В замешательстве я отвечаю, что хочу Чехова. Мы покупаем великое множество разных книг — только русскую классику — покупаем огромные прямоугольные фолианты Гончарова. Островского, Тургенева, столь широко выпускавшиеся в те годы. И Чехова.

Потом — возвращение домой, в такси, загруженном перевязанными свертками. Я держу входную дверь Б. Л., он — мне, наконец, мы протискиваемся вместе, едва не уронив в расплывающийся снег покупки, и поднимаемся с этим драгоценным грузом на шестой этаж — мы дома. Слышу гудение голоса Б. Л. за дверью маминой комнаты: «Олюша, как хорошо, что она хочет Чехова!»

Такие подарки он делал мне регулярно. Вот обтрепанный детгизовский Чехов издания 1947 года, на титуле — размашистый любимый карандаш:

«Дорогая Ирочка, золотая, прости, что я не пришел вчера на твое рождение. Будь счастлива всю жизнь, хорошо учись и будь прилежной, это лучше всего.

Твой Б. Л.

25 мая 1948 г.».

Детгизовский «Гамлет» издания 1947 года, на титуле:

«Твоим детям, когда они вырастут, но к тому времени Гамлета переведут еще лучше и, во всяком случае, будут лучше издавать. Будь счастлива и здорова.

Б. Пастернак

1 окт. 1947».

Детгизовская биография Фарадея: «Дорогой Ирочке к Новому году. На память.

Б. Пастернак

31 дек. 1947».

Детгизовский «Генрих IV»:
«Моей Ирочке
Б. Паст. (без даты)».

* * *

Но вот минует и этот, достаточно тяжелый, но весьма смутно запомнившийся год, и наступает другой, страшный уже по-настоящему, распадающийся на четкие, навсегда оттиснутые в памяти картины — сорок девятый.

В жизни человека обыск и арест — немаловажная веха, и, по-моему, каждый должен написать историю своего ареста, как писали раньше историю первой любви. Но какой же описать мне? В нашем семействе их было слишком много, и сейчас, когда я стараюсь осознать, какой же из них сыграл наибольшую роль в моей жизни, то просто теряюсь. Может быть, этот, второй, мамин? (Первый — бабушкин — 1941 год.) Потому что мне было только десять лет, и это тот возраст, когда уже все помнишь и мало что понимаешь. Первое простукивание стен, шепот деда: «Золото ищут? Или тайник?» Первое опечатывание двери. Первый акт о вскрытии печати. Первое пробуждение наутро: как идти в школу? Как сказать об этом? Как жить?

Конец октября. Я возвращаюсь из школы. В портфеле у меня новая повесть Л. Кассиля «Черемыш — брат героя», которую мне дала подруга всего на вечер — в классе на нее очередь. Я не успеваю позвонить в дверь, как ее распахивает ослепительно улыбающийся военный. В октябре темнеет рано. И хотя до вечера еще далеко, всюду зажжен верхний свет — что бывало в исключительных случаях, и на каждом стуле кто-то примостился. На вешалке — голубые околыши, шинели, из маминой комнаты тянет непривычным папиросным дымом, сквозь полуоткрытую дверь видны разбросанные на полу журналы и книги. Я повесила свое пальтишко поверх шинелей и осторожно, как не у себя дома, присела на край стула. Рядом, опустив голову, сопел усатый дворник, в ватнике и белом фартуке поверх него. На маленьком красном диванчике безумно испуганный, что-то бормочущий А. Крученых. Он часто забегал к нам по вечерам (жил неподалеку) поужинать, поиграть в карты (игрок он был очень азартный и… лукавый!), порыться в книгах — и вот, влип. Около него на том же диванчике нелепая фигура брата деда — Афанасия, дяди Фони, как мы его называли. Он забрел на огонек и в полном ужасе, ничего не понимая, таращил свои огромные голубые глаза — давно был немного не в себе. Заплаканное лицо бабушки. Ясно

— в доме беда. Что-то с мамой.

Пахнет валерианкой и еще какими-то лекарствами, это деду плохо, у него сердечный приступ. Глухая тетка из Сухиничей, приехавшая погостить на «октябрьские», тычется из угла в угол. Она ничего не умеет, не знает, как помочь, где лекарства, но уж суть происшедшего понимает отлично — дядя Володя, ее муж, перед войной расстрелян в Архангельске как спец — вредитель леса. И с тех пор она по Козельскам да Сухиничам, библиотекаршей при школе, глухая, маленькая, тише воды, ниже травы. Да и все мы такие в этой квартире: старики, вдовы, дети — а квартир таких по всем домам, а домов таких по всей стране… В маленькой комнате спали мы с братом и сестрой бабушки, неизлечимо больной, почти не встающей с постели, тяжелым инвалидом. Она жила только радио и книгами, но знала почему-то всегда больше других.

Это она объяснила мне: идет обыск, мать уже увезли час назад на Лубянку. Эта тетка тоже не новичок в таких переплетах — в тумбочке возле своей высоченной кровати хранит она извещение, что муж ее, Виктор Станиславович Войцеховский, бывший польский офицер, арестован в Алма-Ате как отравитель лошадей, приговорен к расстрелу в 1937-м и приговор приведен в исполнение. От нее получаю я и две установки, две ключевые фразы: «время сейчас очень сложное» и в ответ на вопрос о вине матери: «нет дыма без огня».

А вокруг переплетается трагедия с фарсом, сливаясь в сплошной кошмар. У присутствующих требуют удостоверения личности, документы, «бумаги». Открывают и мой портфель. «Черемыш — брат героя» откладывается в сторону, в стопку, в которой узнаю маленькие изящные томики — «Второе рождение», «1905 год»… Но «Черемыш», данный на один вечер? Что я скажу Гале Тюриной завтра? А ведь «завтра» — будет! Я бросаюсь на защиту. Полковник (а может, майор? Плохо разбираюсь) смягчается, трясет книгу, щупает корешок: «Держи. Интересная вещь, стоит читать?»

У Крученых при себе документов не оказывается. Он объясняет, что он поэт, футурист, член ССП, друг Маяковского, вот, только что вышла книга — «Крылатые слова», там его выражение «заумь», как крылатое. Он лезет в портфель, знаменитый, обтрепанный до невозможности портфель Крученых, где хранилось немало сокровищ, добытых разными путями, вытаскивает книгу, тычет в абзац. Больше всех испуган дядя Фоня, который работал тогда в коктейль-холле на улице Горького ночным сторожем. Часто приносил нам соломку для коктейлей, салфетки деду, какие-то разноцветные ленточки. Он решил, что

для него пришел час расплаты, что «бумаги» — это салфетки и пипифакс, который он брал все-таки украдкой, что вся эта торжественная обстановка, военные, дворник — все это, чтобы арестовать его за кражу. Впрочем, я не знаю, что именно он думал, но ужас, с каким он вытаскивал из кармана мятые салфетки, «бумаги», был неподделен.

Крученых, несмотря на внешнюю богемность, был невероятным педантом и свято соблюдал режим дня, который предписывал ему лечь спать ровно в 11, а тут не отпускали домой. Там у него снотворное, он привык спать в собственной кровати, он просто сосед, он не имеет никакого отношения… Все это он выкрикивал довольно нервно, но безуспешно. В конце концов он набрал в рот воды — у него был такой странный метод беречь горло, лишая себя возможности говорить, и улегся на крохотном диванчике.

Хлопали двери, кто-то уходил, приходил. Передавались новости. Оказывается, дед услышал, как майор, отвозивший мать, сказал главному, что «плохо довезли», что она плакала в машине. Глухая тетка никак не могла разобрать, о чем он говорит, ей кричали в самое ухо: «Плохо довезли…» Эти по слогам повторяемые слова, бормотание Крученых, сопение дворника, хлопанье дверей — все слилось, смешалось у меня в голове. И скворчонком стучала мысль: «Как идти завтра в школу? Как сказать об этом в классе? Как жить?»

Еще одна деталь, маленький символ, запомнилась мне из того страшного дня — круглая стеклянная банка, в которой я держала рыбок, пучеглазых «телескопов», вуалехвосток. Рыбам нужно было менять воду ежедневно, к вечеру они начинали задыхаться, подплывали к поверхности воды, судорожно разевая рты. Я не могла оторвать глаз от этих рыб. Надо было заставить себя обратиться к «главному», испросить разрешения выйти на кухню, набрать воды, пересадить рыб. У Мити, брата, которому было тогда семь лет, такая же проблема возникла с ежом — еж оставался на балконе, куда он вынес его погулять на час, не зная, что через час дом — будет уже не наш дом, и балкон нельзя открыть, когда хочешь.

Было часа два или три ночи, когда, опечатав дверь в комнату мамы, составив непременный акт о «наложении печати», сотрудники приступили к решению нашей судьбы. Мы с Митькой лежали в темноте, прислушиваясь к голосам за стеной. «Детский дом, детский дом», — твердили мужские голоса, а бабушка что-то неуверенно им возражала. Конечно, мы теперь были круглыми сиротами — без отца и матери. Дед получал всего 66 рублей как инструктор сапожного дела в доме инвалидов. Правда, еще

подрабатывал, у него вообще были золотые руки и, лишенный возможности преподавать (как же, сын священника!), он выучился сапожничать. Брал на дом заказы: вечерами стучал молотком на кухне, подбивая подметки, каблуки. Получал какие-то крохи. Но как жить на это огромной семьей?

Всю ночь мы не могли заснуть и лишь под утро немного успокоились и задремали: бабка и дед подписывают какую-то бумагу, в которой отказываются отдавать нас в детский дом и берут под опеку. С этого дня дед перестал быть для нас дедом и превратился в «опекуна».

Но настоящим нашим опекуном стал Б. Л. После свершившегося несчастья бабушка примирилась с нереспектабельным маминым романом. Б. Л. стал для нас источником существования, первые годы — главным, а после смерти деда — и единственным. Ему мы обязаны бедным, трудным, но все-таки человеческим детством, в котором можно вспомнить не только сто раз перешитые платья, гороховые каши, но и елки, подарки, новые книги, театр. Он приносил нам деньги.

Вот он сидит у огромного нашего стола, покрытого старой клеенкой, в одной из двух оставшихся комнатушек (комнату матери бабушка стала сдавать жильцам), не снимая пальто, длинного, черного, в котором ходил до последних дней, и в черном каракулевом пирожке, уже и тогда не новом. Как всегда, он очень торопится — и действительно, ему некогда, но, кроме того, он хочет уйти от зрелища нашего неблагополучия, от своей безумной жалости к нам, меру которой я только спустя много времени смогла себе по-настоящему представить, от надрывающих душу бабкиных рассказов. Когда я слушала их, я просто каменела от стыда: ну, зачем так разжалобливать? Зачем так преувеличивать? Ну, ездили с восьмилетним Митькой в Перово, отвозили посылку (в Москве такие отправления не принимали), ну, был ветер, ну, мать жалуется в письмах, но все-таки жить-то можно. Я начинала демонстративно смотреть в книгу, что Б. Л. сразу же отмечал и, как всегда, — попадал: «Ирочка, ты, конечно, не хочешь, чтобы я ушел, но мне действительно надо спешить…» Ритуальный шумный поцелуй на прощанье, хлопает дверь, Б. Л. быстро — так бегал он до самого конца своих дней — спускается по лестнице. А теперь бабка положит деньги в сумку, пойдет платить за квартиру и накупит нам всяких вкусных вещей.

Сорок девятый, пятидесятый, пятьдесят первый… Тянутся эти ужасные годы, как похоронные дроги, и каждый хуже предыдущего. Сколько раз бабушка повторяла в те дни: «Пришла беда — отворяй ворота!» И сколько раз повторяла это я уже

десять лет спустя.

Еще идет следствие. Вдруг бабушка получает какой-то таинственный знак и идет на свидание к неизвестной женщине, сидевшей вместе с матерью на Лубянке, но выпущенной. Возвращается сама не своя. Мать беременна, пять месяцев. Измучена ночными допросами. Правда, получает дополнительное питание и лишних двадцать минут прогулки. Об этом срочно сообщается Б. Л„который приходит в отчаянье. Его самого в скором времени вызывают на Лубянку, и он отправляется туда в полной уверенности, что ему выдадут ребенка, — кажется, даже захватывает какое-то одеяльце. Но вместо ребенка на стол кладут кипы его книг, отобранные у матери при обыске, — его подарки ей во время их романа, с нежными подписями, которые он, вернувшись к себе, почему-то вырывает. Может быть, потому, что их изучали на Лубянке?

Судьба ребенка повисает в воздухе. (Спустя много лет мама пыталась рассказать мне, что же все-таки произошло с ней там, но четкой картины так и не получилось. По ее словам, следователи все время внушали ей мысль, что Б. Л. тоже арестован, находится в камере на Лубянке, и обещали ей дать с ним свидание. Однажды, сказав, что сейчас она увидит своего Пастернака, надзиратель заставил маму пройти через множество подземных коридоров и подвалов тюрьмы, и когда нервы у нее были уже на пределе, ввел во внутренний морг Лубянки, где на нарах лежали закрытые холстиной трупы, и, ничего не сказав, запер там. Мать пыталась угадать, какой же из мертвецов Б. Л., но поднять холстину не решилась. Там было очень холодно, не на чем сидеть, цементный пол… Она села на пол и не помнит уже, сколько просидела, так как потеряла сознание. Очнулась в тюремной больнице, где узнала, что у нее на нервной почве был выкидыш.)

Следствие кончается: ОСО, знаменитая «тройка», дает маме «детский» срок — пять лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58/10. Кроме агитации и пропаганды ей инкриминируется «близость к лицам, подозреваемым в шпионаже».

* * *

Прошло более четырех десятилетий, и в 1992 году, в разгар постперестроечных надежд, я пришла на Лубянку, чтобы ознакомиться с этим делом «изнутри» — прочитать протоколы маминых допросов, начиная с того октябрьского вечера, когда мы, совсем еще маленькие, ждали решения своей судьбы. А что же происходило в это время внутри тюремных стен?

В 1992 году Лубянка была уже не такой страшной — и дежурные приветливые, и трехцветный флаг над входом, и симпатичный полковник в джинсах, принесший мне мою папочку. Возникало обманчивое чувство, что, может быть, подтаяли кровавые стены… Для тех, кто хотел ознакомиться с делами своих репрессированных родственников, на Кузнецком отвели небольшую комнату — слишком небольшую для всех желающих: очередь на «ознакомление» тянулась месяцами. Комната была набита людьми, шелестели выцветшие страницы, громоздились страшные серые папки, канцелярские «амбарные книги» с номерами дел. Рядом со мной кто-то читал протоколы по делу Сергея Эфрона. Папок была целая гора, так как следствие велось разными ведомствами — и прокуратурой, и разведкой, и НКВД. Более десятка томов возвышалось на столе, почти скрывая читавшего. Вот так в этих стенах в последний, может быть, раз снова скрестились судьбы мамы и Ариадны Сергеевны Эфрон, Али, верного друга нашей семьи. На одном столе лежали их «дела», их тайны, одновременно они вышли на свет и заговорили.

Был душный московский июль, раскаленный Кузнецкий дышал в окна; посетители, в основном пожилые, томились от жары, вытирались платками, многие плакали. Женщина средних лет склонилась над тоненькой папкой 1933 года и рассматривала высохшую желтую четвертушку бумаги — приговор о расстреле отца. «Включите хотя бы вентилятор», — попросила она симпатичного полковника. Тот подошел к огромному, с резиновыми лопастями старомодному вентилятору, стоящему на том же столе, включил. Лопасти рванули, поднялся вихрь, и иссохшая четвертушка рассыпалась прямо на глазах, осталась пыль. Как Дракула при свете солнца.

Моя папка была новее — октябрь 1949 — июль 1950 годов. Открывала я ее, признаться, с некоторой тревогой. Столько слухов ходило в Москве по поводу маминого ареста, недоброжелатели объявляли ее уголовницей, приписывали получение денег по чужим доверенностям, еще что-то, не помню… (Хотя каждому, даже косвенно столкнувшемуся с карательной системой тех лет, ясно, что любую уголовщину можно было повесить на любого — например, приписать престарелому профессору изнасилование ассистентки, как было на процессе правотроцкистского блока.)

Я опасалась, что эту грязь могли протащить и в дело. Но этого не случилось. Те немногие странички, что лежали передо мной, оказались абсолютно неуязвимы. Это было классическое липовое дело 58-й статьи по агитации и пропаганде. И я поразилась стойкости, с которой моя бедная мама противостояла

этому бреду. Конечно, ее не пытали, не истязали, как Ариадну. Ее мучили ночными допросами, запугивали арестом Б. Л., очными ставками. Да и терзала мысль, что брошены на произвол судьбы двое маленьких детей и беспомощные старики — дед с бабкой, что арестован любимый человек. Но она упрямо сопротивлялась следователю, отвергала идиотские обвинения. Только после больницы (о чем есть запись в деле), после того страшного, что с ней случилось в морге, она начинает немного уступать и признается, что «необъективно высоко» оценивала творчество Пастернака.

Впрочем, пусть читатель судит сам — вот протокольные записи. Опущено второстепенное — показания некоторых свидетелей, изобличавших ее в клевете на советский строй. Что значат эти «изобличения», сегодня знает каждый. И как они добывались, — тоже знает.

На этих допросах мама, конечно, победила — ни одно ее слово не могло лечь в «дело Пастернака», использоваться против него.

Дело № 3038 (архивный номер Р 33 582)

Начато 12 октября 1949 г.

Кончено 5 июля 1950 г.

Постановление

«…Установлено, что проявляла антисоветские настроения, а также настроения террористического характера… Кроме того, отец в 1918 г. перешел на сторону белых, мать репрессирована в 1941 году…

На основании изложенного — арестовать Ивинскую О. В.

Семенов, Киселев, Волков»

Опись имущества, принадлежавшего арестованной

«Кровать железная, подставка для цветов, чулки — три пары…»

Квитанция начальника тюрьмы

«Изъято у арестованной: пояс с резинками, бусы стеклянные, плечики ватные — пять штук».

Обязательство

«Я, Костко М. Н., добровольно беру на себя опеку и воспитание на своей жилплощади И. Емельяновой (11 лет) и Д. Виноградова (8 лет), которых обязуюсь воспитывать в соответствии с советскими законами».

(Обязательство отобрал капитан Коптелов.)

Рапорт

«В квартиру пришли и были задержаны следующие лица:

1. Крученых А. Е., писатель.

2. Францкевич И. В., пенсионерка.

3. Костко А. И. (1881 года рождения), родственник.

4. Ивинская Н. И. (1889 года рождения), родственница.

Перечисленные лица допрошены и отпущены в 4.00 часов».

Опись изъятий

А. Ахматова. «Поэма без героя» (на машинке), книги «Четки», «Белая стая» с надписью «Дорогой О. В.».

Стихотворения О. В. Ивинской «Красная площадь» и «Молочная жила» (очерк).

Стихотворения Л. Чуковской с надписью «Дорогой О. В. Ивинской».

Дневник Ивинской 1930 года на 25 листах.

Стихотворения разные на 460 листах.

Поэма порнографическая.

Письма разные 157 штук.

«Близнец в тучах» (на машинке).

«Темы и вариации».

Фото Ивинской — 13 штук.

Расписки

1. «Документы и фото возвращены по просьбе арестованной ее матери».

2. «Книги, принадлежащие Б. Пастернаку, возвращены ему по просьбе…» (расписка Б. Л.).

Акт о сожжении

«С 1-го по 21-е наименование, как не имеющие отношения к делу, уничтожить путем сожжения».

Сожжение произведено[1].

Подпись: Семенов

Список приобщенных к делу вещдоков, изобличающих Ивинскую О. В. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58/10

«Дело Корнилова».

«Дело Керенского».

«Канун 17-го. А. Шляпников».

«Н. Ленин. Г. Зиновьев». Мемуары А. Поливанова.

Анонимная статья о творчестве Пастернака антисоветского содержания (на машинке).

Стихотворение С. Есенина «Послание Демьяну Бедному», переписано Ивинской.

Биография И. Б. Тито (2 стр.).

Два письма антисоветского содержания: А. Недогоновой и Б. Пастернака.

Протоколы допросов

(Следователь А. Семенов)

Вопрос: Расскажите о своем отце.

Ответ: Насколько я знаю, мама разошлась с ним в 1913 году. От моего дяди Владимира мне известно, что он в 1914 году умер от тифа.

Вопрос: Не договариваете. У нас есть сведения, что в 1918 году он примкнул к бельм. Ваша мать была репрессирована за свою антисоветскую деятельность?

Ответ: Никакой антисоветской деятельностью она не занималась.

——

Вопрос: Расскажите о своем знакомстве с Б. Л. Пастернаком.

Ответ: Познакомились в декабре 1946 года в редакции «Нового мира», где я тогда работала.

Вопрос: Когда вступили в интимную связь?

Ответ: Интимную связь установили в июле 1947 года.

Вопрос: Охарактеризуйте политические настроения Пастернака, что вам известно о проводимой им вражеской работе, проанглийских настроениях и изменнических намерениях?

Ответ: Его нельзя отнести к категории антисоветски настроенных людей. Изменнических намерений у него не было. Он всегда любил свою родину.

Вопрос: Однако у вас изъята книга на английском языке о творчестве Пастернака. Как она к вам попала?

Ответ: Эту книгу действительно принес мне Пастернак. Это монография о его отце, художнике, изданная в Лондоне.

В опрос: Как она попала к Пастернаку?

Ответ: Эту книгу привез ему из заграничной поездки Симонов.

В опрос: Что вам еще известно о связях Пастернака с Англией?

Ответ: Кажется, он один раз получил посылку от сестры, живущей в Англии.

Вопрос: Чем была вызвана ваша связь с Пастернаком? Ведь он намного старше вас.

Ответ: Любовью.

Вопрос: Нет, вы были связаны общностью ваших политических взглядов и изменнических намерений.

Ответ: Таких намерений у нас не было. Я любила и люблю его как мужчину.

——

Вопрос: Что вам известно о сговоре Пастернака с Ахматовой? Ведь вы видели их вместе, слышали их обмен высказываниями?

Ответ: Я видела Ахматову два раза, первый раз на чтении у Ардовых. Пастернак читал куски из своего нового романа. Был общий разговор и общее чаепитие.

Вопрос: Кто присутствовал на этом так называемом «чаепитии»?

Ответ: Ардовы, Ахматова, Раневская, писатель Эрлих, кажется, А. Баталов.

Вопрос: Какими высказываниями обменивались Пастернак и Ахматова?

Ответ: Я уже сказала, был общий разговор. Высказывались мнения о прочитанном романе. Кажется, Ахматова говорила, что проза не может быть такой подробной, должна быть конспективной. Помню, она отрицательно отозвалась о прозе Чехова. В общем, она высказывалась критически по некоторым пунктам. Кроме того, Ахматова была в тот период без работы. Пастернак устраивал ей переводы в Гослитиздате. И когда он пришел, он сразу сказал, что договорился о том, чтобы ей дали переводить азербайджанских поэтов. Она очень обрадовалась, она хотела работать, приносить пользу. Второй раз я видела Ахматову несколько минут, когда заходила к ней за книгами, которые она мне подарила и надписала.

———

Вопрос: Показаниями свидетелей установлено, что вы систематически восхваляли творчество Пастернака и противопоставляли его творчеству патриотически настроенных писателей, как Суриков[2], Симонов, в то время как художественные методы Пастернака в изображении советской действительности являются порочными.

Ответ: Я действительно превозносила его и ставила в пример всем советским писателям. Его творчество представляет большую ценность для советской литературы, и его художественные методы не являются порочными, а просто субъективными.

Вопрос: Вы говорили, что у Сурикова нет, якобы[3] литературных способностей и его стихи печатают только потому, что он превозносит партию?

Ответ: Да, я считала, что его бездарные стихи компрометируют идею. А Симонова я всегда считала талантливым человеком.

Очная ставка с Епишкиным С. И.

Вопрос: Вы знаете этого человека?

Ответ: Да, это муж Никифоровой — Никифоров С. Н. Он давал уроки английского языка моей дочери.

Вопрос: Вы не знаете настоящего имени людей, которые бывали у вас в доме. Это Епишкин Сергей Николаевич[4]. (К Епишкину.) Расскажите о своей антисоветской деятельности.

Епишкин: Я систематически охаивал советскую демократию, превозносил американскую избирательную систему. Так, я

клеветнически заявлял, что депутаты у нас не выдвигаются, а назначаются. Ивинская меня в этом охаивании поддерживала полностью, и со своей стороны заявляла, что если, как она слышала по радио, в Америке арестовывают коммунистов, то это все-таки за дело, а у нас талантливых людей преследуют неизвестно за что, она пригласила меня прослушать передачу «Голоса Америки» у своего знакомого Румянцева, к которому мы тотчас и отправились[5].

«Мои показания на Ивинскую не соответствуют действительности, я дал их под принуждением. Я чувствую неумолимое угрызение совести, что я, по своей трусости, не мог сопротивляться принудительным воздействиям следователя Амосова и своим неправдивым, провокационным показанием ухудшил дело Ивинской. Следователь Амосов принудительным путем заставил меня выучить наизусть неправдивые показания, которые я давал на Ивинскую на очной ставке, и в присутствии прокурора Полякова устроил мне экзамен, когда я сбивался, он в грубых выражениях кричал, что я подвожу следствие, и угрожал мне карцером и большим сроком…»

На заявлении Епишкина резолюция: Прокурор Северин: «Прошу переговорить, жалоба от 1954 года по неизвестным причинам рассмотрена не была».

Справка тюремного врача

«Направить О. В. Ивинскую, арестованную, в тюремный стационар в связи с маточным кровотечением. По словам арестованной, она беременна».

———

Вопрос: Продолжайте давать показания по антисоветским настроениям Пастернака.

Ответ: Да, он проявлял недовольство условиями жизни в СССР. Я объясняю это тем, что он был незаслуженно изолирован от читателя. Но он никогда не допускал клеветы на советскую действительность и изменнических настроений не имел.

Вопрос: Расскажите о его проанглийских настроениях.

Ответ: Да, у него были проанглийские настроения, он с удовольствием переводил английскую литературу.

В опрос: Кто из иностранцев посещал Пастернака?

Ответ: Помню, в связи с выходом его книги в Праге, к нему приезжали чешские писатели.

Вопрос: Кто именно?

Ответ: Кажется, писатель Неедлы.

Вопрос: Чем вы объясните, что он поддерживал связь с репрессированными, враждебно настроенными людьми?

Ответ: Он оказывал им материальную помощь, так как они

находились в тяжелом положении. Так, он помогал деньгами А. Эфрон, А. Цветаевой.

Вопрос: Вам известно, что он систематически встречался с женой врага народа Т. Табидзе?

Ответ: Да, известно, он оказывал поддержку жене своего друга. Также, как я уже показывала, он оказывал материальную поддержку А. Ахматовой, пытался найти ей работу в качестве переводчика.

Вопрос: Что вам известно о его отрицательных отзывах о постановлении ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»?

Ответ: Да, он отрицательно относился к этим постановлениям и вообще к кампании борьбы против космополитизма. Помню, он сказал: «Они стали сами на себя нападать».

———

Вопрос: Расскажите о своем знакомстве с Холдкрофт Анной Ивановной.

Ответ: Я впервые слышу это имя.

Вопрос: Вы лжете следствию. Это консул английского посольства, она была на чтении Пастернака, гДе были и вы. На вечере в 1948 году «Советские поэты за мир, за демократию».

Ответ: Там было много народу, я ее не помню.

Вопрос: Вы продолжаете отрицать. Как вы оцениваете выступление Пастернака на этом вечере?

Ответ: Выступление было не совсем удачное, так как Пастернак читал стихи не по теме, слишком пессимистические. В Политехническом музее выступление было удачнее, он читал жизнеутверждающие стихи: «Март», «Метель», «Весной».

Вопрос: С кем еще из иностранцев встречался Пастернак в вашем присутствии?

Ответ: Не помню.

Вопрос: Опять лжете. Свидетель Попова показывает, что на вечере Петефи с Пастернаком разговаривал венгерский посол, а вы стояли рядом. Свидетельница показывает, будто бы у Пастернака были рваные манжеты, на это обратил внимание посол, а вы старались это как-то прикрыть.

Ответ: Нет, это была не я, а сама Попова. Я не помню никаких манжет и никакого посла.

Из допроса Румянцева И. С[6].

Вопрос: Где вы познакомились с Ивинской?

Ответ: Познакомился через ее сестру Богданову, в Кратовском доме инвалидов. Я интересовался литературой, пробовал сам писать. Я показал свои произведения Ивинской, так как высоко ценил ее как поэтессу. Она мне сказала, что у меня нет

способностей и чтобы я выбрал себе другое занятие.

Вопрос: Ваши отношения продолжались?

Ответ: Да, я консультировался с ней по вопросам литературы.

Вопрос: Не договариваете. Из вашего дневника следствию известно, что вы были влюблены в Ивинскую и собирались жениться на ней.

Ответ: Я был смертельно ранен в 1942 году, с тех пор я инвалид и жениться ни на ком не могу. А влюбляться никому не запрещается.

Вопрос: Вы занимались радиолюбительством? Почему вы выбрали этот вид занятий?

Ответ: Я по профессии инженер, в силу своей инвалидности неподвижен, люблю радиотехнику.

Вопрос: Вы приглашали своих друзей на прослушивание вражеских передач станции «Голос Америки» посредством сконструированного вами радиоприемника?

Ответ: Да, я приглашал друзей, но не специально на прослушивание.

В опрос: Среди них бывала Ивинская?

Ответ: Да, она была, один или два раза.

Обвинительное заключение

«Показаниями свидетелей вы изобличаетесь в том, что систематически охаивали советский общественный и государственный строй, слушали передачи «Голоса Америки», клеветали на советских патриотически настроенных писателей и превозносили творчество враждебно настроенного писателя Пастернака».

Приговор Особого совещания

«…в связи с доказанностью обвинения приговорить Ивинскую О. В. к пяти годам лагерей строгого режима».

Из жалобы О. В. Ивинской (из лагеря) — август 1951 года

«…Б. Л. Пастернак — не изменник, не предатель, не шпион… Благодаря моему влиянию он не замкнулся в себе окончательно. Я ему доказала, что необходимо выступить в лагере сторонников мира, и он выступил…

Признаю свою вину в том, что не прочистила свои книжные полки, где оставалась враждебная литература, принадлежащая моему покойному мужу, Емельянову И. В., историку…

…Прошу простить меня за некритичность отношения к Пастернаку…»

Ходатайство о пересмотре дела (1955 год)

«Оставить без удовлетворена».

Прокурор Никитин

Протест зам. прокурора А. Васильева

(19 октября 1988 года)

«…В связи с тем, что действия и высказывания Ивинской не содержат прямого призыва к свержению советской власти, дело производством прекращено».

* * *

С осени 1950 года в нашу жизнь прочно входит маленькая поволжская республика со своими ЖШ и ПЯ — Мордовия. Б. Л. тоже пишет в эту «веселую» страну письма, но больше открытки — и из соображений трогательной конспирации — от имени бабушки. Так и подписывается — «твоя мама». Кого могли они обмануть? Кто мог предположить, что наша трезвая и рассудительная бабушка способна писать такие фантастические поэтические туманности, вдохновенные обороты на полстраницы, испытывать такие подъемы чувств и падать в такие бездны? Тем не менее, они доходили.

В 1952 году умирает дед, после полутора лет мучений. Мы хороним его в жестокий январский мороз в убогом дешевом гробу: жалкая кучка замерзших старушек, для которых не под силу донести крышку гроба до автобуса, и двое горюющих детей. Такие ли похороны должны мы были устроить дедушке — чудному, мягкому, нас до безумия любившему, не снесшему последнего удара — маминого ареста? У нас не было денег даже захоронить урну, и она три года стояла на шкафу в передней. Когда мы ставили ее на этот шкаф, то по закону были уже круглыми сиротами, без опекуна, и нам нечего было ответить на обязательный вопрос школьной анкеты о профессии родителей.

А еще через несколько месяцев взбежавшая без остановки на шестой этаж задыхающаяся бабушка сообщила нам, что все… Все кончено. У Б. Л. — инфаркт.

Когда-то, говоря о доброте Б. Л., о его даре сострадания, М. Цветаева писала, что его жалость к людям — это вата, которой он затыкал раны, нанесенные им самим. Аля, ее дочь, сама обладавшая и добрым сердцем, и даром деятельного милосердия, вторит матери: «Необычайно добр и отзывчив был Пастернак. Однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось, крепче спалось… своей отзывчивостью смывал с себя грехи — сущие и вымышленные». Мне все это неприятно читать. Чудится в этом и частое у Цветаевой (да и у Ариадны Сергеевны тоже) желание «интересно» сказать, и натуга человека, несущего свои домашние, семейные, дружеские обязанности, как крест, понять нормальность,

естественность сострадания. Как можно объяснить — доброту?

Существует лишь тютчевское: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». В некоторых случаях, конечно, можно подыскать объяснение безоглядному чувству вины, всегда владевшему Б. Л. (Не «отговорил» Цветаеву возвращаться в СССР, «не отстоял» Мандельштама перед Сталиным; да и наша трагическая судьба, наше сиротство, по советской логике, имело в нем свою причину — из-за него арестовали маму, умер от горя дед.) Но когда человек оказывается на пороге смерти, имеет ли значение эта суетная логика? Тут-то и выясняется, что жалостью он был наделен не потому-то и потому-то, а от рождения, как цветом глаз или группой крови.

Наверное, он не думал, что виноват перед нами, когда, привезенный в Боткинскую больницу, лежа в коридоре, писал, вернее, царапал карандашом записку М. К. Баранович, первой читательнице и переписчице многих его произведений, чтобы таким-то и таким-то путем была добыта тысяча рублей (по-старому) и отнесена по такому-то адресу. По нашему адресу.

Деньги были принесены. И мы не пропали. Б. Л. выздоровел.

И вот — опять весенний день. Весь тающий, расплывающийся — и в памяти, и в черных проталинах бульвара, через отяжелевшие сугробы которого я бегу к темнеющей на скамейке фигуре в знакомом пирожке, бегу, охваченная в первый раз живым и горячим чувством близости, связанности, мучительного беспокойства и радости. После инфаркта Б. Л. не может уже подниматься на наш шестой этаж. Мы с бабушкой встречаемся с ним в первый раз после долгого-долгого перерыва, и эта встреча, о которой он скоро напишет матери («Вчера после долгого перерыва видел Ирочку. Она очень похорошела, ее глаза, ранее расходившиеся уголками кверху, выровнялись…»), — первая встреча с человеком уже совершенно родным. И все это так и останется навсегда, наверное, для меня «водяным знаком»: чернеющие проталины бульвара, его совсем новое лицо (похудел после болезни и вставил зубы), звон проходящего трамвая, наши поцелуи и восклицание (потом) видевшей все нашей соседки: «Марья Николаевна, с кем это вы таким страшным целовались!»

* * *

Апрель 1953 года. Впервые за много лет в Москву пришла настоящая весна, и с шумом ручейков, буравящих Чистопрудные сугробы, сливался шепот новостей, передаваемых друг другу фантастических слухов, звучали имена, доселе произносимые с

оглядкой… Что сравнится с весной накануне освобождения? В открытке, отправленной в этот же самый день (все так же от имени бабушки), Б. Л. писал маме: «Как близко, после обнародованного указа, окончание этого долгого страшного периода! Какое счастье, что мы дожили до часа, когда он остался за плечами!..»

Первая послесталинская амнистия (буквально через несколько дней после похорон вождя народов) во многих вселила надежду. Казалось, что и наверху спешат покончить с ужасным наследием и скорее, не разбирая вин и статей, освободить как можно больше людей — освобождались все заключенные, имеющие срок до пяти лет включительно по всем статьям. Разумеется, политических среди них было немного. Москва наполнилась уголовниками в бушлатах, вокзалы были забиты освобожденными, обыватели запирались на все засовы — жизнь, пинаемая, зажатая, озлобленная, ворвалась в город, наполнив его матом, вшами, запахом и голосом беды… С «первым эшелоном», с этой мутной стотысячной волной «указников» вернулись и немногие политические пятилетники — среди них моя мать.

Мы ждали этого со дня на день, и вот он — предрассветный треск старого звоночка «Прошу повернуть» в нашу набитую детьми, стариками, квартирантами, а также страхами и бедами квартирку. «Мне четырнадцать лет, через месяц мне будет пятнадцать»… Кубарем скатываюсь с кровати, мы прыгаем с братом вокруг моложавой худенькой женщины, одетой в страшную телогрейку, с грязным мешком — и с милым, забытым лицом. В душе — ничего похожего на когда-то пережитый детский ужас перед вернувшейся «оттуда» бабушкой — наоборот, ликование, освобождение: кончились школьные страхи, увертки, мучительные басни, которые я сочиняла, чтобы обмануть бдительность подруг… Никогда уже не придется мне, как было однажды, резать себе руку бритвой, чтобы выбежать из класса якобы к врачу, а на самом деле спасаясь от нежданной анкеты, проводимой новым завучем — профессия родителей… И чего я этого так боялась? У детства свои химеры. Все позади, отроческий кошмар рассеялся! Никаких посылок, никакого Перова, никаких больше квартирантов — нквдешников!

На улице весна. Я кончаю десятый класс, завтра — первый экзамен. У меня совершенно молодая и очень милая мама! Надо сказать, что и потом в свою лагерную бытность я не раз сталкивалась с этим чудом женской лагерной моложавости, — несмотря на тяжелую работу и скверную пищу, иная заключенная, «отволокшая» уже десятку, на вид — полуподросток, стройна, загорела, не то сорок, не то двадцать. И отсутствие косметики,

которой мама не пренебрегала на воле (Б. Л. часто ей выговаривал: «Олюша, не наводись. Бог тебя не обидел!»), и выгоревшие волосы, и даже сломанный зуб спереди — не портили ее, а наоборот, как-то освежали.

У меня из головы сразу же вылетает странное поручение, которое дал мне все в ту же встречу на Чистых прудах Б. Л. Как всегда, это было достаточно туманно и загромождено попутными рассуждениями, однако суть я поняла, она сводилась к следующему: маму он никогда не оставит, но прежние их отношения невозможны… Я должна это маме втолковать. Прошло столько времени, оба столько испытали, ей и самой это возвращение к прошлому покажется ненужной натянутостью, она должна быть свободна от него и ни на что не рассчитывать, кроме преданности и верной дружбы… Ну, я была достаточно и начитана, и деликатна, чтобы не принять такие заявления, как бесповоротные, и, как могла, отнекивалась от поручения. Однако эта комиссия все-таки надо мной висела, и, только увидев маму во всем ее прежнем обаянии, совершенно искренне забыла недавний туманный и в чем-то довольно жестокий разговор. Сами разберутся!

И они разобрались сами.

54, 55, 56-й годы… Время крепнущих надежд, волшебных возвращений, встреч после неслыханных разлук… Наша квартирка превратилась в пересыльный пункт, он же клуб интересных встреч. Кто только у нас не перебывал на полпути из Мордовии на Украину, из Тайшета в Прибалтику, из Казахстана в Ленинград, с Колымы на юг… Имена многих я забыла, ибо это был поток, иногда раздражавший бабушку, — теснота, мало денег, детям надо в школу, а тут — поздние звонки, разговоры заполночь, вечно телогрейки и вещмешки в коридоре, всегда накрытый стол, всегда занятая ванная, — кто-то «очередной» моется… Помню Н. И. Гогенторн — ученицу Андрея Белого, антропософку; прелестную Надежду Августиновну Адольф — детскую писательницу и поэтессу (до сих пор люблю ее очень нравившиеся мне лагерные стихи); К. Богатырева, К. Зданевича и, конечно же, В. Шаламова, возникшего на пороге Потаповского в брезентовом дождевике с рюкзаком за плечами, и его необыкновенное опаленное, сожженное навеки колымскими ветрами лицо, его почти обугленные руки. Весь он — как живая память о том, чего человеку лучше не знать. И когда заговорили о проекте памятника замученным в лагерях (якобы предложил Хрущев), я увидела таким памятником именно Шаламова — того Шаламова, каким возник он на пороге нашей квартиры первый раз. А если этому страданию нужен был и женский образ, он тоже

имел воплощение — Аля Эфрон, красивая, статная, с навсегда закинутой головой — назад, гордо! — и такая же обветренная, обугленная, со своим «вещмешком», также появившаяся в нашей квартирке. Ее прислал Б. Л.

Но среди этих гордых и умудренных сколько было безвинных легкомысленных Людочек и Ниночек (мама всегда была широка в знакомствах), разок протанцевавших с американским летчиком, разболтавших соседке анекдот либо восхитившихся западным нижним бельем! Какие уж тут подруги немецких офицеров или переводчицы в гестапо! Те тянули свои срока в ожидании комиссий, а эти страдалицы с облупившимися носиками, помывшись в нашей ванной, бежали в соседнюю парикмахерскую, возвращались с пергидрольными локонами, накупали московских конфет для заждавшихся где-нибудь в Мелитополе детишек или старушек-матерей. И всех мы ублажали, снаряжали, провожали.

В эти годы пришло к Б. Л. ощущение полноты бытия, единственности и неслучайности проживаемого времени («Я доволен своей жизнью!» — часто говорил он), драгоценности и значительности каждой минуты, которыми был окрашен его закат. И «оттепель» сыграла тут свою роль — возвращались страдальцы, за которых беспрерывно болело сердце, кошмар кончался, душа могла наконец отдохнуть. Вовсю писался роман, во второй части которого воздвигался его, пастернаковский, памятник страшному времени. При всем том, что он был счастлив тогда, светился радостью, сообщая, что, вот, вернулась Аля, Гладков, освобождают Спасского и т. п., «оттепель» ничуть его не обманула. «Они» (так называл он советских руководителей и шире — систему) были отторгнуты навеки, никаких попыток «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» он уже не мыслил. Даже в это время Б. Л. не верил в возможность выхода романа на родине, без особого энтузиазма относился к готовящейся книге стихов («Пусть поскорее переиздадут переводы, это реальнее!»). Попытки создать якобы «неподцензурные» издания (например, альманах «Москва») не поддерживал и предпочитал им откровенно казенные издательства. Пожалуй, если его отношение к Сталину было окрашено каким-то интересом и даже уважением — монстр, но значителен, загадочен, молчалив, невидим, — то Хрущев своей развязностью, бесконечными речами, рассуждениями о живописи и литературе, шутовством — был для него неприемлем. Он не увидел, подобно Солженицыну, в лысом нашем президенте русского царя Никитушку-самодура и остался глух к его известной живописности и своеобразной одаренности. Б. Л. точно выразил это свое отношение к «оттепели» в стихах:

Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.
И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого свести.

Отчужденно относился он и ко всяким либеральным начинаниям, попыткам сгруппировать «честных» советских литераторов, всяким диспутам, псевдодискуссиям.

Тут я немного нарушу хронологию повествования и забегу вперед, в 1956 год, когда уже прошел XX съезд КПСС и «ожидание грядущих перемен, составляющее единственное историческое содержание» этого времени перестало быть просто ожиданием. Казалось, ему была дана даже реальная почва, и вот-вот замыслы, излагаемые как крамольные, обретут плоть и будут жить в открытую. Но Б. Л. оставался скептиком.

В 1956 году меня приняли в Литературный институт. Приняли по просьбе Б. Л., хотя, в общем-то, я не хуже многих могла и зарифмовать, и написать «очерк на тему». Но конкурс был слишком велик, и без письма Б. Л. я бы не прошла.

В знак благодарности я преподнесла нашему директору В. Озерову переплетенный экземпляр (машинка) только что законченной Б. Л. автобиографии «Люди и положения» со словами, что, мол, скоро выйдет однотомник, а это предисловие Б. Л. просил передать вам… Озеров был польщен, его грубоватое и в то время еще довольно красивое лицо осветилось улыбкой… Надо сказать, что наш руководитель тоже не был чужд либеральных иллюзий, и у него зрели различные замыслы дискуссий (одна из них — известная «Дискуссия о поэзии» — послужила концом и провалом недолгой институтской «оттепели»), он хотел изменить систему семинаров (должны были быть объединенные семинары, на которые приглашались бы писатели «всех направлений»). Озеров показал мне список намеченных к приглашению: там, кажется, после Шолохова и Овечкина шел Пастернак. Я взяла список, взяла приглашение, сказала, что передам… Меня же приняли! Но я не очень-то

представляла себе Б. Л. в нашем конференц-зале, среди портретов Горького и Ленина, под разными лозунгами с цитатами из Хрущева (впрочем, тогда самым популярным был китайский лозунг «Пусть расцветают все цветы» — он украшал и конференц-зал, и стенгазету). Да и как вообще мог относиться Б. Л. к такому заведению, как наш инкубатор для советских писателей? Помню один разговор о Высших литературных курсах (на которых обучалось и немало его поклонников, особенно из Грузии). Б. Л. передавал нам рассказ одного из слушателей о диалоге между студентом и преподавателем на лекции: «А почему же Пастернак в те годы уцелел?» «На развод оставили!» — ответил лектор, и аудитория загоготала. Говоря об этом, Б. Л. слова «На развод оставили» произнес с такой несвойственной ему злостью, что я поняла, как глубоки раны от травли, хотя он всегда так доброжелателен, так умудренно незлобив, настолько «выше» этого. Мог ли он желать выступать в подобных стенах?

Разумеется, на переданное мною приглашение он недовольно замычал: «Скажи им, что я занят, безумно занят, нет времени на поездки… Да вот у них Шолохов, Каверин в списке… Они прекрасно выступят… Да у них это скоро кончится, увидишь…»

Так и случилось. Грянула Венгрия. К лозунгу «Пусть расцветают все цветы» услужливой рукой было приписано «кроме сорняков», а встречи с писателями «разных направлений» начались и закончились встречей с В. Овечкиным, который после своих горьких и честных очерков в «Новом мире» виделся настоящим героем сегодняшнего дня, предвестником будущей неконъюнктурной прозы. Его забросали записками. В ответ на одну из них — как вы относитесь к Пастернаку? — Овечкин вспыхнул, побагровел даже и, шагнув почти в самый зал с нашей маленькой сцены, проговорил: «В поэзии его я не знаток. А вот говорят, что он роман передал за границу. Мерзавец!!!» Ползала взорвалось аплодисментами, половина — впилась в ручки кресел. На меня стали оглядываться.

Октябрь 1956-го. Венгрия. Я была так оглушена этой первой на своем веку — не виденной, но слышанной и читанной — революцией, что не было времени ездить в Переделкино. Сидели у приемников, хватали газеты — польские, прорывались со словарем к смыслу.

В один из таких октябрьских дней (как странно, что через два года день в день на эти же числа пришлась нобелевская история!) к нам в Потаповский явился неожиданный гость. Он поднялся на наш шестой, без лифта, и долго не мог отдышаться. Расстегнув доху, тяжело сел на стул, начал сбивчиво и обиняками втолковывать нам про ответственность момента, про силы

литературной реакции, про кочетовых и кожевниковых, которые ждут, не дождутся, чтобы Б. Л. не подписал какое-то письмо.

Это был В. Рудый, литератор, член редколлегии гонимого альманаха «Литературная Москва». Почему он обратился к нам, к матери? Да все потому же, наверное: и в более страшное время Б. Л. не подписывал никаких писем в поддержку репрессий, тем более сейчас. Но в этом письме, что гость настойчиво подчеркивал, речь совершенно о другом. Это скорее — охранная грамота, заявление о своей принадлежности к обществу, в котором живешь и работаешь. Подпись важна лишь для того, чтобы не утратить влияния в этом обществе. Положение Б. Л. после передачи романа издателю Фельтринелли очень осложнилось. Ясно, что теперь, после венгерских событий, печатать в «Новом мире» его не будут. А подпись очень укрепила бы его авторитет…

Таким образом, выяснилось, что речь идет о подписании обращения советских писателей к писателям Венгрии, появившемся на другое утро в газетах.

Машина ждала Рудого у подъезда. Тяжело дыша, объяснив нам, что он только что после инфаркта, наш гость изложил свой план действий. Он вызовет Б. Л. с дачи, препроводит его к матери, которая должна привести все вышеизложенные аргументы. «Во всяком случае, мы должны сделать все, что от нас зависит». Мама, запуганная разговорами о романе и грядущими неприятностями, согласилась.

Гость запахнул доху и, подхватив мать, направился к машине. Что говорить, все, что он сказал, было очень убедительно. Может ли Б. Л. устоять против таких аргументов?

Увы, план не осуществился. Мама честно дожидалась в своей избушке. Спустя каких-нибудь полчаса появился Б. Л. один, в самом мирном расположении духа, и на ее вопрос, где же В. Рудый, легкомысленно отмахнулся: «Уехал тотчас же». Когда требовалось, Б. Л., надо сказать, умел быть резким, «жестоким», как говорила мама. И мне до сих пор очень интересно, как, какими словами он выпроводил делегата? Для него, в отличие от меня, здесь не было даже поводов для размышлений.

Но и переделкинская избушка, и Литературный институт, и Венфия — это впереди, а пока еще самая пора «оттепели». Пробиваются наружу робкие ручейки живой поэзии, загнанные под спуд страшных лет сталинской мерзлоты, то там, то тут полуофициально проводятся вечера — полудомашние, и люди, отвыкшие за эти годы от знакомых, дорогих имен, узнают по цепочке, достают пропуска, толпятся в дверях. Странно представить себе, но таким событием был, например, вечер

памяти Блока в ЦДЛ. В 1955 году в серии «Библиотека поэта» вышел после долгого перерыва его однотомник, в школах на уроках литературы Блоку отвели один час, и счастливчики, прорвавшиеся на вечер его памяти (среди них и мы с мамой по протекции Б. Л.), чувствовали себя причастными к начавшемуся Возрождению, сладко замирало сердце в предчувствии грядущего раскрепощения культуры.

Маяковский также — это уже не только «Хорошо!» и «Клоп», но стыдливо упоминается и «Облако в штанах», и футуризм. Кто-то кому-то передает, что в музее Маяковского будут показывать его старые фильмы, мы с мамой упрашиваем Б. Л. провести нас. Он, однако, ограничивается записочкой:

«В музей В. В. Маяковского

Прошу пропустить на вечер 15 апр., посвященный памяти Маяковского, друзей моих Ольгу Всеволодовну и Ирочку Емельянову.

Б. Пастернак

12 апр., 1955, Москва».

Лекция о творчестве Чаплина с крохотными фрагментами из его фильмов превращается в настоящую демонстрацию. Половина желающих, не получив билета, остается штурмовать зал; в угаре либерализма директор разрешает открыть двери в коридор, и сотни людей на лестнице (среди них я) слушают через репродуктор рассуждения критика Юренева о кино, перемежающиеся кусочками музыки и диалогов из кинофильмов.

Настоящее столпотворение произошло на чтении «Гамлета» артистом В. Балашовым — это был моноспектакль с аскетическими сценическими атрибутами — «Театр одного актера». Подступы к ЦДРИ были забиты народом. Мы с мамой по пригласительному билету, присланному Балашовым, еле протиснулись в зал, мест не было, пришлось стоять. Это был просто триумф, и чем он объяснялся? Может быть, давно не появлявшимся на афишах именем Б. Л. — переводчика трагедии? Б. Л., разумеется, на вечер не пошел, но после, благодаря Балашова, писал, что до него дошли слухи о «неслыханном, превосходящем все ожидания успехе»…

В конце 1953 года вышел «Фауст». О том, что значил для Б. Л. этот перевод, сколько личного, внегётевского, вложено в него, он писал кузине О. М. Фрейденберг в Ленинград: «…что этот Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность…» Офорты А. Гончарова к изданию нравились ему совпадением Гретхен с обликом мамы (действительно, что-то общее было) — особенно — Гретхен в

тюрьме… И ведь как по-пастернаковски звучит раскаяние Фауста перед безумной Гретхен: «Как ты бледна, моя краса, моя вина!» На моем экземпляре Б. Л. написал:

«Ирочка, это твой экземпляр. Я верю в тебя и уверен в твоем будущем. Будь смела душой и мыслью, мечтой и волей. Доверяй природе, духу судьбы, крупным событиям, а из людей только немногим, тысячу раз проверенным, достойным твоей веры.

Почти отечески твой Б. Л.

3 ноября 1955.

Переделкино».

В скобках можно уточнить, что пожелание доверять лишь немногим людям звучит как-то совершенно не по-пастернаковски и несколько странно. Оно объясняется конкретным трагикомическим эпизодом, случившимся со мной в день, когда Б. Л. надписывал книгу. Я ехала в Переделкино в «писательском» автобусе. Рядом со мной сидел писатель, позднее весьма известный в Грузии (увы, кажется, уже покойный). Это был довольно красивый молодой человек, мы болтали о литературе, он читал стихи… Мы приехали в Переделкино, он пригласил меня продолжить разговор у него дома. Я ответила, что меня ждут (Б. Л. с мамой), однако согласилась. У себя на даче он начал весьма развязно за мной ухаживать, а ведь мне было только 16 лет! Я с ревом вырвалась, до сих пор помню, как мчалась по вечернему темному переделкинскому шоссе, через мост, в избушку Кузьмича, где у печки (был ноябрь, ночи холодные!) в крохотной комнатушке («конуре, преображенной кожурой абажура») уютно сидели, поджидая меня, мама с Б. Л. Влетев в слезах, я стала расписывать (преувеличивая, конечно) случившееся.

Б. Л. страшно возмутился. Он немедленно пойдет на дачу к Х. Он этого так не оставит. 16 лет, девочка, осенняя ночь! Нет, этому мужскому «петушащемуся» хамству надо дать отпор! Мы с мамой еле его удержали. (Обожавший поэзию Пастернака Х., с которым мы несколько лет назад вспоминали эту историю, нам этого не простил. К нему пришел бы объясняться сам Пастернак! Из-за женщины!) Посидели у печки, я успокоилась. Уходя, Б. Л. спохватился: «Да, я ведь тебе «Фауста» принес!» Так и родилась эта несколько нравоучительная концовка посвящения, осуждающая мою неосторожность. В остальной же части — оно остается для меня компасом, камертоном. Гринвичским меридианом, по которому сверяю иногда — куда занесло? Не занесло — затянуло? На сколько градусов? Есть ли надежда выплыть? Не выплыть — выползти? Как угадать его — дух судьбы, когда ушли те, кто дышал им, как воздухом, «был накоротке», и

приходится полагаться на свои скудные силы?

В апреле 1954 года состоялось обсуждение перевода Б. Л. второй части «Фауста», кажется, в Доме ученых (или в Союзе писателей). Причем недоброжелательная критика на страницах печати — «Новый мир» — уже подготовила почву для «разгрома». В письме к А. Эфрон в Туруханск (1950 год) Б. Л. так высказывался по поводу существа этой критики: «…в «Нов<ом> мир<е>» выругали моего бедного «Фауста» на том основании, что будто бы боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гёте (какие?) оставлены в тени и без внимания».

«Обвинительный» доклад должна была делать профессор, заведующая кафедрой западноевропейской литературы МГУ Т. Мотылева. Предполагались и прения: кажется, Н. Н. Вильям-Вильмонт собирался робко защищать. Б. Л. шел на это обсуждение, заранее предвидя обвинения в «идеализме», с чувством какой-то тоскливой обреченности. К сожалению, я пойти не смогла — ведь я еще училась в школе, было много уроков, да и, признаться, боялась, что будет скучно. Пошла мама вместе с нашим молодым родственником, Митиным сводным братом по отцу, тогда студентом-первокурсником МВТУ.

После авторитетных обличительных разборов Мотылевой и неуверенных попыток Вильмонта защитить перевод слово (по записке) вдруг попросил именно наш первокурсник, любивший поэзию Б. Д. Это было неожиданно даже для мамы — она испугалась — что может сказать о «Фаусте» милый наш Валя, довольно робкий в общении, любящий стихи, бесспорно, но даже немецкого не знающий? И это простодушное выступление (Валя сказал что-то вроде: «Тут говорили о том, что перевод непонятен «народу», что он «усложняет» Гёте, что он заумен. Так вот, я — от имени технической молодежи — могу сказать, что впервые понял, что такое «Фауст», почему о нем твердят уже два столетия») переломило ход собрания. Зал взорвался аплодисментами — непосредственность, неподготовленность защиты была так очевидна и так «народна», что и у многих более искушенных ценителей литературы выросли крылья, и разговор принял совершенно другой — более живой, свободный характер. Всего этого Б. Л. не мог даже представить себе. На лестнице он кинулся целовать Валю, не смущаясь, что полно свидетелей его восторженной благодарности. Мама и Валя поздно вернулись в этот вечер домой, и до ночи не смолкали описания триумфа. Этот неожиданный перелом в ходе собрания говорит о подвижности времени, о расползании швов — «заслушали и постановили», о весне… «Краткий период растерянности»…

Помню май 1954 года — это было, кажется, последнее публичное выступление Б. Л. перед широкой аудиторией. Оно состоялось в одном из больших московских технических институтов — увы, забыла где, хотя на этот раз я пошла туда. Несколько известных переводчиков, венгры. Среди них помню одутловатого грузного А. Гидаша, также, если не ошибаюсь, только что вернувшегося из лагерей. Я безумно волнуюсь за Б. Л. Вечер организован из рук вон плохо, даже афиш не расклеили. Стыдно за этот полупустой зал, за жужжание, за равнодушие. Б. Л. пробирается на сцену. Гидаш, сидящий рядом с нами, шепчет, как бы про себя, но мы слышим: «Господи, господи, все правда, гении не стареют».

Мы сидим с мамой, недавно вернувшейся из Мордовии, еще по-лагерному загорелой, худенькой, все в том же платье в горошек, в котором ее арестовали, и очень волнуемся. Я никогда не видела Б. Л. выступающим. В унылом зале, не слишком заполненном студентами, на тускло освещенной сцене Б. Л. в парадном костюме отца, который берег для выхода до конца своих дней, кажется нам беззащитным и случайным здесь. Он похож на большую подбитую птицу с бессильно опущенными прекрасными своими руками. И читает он так печально, так грустно гудит лучшие свои, замечательные «Моя любовь» и «Зимний вечер». Эти студенты не знают его. Жидко похлопали, и Б. Л. не мог скрыть огорчения, что не просят еще стихов, видимо, готовился к другому.

Но Гидаш был прав. Молодость Б. Л. была каким-то чудом. Когда я впервые увидела его, ему было за 50, а в 1960-м мы отметили его семидесятилетие. И за эти годы он не только не постарел, но, наоборот, вместе со славой, признанием, любовью окружающих все молодел.

Его приходы к нам всегда были связаны с ощущением праздника — рассказы, впечатления, подарки… Как будто он приходил не из соседнего дома, а приезжал откуда-то издалека, из иной жизни, богатой событиями. А подарки Б. Л. действительно любил делать. У меня до сих пор хранятся всякие мелочи — заграничный ластик, медальон с профилем Гёте, пасхальные свечи и горшочки.

Щедрый не только на вещи, деньги, он никогда не жалел для людей добрых слов. Но, Боже мой, как они иногда бывали некстати! Какие порождали анекдоты! Создавалась репутация чудака… «Бог в помощь!» — говорил он мужикам, выламывающим доски из дачного забора. «Ай-ай-ай, как вы плохо выглядите, Дмитрий Алексеевич, что с вами, не больны ли?» — это Поликарпову, цековскому идеологу, руководящему

нобелевской травлей в 1958 году и озверевшему от бессонницы. А может быть, в последнем случае была игра?

Но я помню и дни, когда молодость уходила из него. Это те же осенние дни 1958 года…

Мы не могли его узнать. Серый, потухший. Старый. Все начинало болеть. И даже руки, такие тонкие, нервные, невероятно живые, вдруг падали бессильно на колени, когда он, внезапно замолчав посреди своего монолога, не моргая, долго смотрел в одну точку, как бы в оцепенении…

«Внешнее осуществление Пастернака прекрасно», — писала Цветаева. Это так. И так же было это и в старости, и это было еще одним чудом. Седые волосы, продуманно растрепанные, освещали смуглое, казавшееся в любое время года загорелым лицо. Я-то знала его, когда он постоянно жил в Переделкине, и свежесть ранних подмосковных прогулок в любую погоду, работа на огороде, купанье в Сетуни, когда она еще была чистой, — все это делало его этаким бодрым сельским жителем, не выносящим праздности, всегда деловым, подтянутым, оживленным. Мои девичьи горести забывались, я как бы на минуту приходила в себя, стоило мне встретить его, например у нашего измалковского колодца, в осеннюю слякоть, в резиновых высоких сапогах, кепке и аккуратном плаще (все по погоде), весело спешащего к матери в избушку Кузьмича. «Пойди зажарь себе немедленно яичницу! — горячо убеждал он меня, и действительно это начинало казаться очень важным. — Тебе надо хорошенько питаться! Что мама приготовила?» Он всегда считал меня слишком худой; и сколько раз слышала я его озабоченное гудение; «Олюша, ее надо подкормить!»

Он был старше мамы на 22 года. Но стоит ли говорить, что ни мать, ни мы этого не замечали. Правда, иногда приходилось об этом вспоминать, например, когда нужно было писать доверенности, и тогда он наивно лукавил: мол, в свое время, чтобы поступить в университет, приписал себе несколько лет… Но мать только смеялась. Это действительно казалось совершенно неважным.

Когда они познакомились, ему было 56. Он сказал маме, что она напомнила ему его первую любовь — одну из сестер В., описанную в «Охранной грамоте». Быть может, это и было возвращение к неизжитому чувству юности. Но мне скорее казалось, что именно на склоне лет ему должен был быть близок образ женственной и кроткой красоты, которую он видел в матери. Литературное ее воплощение — это Гретхен из «Фауста». Недаром он написал маме на своем переводе Гёте, вышедшем в 1953 году: «Олюша, выйди на минуту из книги, сядь в стороне и

прочти ее». И еще он любил до слез в матери то, что называется жалостливостью. Ведь почти ее словами говорит об этом Лара в романе: «За что же мне такая участь, что я все вижу и так обо всем болею?»

Мать никогда не могла пройти мимо чужой беды, нищей старухи, больной собаки. Осенью шоссе из Баковки в Переделкино еле освещалось, а машин сновало много. Как-то мы с братом ждали маму в московской квартире, чтобы идти куда-то в гости. Она приехала в залитом кровью пальто, держа на руках раздавленную собаку, которая несколько часов пролежала на шоссе. Собака жалобно визжала, но никто к ней не подошел, никто не помог, не подобрал, пока мама, спешившая на электричку, не заметила ее. Собаку повезли в лечебницу на Трубную, но спасти ее уже было нельзя. Пока мама с братом ездили к ветеринару, позвонил Б. Л… Я ему все рассказала. «Я так и знал, что это она… — говорил он, глотая слезы. — Мне сказали, что целый день визжала раздавленная собака… А сейчас на шоссе у шалмана сказали, что какая-то женщина увезла ее. Я так и знал, что это она…»

Мама подбирала замерзающих кошек, писала несчастным старухам жалобы в райсовет (до сих пор у меня хранятся тома переписки с Одинцовским райсоветом о возвращении жилья раскулаченным жителям Измалкова), раздавала деньги, ее можно было легко обмануть, обокрасть, обидеть… Все это он видел в ней, жалел и любил. Открытая и людям, и судьбе, красивая, по-женски бесшабашная, доверчивая, не сумевшая укрыться от вихрей кровавого времени, несущих ее на своей страшной волне, — такой он видел маму, и это любил в ней.

Аля и Ася Цветаевы были для него, прежде всего «мученицами», «страдалицами», хотя он не мог не знать об ортодоксальных убеждениях первой, не видеть тщеславия ее тетки. Зина, жена — домашний гений, суровая реальность женской судьбы, ответственность и самоотвержение. Я — застенчивый одинокий подросток, вся в книгах, стихах… Он не замечал моего легкомыслия и в общем-то непростительной пустоты существования. Например, он был уверен, что я веду дневник, и иногда говорил: «Ирочка, отметь в своем дневнике, что я в это время был вынужден уехать из Москвы… и т. п.».

А я-то! В своем дневнике я отмечала лишь неудачные свидания. Признаюсь, я внутренне нередко сетовала на эту кажущуюся непроницательность Б. Л… По моему мнению, писатель обязан был «читать в сердцах людей», уметь разбирать их по косточкам. Эта же расплывчатость образов, условность характеров не нравилась мне и в его романе. Там тот же взгляд

«поверх психологии», и тех, кто привык к толстовской диалектике души, коробят эти наивные тени. Вздыхая и ища оправдания, мы говорили тогда: «Ну… это проза поэта. Это развернутое стихотворение…» Но теперь, через столько лет, роман читается совсем иначе.

Да, он мог не заметить почти водевильного плутовства, однако тончайшие вещи угадывал и всегда отзывался — сочувствием, улыбкой, поддержкой. В разгаре чудесное переделкинское лето, с влажными вечерами, сырым дымком над озером, комариными плясками в низине. Мы с моим приятелем по институту, красивым, талантливым молодым поэтом Тимуром Зульфикаровым, провожаем Б. Л. до «большой» дачи. Мы провели чудесный вечер на террасе у мамы, Б. Л. был в ударе, польщен признаниями Тимура, понравившегося ему. (Правда, потом на вопрос мамы: «Не правда ли, прелестный этот Иркин Тимур?» — загудел: «Но он такой черный, бедняга… Как я мучился в его годы от этой восточной внешности, как жаль его, такой симпатичный…») Жалеть было особенно нечего, Тимур был очень привлекателен. (Надо сказать, что мы редко совпадали с Б. Л. в оценке внешности — как мужчин, так и женщин — у него был какой-то свой критерий.)

Мы спускаемся в овраг и как будто попадаем в теплую ванну из мяты, огуречника, зверобоя — вечерний настой подмосковных трав в поймах бывших речушек, ныне превратившихся в грязные канавы, одурманивает, заставляет забыть о разговоре; хочется дышать и молчать. Б. Л. рассеянно откликается на вопросы Тимура, которому не терпится поговорить с любимым поэтом на темы, которые в двадцать лет кажутся страшно важными: «Б. Л., а современную французскую поэзию вы как оцениваете? А как вы относитесь к Кафке?» Б. Л. мычит довольно невразумительно: «Да, я знаю, он страшно моден сейчас… У меня стоит на полке, мне прислали». Видимо, не читал. Тимур разочарован.

Пройдя через овраг, подходим к калитке дачи Б. Л… Стемнело, окна дачи светятся, обратно в темный овраг не хочется. Есть другая дорога — через участок его дачи, противоположная сторона которого выходит на освещенное переделкинское шоссе, по нему можно вернуться в нашу деревню. Но Б. Л. медлит у калитки. «Вот что, Тимур, — говорит он моему спутнику. — Все же вы лучше проводите Ирочку обратно через овраг. Мне не хочется, чтобы она проходила мимо моей дачи, мимо всего этого великолепия (или роскоши, не помню точно, как он сказал), — ей будет больно…»

Всю обратную дорогу Тимур не перестает восхищаться деликатностью Б. Л. «Нет, ты подумай, как он тебя почувствовал!

Он увидел тебя Козеттой, которой не может сейчас купить куклу… А ты этого даже и не поняла».

Да, Б. Л. преувеличивал, конечно, мою ранимость, мою тонкость. Как и вообще он преувеличивал мои достоинства — и знания, и вкус, и успехи, — от своей щедрости наделяя меня (как и многих других) талантами, восхищался остроумием и наблюдательностью.

Я окончила школу, и надо было куда-то поступать. Немножко рисовала, немножко говорила по-английски, немножко писала… Конечно же, обожала кино и театр, и на семейном совете решили, что я буду поступать в институт кинематографии, на сценарный факультет. Конкурс огромный. Не говоря о почти профессионалах-сценаристах, дочки именитых режиссеров, там же преподававших, по всем статьям оставляли меня позади. Мама стала нажимать на Б. Л., чтобы он похлопотал. Звонить и говорить с кем-либо он отказался. Он в общем-то недоумевал: по его мнению, я была достаточно подготовлена, почему надо «пропихивать»? Мы говорили ему о конкурсе, что мне только 17 лет, а принимают с опытом, что у всех «блат»… Он согласился написать лишь честную «характеристику» — то, что думает обо мне, — причем речь шла только о том, чтобы меня допустили к экзаменам. На такое «отступление» от своих принципов он согласился. Директором института тогда был Н. Лебедев, довольно известный киновед. Вот эти письма:

«В государственный институт кинематографии.

Подавшую заявление в Институт Ирину Емельянову я знаю с малых лет. Это девочка с определенными литературными способностями, начитанная, умная, с явным и творчески отмеченным влечением к кинематографии и театру, пониманием этих областей и разборчивым вкусом. Мне кажется, она заслуживает быть допущенной к приемным испытаниям.

БП

Москва 4 июля 1955».

«30 июня 1955

Глубокоуважаемый

Николай Алексеевич!

В подведомственный Вам институт подает по моему совету заявление о допущении ее к приемным испытаниям Ирина Емельянова, знакомая мне девочка с литературными способностями и врожденною тягою к кинематографии и театру в их драматургической основе, развитие которой протекало на моих глазах с малых лет.

Речь и просьба моя к Вам только о том, чтобы безвестное имя ее не затерялось среди множества соискателей и чтобы она

допущена была к экзаменам. Остальное, конечно, должна довершить она сама, ее данные и познания.

Заранее вам обязанный Б. П.».

Какой старомодной щепетильностью дышат эти письма, когда вспоминаешь звонки через ЦК, угрозы, шантаж, да и просто взятки, которыми осаждали директора института жаждавшие пристроить своих чад в престижное заведение родители! Какими прописями дворян кажутся эти с неохотой написанные Б. Л. ходатайства!

Надо сказать, что в 1955 году его имя опять очень много значило. Я не затерялась среди множества соискателей — и директор, и набиравший семинар Е. Габрилович отнеслись ко мне подчеркнуто внимательно. Но увы, и данные мои, и познания оказались не на требуемой высоте. Речь даже не о высоте — принимались люди с опытом, хваткой, умеющие работать на студии. Я была действительно тут не на своем месте. И провалилась. Последующие осень, зиму и лето я прожила с мамой в Измалкове, деревне между Баковкой и Переделкином, иногда наезжая в Москву, занималась языком, готовилась. Это были вполне счастливые дни.

* * *

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, спрошу, далось нам это —
Так, ни с того и ни с сего?..

Доктор Юрий Андреевич Живаго записывает в тетрадь эти тютчевские строки в разгар трудового лета в Варыкине во время краткого отдохновения от войны и революции. Сам Б. Л. вспоминал их часто летом 1955 года, как раз когда писались варыкинские главы. Этот год и последующие явились для него такой варыкинской благословенной передышкой, полной труда, мира, удовлетворенности. Они были последними в его жизни, эти годы, и счастлив человек, которому был дан такой закат, — время благодатной полноты. Эта полнота, наполненность до краев, требует покоя, боится толчков — как бы не расплескать. И следуя инстинкту самосохранения, подсказывающему, что время — драгоценно, что его остается немного, Б. Л. превратился сам в собственного сторожа. Мне трудно было поверить, что перед нами тот человек, о котором когда-то писал его отец: «Приехал Боря, и

жить в доме стало невозможно». Перед нами была сама дисциплина, аккуратность, пунктуальность, доходящая до мании. Как часто повторял тогда Б. Л.: «Надо работать, надо работать. Грань между занятиями полутворческими — размышлениями, беседами, посещением концертов и театров, ответами на письма, даже самыми значительными и волнующими, и настоящей работой — тонка и едва различима. Так не будем же подменять одно другим…» И когда одно время он стал популярнее кинозвезды, и ему пришлось отдавать этому «полутворчеству» очень много времени, он не переставал угрызаться своей бездеятельностью.

Был свято соблюдаемый режим дня, ставший почти ритуалом. Все отклонения от него — поездки в Москву, недомогания, неожиданные гости, бессонницы — воспринимались с неудовольствием. Были священные часы работы. Часы отдыха. Часы прогулок. Часы посещения кузьмичевского домика, где поселилась мать. И мы, с нашими заботами и бедами, лежали на чаше весов, поддерживающих это олимпийское равновесие.

Через самаринский пруд, через его деревенскую, «неромантическую» часть был перекинут мост — деревянный мостик, связывающий деревню Измалково с переделкинским шоссе. На краю деревни, на отлогом берегу пруда, мать сняла крохотную комнатушку с терраской («Олюша, я тебя просил снять комнату, а ты какой-то фонарь сняла!» — воскликнул Б. Л., увидев это жилище) у некоего Кузьмича, старика забавного и хитрого.

Дом Кузьмича был большой и старый, доставшийся ему в результате удачного раскулачивания им же прежних обитателей, с высокой темной крышей и множеством крылечек. Эта громоздкая развалюха, а также палисад, шумящий высокими трухлявыми липами, с непрекращающимся вороньим гвалтом, напоминал древний ковчег, особенно в осеннюю непогоду, когда потоки дождя смывали границу, отделяющую дом от пруда. Нога расползались на глинистой тропинке, ведущей к крыльцу, вечером тьма в деревне была египетская, и Б. Л. путешествие от его дачи до Кузьмича казалось, наверное, рискованным и увлекательным предприятием. Зимой же, когда можно было идти прямо по льду пруда, дорога занимала минут 15–20. Хорошо было из промозглой, морозной темноты попасть в наши три квадратных метра теплого и уютного жилья, освещаемого оранжевым шелковым абажуром, привалиться спиной к жаркой печке, около которой дремали разомлев шие кошки. Мама натащила в дом разных тряпок, пузырьков, картинок. Она была очень оскорблена, когда Б. Л. в стихах назвал этот уголок

«конурой».

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.
Ты с ногами сидишь на тахте…

Но там только так и можно было сидеть, потому что с пола отчаянно дуло, а стул в наших метрах помещался только один.

И однако, сколько навсегда оставшихся воспоминаний связано у нас с этой конурой!

Синий сугроб завалил окошко, оставив лишь в верхнем углу его немного места для потрясающе круглой высокой зимней луны. Мы с матерью сидим, поджав по-турецки ноги, на каком-то подобии тахты у печки. Каждый звук за окном слышен четко и гулко. Вот — торопливая пробежка мимо окна, стук обледенелых лап по крыльцу, и в комнату вваливается, распугивая кошек, замерзший мокрый Тобик, часто сопровождающий Б. Л. в его прогулках. В конце палисада движется желтое пятно фонарика, и на крыльцо поднимается, обязательно отряхнув веничком белые круглые валенки, Б. Л. Он все в том же заслуженном пирожке, на плечах погоны из снега. Мы помогаем ему раздеться. Шумно поздоровавшись с нами, он садится на единственный стул. Скоро от горячего воздуха лицо его делается красным, глаза блестят, он кажется фантастически молодым, гораздо моложе того человека, с которым я когда-то встречалась на бульваре. Мы выслушиваем целый монолог о том, как поразил его своей непререкаемой законченностью строй озаренных луной сосен, как родственны поэзия и мир природы, что стихи надо писать так, как сажают деревья… И ему хочется написать об этом, связав поиски законченности в мире слова и в мире растений… Он читает обрывки строк: «Я б разбивал стихи, как сад…» — эта строчка родилась первой. Мать подсовывает ему карандаш и лист бумаги, на котором записывается одна строка, потом другая. Сегодня ему не сидится с нами, и, пообещав прийти завтра утром, Б. Л. уходит в сопровождении Тобика, а мы долго видим желтое пятно, прыгающее по синим сугробам и исчезающее на другом берегу пруда.

* * *

Летом, раздувая паруса высоких старых лип, наш ковчег

почти вплывал в пруд, и мостик казался перекинутым к самому крыльцу. Мать чувствовала себя капитаном шхуны, высматривая в условленное время на мостике знакомую фигуру, еще издалека приветственно машущую рукой.

Спокойной вереницей идут, нет, скорее стоят неподвижно эти спокойные ясные дни благословенной передышки, когда, казалось, улеглись и женские страсти, и трагедии беззакония, отошла и гложущая забота о хлебе для себя и близких. Возвращались друзья, первые ласточки в 1954 году, потом — в 1955, 1956 все больше их штурмовало переделкинскую обитель. Наш «филиал» всегда был гостеприимен: оставляли ночевать, кормили, вечерами жгли костры на берегу Самаринского пруда, читали стихи до поздней ночи, иногда до предрассветного тумана над темной водой. Б. Л. стихов у костра не читал, но старался бывать у нас каждый день. В это время помню его особенно бодрым, полным надежд. Готовился к изданию сборник избранного, редактор сборника Н. В. Банников тоже часто приезжал в Переделкино. По его инициативе писался автобиографический очерк «Люди и положения», Б. Л. читал отрывки из этого очерка у нас на даче и, помню, Банников сказал, что для него это не менее сильно, чем «Охранная грамота».

Дописывались последние главы романа. Какая-то небывалая полоса благополучия… У меня — счастливая любовь, и даже бабушка вышла в 1956 году замуж. Она встретилась с человеком, которого не видела 30 лет и с которым когда-то — 30 лет назад — была близка. Оба овдовели и наконец-то нашли друг друга. Новый наш дед, Сергей Степанович, мы называли его «старичок», с военной выправкой, прекрасно воспитанный — при дамах не садился, целовал ручки, бабку именовал не иначе, как «богиня», — внес в наше семейство необходимую ноту умеренности и аккуратности. В поэзии он, разумеется, ничего не понимал, но очень ценил Б. Л. как человека своего круга — за прекрасное воспитание. Наши голубки буквально не сводили друг с друга глаз, что поражало Б. Л, ведь он помнил бабушку другой, нетерпимой, сумасбродной, своевольной.

Свадьбу отпраздновали в интимном кругу — мама, Митя, я с моим другом и — свадебный генерал — Б. Л. Уютная комната Сергея Степановича с вышитыми подушками, картинками на стенах (он по клеточкам делал копии с картин Шишкина и Саврасова), с низким оранжевым абажуром, вкусный стол (старичок чудно готовил, все протирал и тушил), красавица-невеста (бабушка до старости была хороша). Б. Л. — в ударе, произносит чудесный тост за здоровье «молодых». Потом в несколько измененном виде он воспроизвел его в письме к

Сергею Степановичу: «Я мало верю в сродство идей и убеждений (наверное, их у меня нет), но соседству по сложившейся судьбе, соседству в жизни придаю большое значение. Я рад в Вашем лице обнять и расцеловать такого соседа».

Особая пристальность, сосредоточенность взгляда отличает лирические стихи той поры, объединенные потом под «метеорологическим» названием «Когда разгуляется». Там есть все участники жизни тех лет: и Самаринский пруд, и поле, и Сетунь. (А передышки-то всего было — два года!) И недаром именно в это время Б. Л. заново для себя открыл Тютчева — великого созерцателя. Он не мог без слез (да, он часто плакал, особенно при чтении любимых стихов, это известно) читать «Вот бреду я вдоль большой дороги», «Тени сизые смесились» и, конечно, «…ты и блаженство, и безнадежность…».

Кончается один из таких дней… Около шести часов вечера. Должен прийти Б. Л., и мать спешно допечатывает на нашей плохонькой «Москве» принесенные накануне очередные куски романа. Перед ней — рукопись — беловик, аккуратно переписанный фиолетовыми чернилами и подшитый в тетрадь.

Вообще-то она никогда всерьез не занималась этой работой — машинка у нас была нестандартная, и печатала мама непрофессионально. Только иногда, когда либо машинистка была в отъезде, либо требовалось быстро подготовить какой-нибудь кусок для последующей правки, Б. Л. доверял ей эту работу. Как-то раз даже я была допущена к этому святому делу — перепечатывала фрагмент из главы «Лесное воинство» — мать не успевала, кто-то приехал, а Б. Л. должен был вот-вот прийти. Но я, помню, наделала столько ошибок, особенно в сибирских фамилиях, что была навеки отстранена. Перепечатывала обычно Марина Казимировна Баранович, а иногда — Татьяна Ивановна Богданова, мамина сводная сестра, профессиональная машинистка, работавшая секретарем в министерстве. Недавно на выставке в «Центре Помпиду» в Париже я увидела экземпляр работы Татьяны Ивановны, знакомый продолговатый переплет, страницы без единой помарки — пахнуло тем волшебным летом, духотой нагретой солнцем терраски; там у мамы был «кабинет», где хранились драгоценные рукописи.

Мать заканчивает страницу: «Не успела. Остальное завтра». Я беру сброшюрованную рукопись, одеяло, и мы вместе с моей подругой Инной Малинкович идем в лес, чтобы почитать в тишине про всех этих Палых и Гораздых. Ложимся под кустом, но не проходит и десяти минут, как на фиолетовую страницу падает капля дождя, вторая, третья… Мы вскакиваем. Дождь, да еще какой! Что делать? Я прячу прямо под сарафан тетрадку,

закутываюсь одеялом, и мы бежим в деревню. О ужас! Вся тетрадь влажная (некоторые строчки размыты) и порядком измята. Не везет этим Палым! Я пытаюсь привести ее в порядок. Моя подруга спешно переодевается в красивое платье, ибо мать извещает: «Боря уже па мостике!»

Сохранились кинокадры, снятые мною в этот день. Издалека по мостику движется крохотная фигура. Фигура приближается, по характерному размахиванию руками и панамке узнаем Б. Л. Вот он совсем близко и, заметив меня, спрятавшуюся у мостика, смеется и отворачивается. Камера прыгает у меня в руках, кадры мельтешат, словно это первые хроники Люмьеров.

Б. Л. охотно вступает в беседу со знакомыми старожилами. У калитки останавливает его наша соседка (Н. И. Бам) — поклонница Пастернака, — бормоча какие-то восторженные приветствия, что-то вроде: «увидела и решила — подбегу, хоть за рукав потрогаю…» Б. Л. шумно целует ей руку и в ответ на ее «ой, теперь умываться неделю не буду» гудит что-то недовольное.

Мы весело встречаем его. На столе «Токай», который привезла Инна, приехавшая не только ко мне, но и повидать «классика». Б. Л. говорит что-то во славу Венгрии, давшей миру такое замечательное вино. Мы пьем его. Вино действительно отличное.

— В последний раз я видела вас в зале ВТО, когда вы читали переводы… — робко начинает Инна.

— Как! Вы были там? — Б. Л. весь преображается. Теперь она для него не просто случайная Ирина подруга, но один из верных друзей, следивших за его выступлениями. Чувствуется, как дороги ему эти воспоминания, сколько связано у него как тяжелого, так и радостного с теми годами и как хочется ему снова «к людям».

Начинается разговор о книге, которую собирается издавать Гослитиздат, и чтобы не касаться неприятной нам темы — новой редакции старых стихов (мы буквально плакали с матерью, чтобы он не менял «Марбург»), говорим об обложке, объеме, и я вставляю: «А вместо портрета хорошо бы дать рисунок отца, где голова слегка приподнята… Помните? Замечательная головка…»

Б. Л. смешит это слово. «Головка…» — повторяет он, и лицо его вдруг становится мечтательным. «Как хорошо, что теперь все эти головки, отцы, сборники — не важны… Все это не имеет никакого значения, поскольку есть главное, есть роман…» Мы с мамой переглядываемся. Уже давно, о чем бы ни говорили, Б. Л. все сводит к роману. Мания эта стала у нас дома предметом шуток. Причем переходы бывают самые странные — как сейчас, например. Словно он все время думает лишь о романе,

воспринимая происходящее лишь применительно к нему.

«Ох, Боря, опять, — вздыхает мать. — Ну, при чем же здесь роман? Ох уж этот мне роман!»

Если бы она только знала, сидя в этот вечер над безмятежным прудом, где весело плескались утки, что пройдет совсем немного времени и «этот роман» заживет самостоятельной жизнью. Он вовлечет в свой водоворот и наши судьбы. Он принесет мировую славу, поставит к позорному столбу, станет и триумфом, и Голгофой. За него будет заплачено и унижением, и величайшим напряжением душевных сил, и годами на шей с ней тюрьмы, и даже жизнью. Но все это впереди…

Уже были перепечатаны и переплетены в красивый коричневый коленкор несколько экземпляров для раздачи знакомым; уже давались телефоны, по которым мы должны были звонить, договариваться о встрече и вручать счастливцам рукопись; в начале 1956 года мама отнесла рукопись в «Знамя» и в «Новый мир». Но вдруг сам Б. Л. придал делу совершенно иной оборот. Погожим летним вечером он пришел чем-то чрезвычайно довольный и объявил, что только что отдал экземпляр романа одному итальянцу — Серджио Д'Анджело, который работает в Москве в редакции итальянского радио и который попросил книгу от имени своего друга издателя Фельтринелли. И с последним мы очень скоро познакомимся. Мать, интуитивно почувствовав гибельность этого шага, лишилась дара речи. Стали строить планы, как спасти положение. Решено было, конечно, ускорить издание романа в советских издательствах.

Директор Гослитиздата принял маму и Б. Л. доброжелательно. Был даже заключен договор на книгу (с небольшими купюрами) и назначен редактор, наш знакомый Анатолий Васильевич Старостин, полиглот, эрудит, энтузиаст эсперанто (я ходила к нему в кружок некоторое время), человек совершенно свой. «Новый мир» не отвечал. Наступило какое-то странное затишье…

Помнится, первой грозой, пронесшейся над нашими головами, была публикация отрывка из романа в польском журнале «Opinia» («Мнения»). «Верхи» забеспокоились, потребовали отчета, возвращения рукописи, изъятия ее у Фельтринелли и запрета последнему публиковать ее в любом объеме, даже в отрывках. Для изымания рукописи в Италию был послан А. Сурков. Ах, какая это была двойная игра, какое двурушничество! По одним каналам Фельтринеяли засыпали просьбами задержать перевод до опубликования романа в СССР, а по другим — просили продолжать, поскольку скорее всего в СССР книга не выйдет все равно — «оттепель» ведь кончалась.

Завершилась эта кампания возвращением рукописи из «Нового мира» с разгромной рецензией, подписанной всеми членами редколлегии.

Сколько нервов и сил ушло на эту борьбу! Лето 1957 года я провела на юге, в Сухуми, и только по письмам матери и Б. Л. могла догадываться, сколь успешно они действуют. Вот письмо «классика», написанное, как я потом выяснила, сразу после маленькой грозы с «Мнениями»:

«21. VIII.57

Ирочка, золотая, ты написала остроумное чудесное письмо маме, она сейчас его читала вслух, и мы восхищались. Здесь разразилась страшная гроза по моему поводу, но пока, слава создателю, мы не убиты молнией. Ввиду отсутствия тебя и твоей поддержки пришлось отказаться от неуступчивой позиции, которую я до сих пор занимал, и согласиться послать Ф. телеграмму с разными тормозящими просьбами. Громы были оглушительные, мама тебе все это расскажет по твоем приезде. Она высылает тебе некоторую толику денег, если у нее будет возможность, дошлет еще, а пока не расставайся с настроением твоего письма, не отказывай себе ни в чем и позволь поцеловать тебя на прощанье.

Твой Б. П.».

Мать писала тоже в легкомысленном стиле:

«Посылаю тебе письмо классика и в добавление могу сказать, что грозы начались как раз с того дня, как ты уехала (14 августа 1957), и только моя дипломатия, в которую ты не веришь, эти грозы в какой-то степени предотвратила. Я была и у своего старого дружка Мити <Поликарпова>, и своего давнишнего приятеля Алеши <Суркова>, был и Боря и произнес речуги, какие хотел. Я ходила за ним с валерьянкой и камфарой, а он произносил. Потом мы все обсуждали с Колей <Банниковым>, Толей <Старостиным> и К°… Сейчас у нас передых, а в самые трудные дни Боря трогательно говорил: «Вот Ирочки нет, а она бы меня поддержала», и, причем серьезно, а ты, свинья, ему мало написала…»

И еще одна смешная записочка, шутливая, от 3 сентября 1957 года:

«Ирочка золотая, какая ты талантливая, какие живые и остроумные письма ты пишешь! Пишу тебе страшно второпях, почти на лестнице и крепко целую и обнимаю, как бы нам не свалиться к лифтерше Нине на таком осложненном и задержанном спуске. Если хочешь, оставайся в тропиках, сколько тебе будет угодно, мама дошлет тебе денег.

Твой Б. Л.».

И приписка матери:

«Ируня, это мы с классюшкой твоим выпили вдвоем четвертинку и окосели. А вначале ругались, и от всего нас спасло твое нахальное письмо, где ты свою мать не ставишь ни во что, как дипломата. Ах, гадина!.. Мы тебя без памяти любим, и когда останемся одни на свете, не гони бедного классюшку со двора, дай ему выпить чашку чаю и 20 коп. на трамвай (водки не давай). Я очень за него волнуюсь, и жаль его. Инесса просто плачет от жалости, она у меня была, и мы все переговорили… Жду тебя после 15-го. Писем не пишу, потому — все криминал. Ты знай — мать и классик, какие бы они ни были, тебя любят и первую улыбку Бори и слезы я видела, когда он слушал твое письмо».

* * *

Но, увы, мамина дипломатия грозы не предотвратила. И она грянула 24 октября 1958 года, ровно через два года после венгерской трагедий, и повторяя почти день в день ее амплитуду. Да и закончилась в те же сроки — к тому же ноябрьскому параду.

В этот день на лысом, отлично просматриваемом со всех сторон скверике у Белорусского вокзала у меня состоялась конспиративная встреча с корреспондентом «Униты» Джузеппе Гаритано. Дело в том, что, отбывая из Москвы, Серджио Д'Анджело познакомил нас с семьей Гаритано и попросил держать связь с итальянским издательством Фельтринелли через них. Они передавали нам экземпляры вышедшего на разных языках романа, письма от Серджио и Фельтринелли, подарки (в том числе даже кофты, которые потом оказались под судом).

Но, совершая эти незаконные действия, бедные итальянцы до такой степени тряслись от страха, что на них было жалко смотреть. Упаси господи, они не могут прийти к нам домой, тем более позвать нас к себе. Потом стали просить, чтобы на встречи приходили лица вне подозрений — я или Митя. Впоследствии эта трогательная робость привела их к весьма странным поступкам: контракт с Фельтринелли, подписанный Б. Л. и переданный им для отправки, у них, как они рассказывали, выкрали где-то на юге, на курорте. Это случилось уже после смерти Б. Л… Состоялось волнующее объяснение. Боже мой, что это была за трагикомедия! На ломаном русском языке Джузеппе умолял мать успокоиться, а в ответ на ее вопли: «Убийцы! Яду мне!» — робко интересовался у меня: «Чего хочет мадам?» Тогда мы считали, что документы они передали в КГБ. Но сейчас мне кажется возможным и работа их на Д'Анджело, который уже тогда объявил

Фельтринелли войну и был заинтересован до чрезвычайности в обладании этими контрактами.

Контракты, контракты… Они затопили, отравили, заболотили нашу такую кратковременную передышку! Они лезли из всех карманов, портфелей, многолистные, с копиями, на трех языках… Фельтринелли враждовал с Д'Анджело, Ж. де Пруайяр с Фельтринелли. Каждый посылал своих эмиссаров, требовал внесения своих поправок, обвинял конкурента… О, на нас тогда здорово пахнуло деловым Западом — пресловутой конкуренцией, сутяжничеством, «бумажководством», — как мило шутил Гейнц Шеве. Жутко становилось и… скучно. Ведь вся эта грызня где-то там — для нас была абстракцией, фикцией. «Подписываю, но чтобы в последний раз!» — умолял Б. Л. и подмахивал, не читая «поправок», «дополнений к пункту В» и т. п.

А бумаги росли, копились, подшивались в папки в прохладных кабинетах Лубянки…

Так вот, 24 октября, вызванная Джузеппе, я замерзала на пустынном, продуваемом всеми ветрами скверике (сколько фотографий нащелкал с меня в это утро наш КГБ! Как со Штирлица!), пока не увидела, как издалека движется знакомая фигура в каком-то безрадостном берете с огромным предметом, типа саквояжа, в руке. Выяснилось, что это пишущая машинка «Торпедо», которую нам посылает Серджио (как дорогостоящий подарок также скоро оказавшаяся под судом). На унылом прыщавом лице Джузеппе — это был пухлый итальянец с кувшинообразной физиономией и тоскливыми глазами, похожий на Альберго Сорди, — была растерянность и вместе с тем какая-то необычная торжественность. Он вручил мне машинку и спросил, думает ли Б. Л. ехать в Стокгольм.

— Как! Почему в Стокгольм?

— Но ведь он теперь лауреат. Было уже заседание Академии.

Вот оно! Я страшно перепугалась. Что же теперь делать? — Ничего, — успокаивал меня Гаритано. — Может быть, все обойдется.

Я дотащила машинку до такси. Весь этот недолгий путь по улице Горького, потом вдоль бульваров домой я чувствовала, как с каждой минутой растет мое беспокойство. Ясно было, что на присуждение Нобелевской премии наша власть так или иначе откликнется. Все говорило мне, что будет именно «иначе», — но как? Ведь всего пять лет отделяло нас от смерти Сталина, ведь робкая наша «оттепель» уже давно и решительно повернула к зиме, ведь уже почти год у матери лежало разгромное письмо «Нового мира» — приговор тому самому роману, за который Б. Л. сегодня увенчан лаврами.

Б. Л. и мама были в Переделкине и, как я думала, еще ничего не знали. Не успела я открыть дверь нашей квартиры, как раздался звонок по телефону. Это был Б. Л.

— Ах, ты уже знаешь, — сказал он разочарованно. — Я сейчас звонил бабушке, подошел Сергей Степанович и даже не поздравил меня почему-то. Да, уже началось, началось! (В ответ на мой безмолвный вопрос.) Да, приходил Федин, предлагал отказаться. Пришел, словно меня уличили в преступлении, и это вдруг стало всем известно. Только Ивановы, Тамара Владимировна, ах, какая умница! Расцеловала меня. Нет, с Фединым я не стал говорить…

Внезапно я догадалась, что была, по-видимому, одной из первых, кому он сообщал о своем решении принять премию, о взятом «курсе», что мама, наверное, находилась в полной растерянности, а паническое настроение окружающих действовало на него болезненно. За секунду все это пронеслось у меня в мозгу. Я отозвалась преувеличенно радостно и ни слова не сказала о своих страхах. Б. Л. был благодарен: «Да? Правда, ты так думаешь? Ах, умница, умница…»

В эту же ночь, в три часа, мне позвонил из общежития нашего института мой знакомый Юра Панкратов, тогда очень преданный Б. Л.. Он рассказал, что наше заведение бурлит, как растревоженный улей, что готовят демонстрацию с плакатами, требующими исключения Б. Л. из Союза писателей и высылки из СССР, что в субботу (а это была пятница) состоится заседание Правления московской секции, где будет «вынесено постановление» и т. п. Мы с Юрой решили ехать завтра в Переделкино.

Утром и «Правда», и «Литературная газета» принесли первые лавры: «Провокационная вылазка международной реакции», «Иуда», «Гнилая наживка на крючке антисоветской пропаганды», «Народное презрение» и т. д. Пробежав заголовки, в который уже раз я обрадовалась, что Б. Л. не читает газет. Он не смог бы остаться равнодушным к оскорблениям. Стыдно вспомнить, но тогда мне было досадно, что Б. Л. так уязвим, так беззащитен, что я не могу в нем найти того идеала «железной стойкости», который импонировал моим годам. Он был «всеми побежден», зависим от мелочей: от приветливости знакомой почтальонши, от выражения молчаливой преданности со стороны домработницы Татьяны Матвеевны, от того, что поселковый истопник здоровается с ним «так же, как раньше». Помню, с какой радостью, словно о чем-то важном, он рассказывал, что встретил по дороге переделкинского милиционера, которого знал много лет, и «сам» милиционер поздоровался, «словно ничего не

произошло». Каким-то чудом уживалась эта бесконечная уязвимость со способностью быстро забывать неприятное и тут же с головой нырять в работу.

В субботу, 26 октября в обществе моих сокурсников Юры Панкратова и Вани Харабарова, таких испуганных, негодующих (страшно подумать, что одного уже нет в живых, и как изменился другой), я поехала в Переделкино. Идем через знакомый мостик над прудом, потом через огороды, мимо колодца и видим в окошке у матери красный тревожный свет. И переделкинские сумерки, и темнеющий самаринский парк, и высокие крыши писательских дач источают какое-то беспокойство.

Мать, не подготовившаяся — ни к нашему приезду, ни к новой беде, уже валившей в ворота, — встречает нас на крылечке. В комнатушке Б. Л., тоже какой-то другой, выбитый из колеи. Мы сообщаем, что, видимо, дело приняло дурной оборот — власти решили начать охоту за ведьмами, вышли ужасные газеты, и на понедельник назначено расширенное заседание секретариата СП, на котором должен присутствовать Б. Л., и в зависимости от его поведения будут что-то решать. Б. Л. встревожен, я чувствую, как ему хочется, чтобы его миновала чаша сия, чтобы ничего этого не было и чтобы все шло своим чередом — работа, прогулки, письма, посещения кузьмичевского домика.

Он был в обычном своем костюме, который мы очень любили — в кепке, резиновых сапогах и плаще «Дружба» — этот костюм был как бы символом стабильности, той самой «сидячей жизни», о которой Б. Л. грустил и в более молодые годы («пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнию сидячей, — и по такой грущу по ней») и к которой в последние годы был так мучительно привязан, ею связан! В те беспокойные дни, возвращаясь из Москвы, куда Б. Л. считал своим долгом ездить в парадном виде, он с нетерпением переодевался в «мирные» свои одежды — в этом плаще и кепке и снял его какой-то шведский корреспондент у мостика: руку он прижимает к груди, что обыграно подписью-цитатой из нашего «общего» письма Хрущеву: «Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы».

Но это все уже потом. А тогда вечером, в субботу 26 октября 1958 года, мы провожаем его домой, на «большую дачу». Доходим до будки трансформатора, от которого налево идет асфальтированная дорога к дачам Федина, Андроникова, Иванова и — Пастернака. Обычно именно здесь мы оставляли Б. Л., дальше он шел один. Но сегодня он провожает нас троих почти до станции — до моста около кладбища. Прощаемся. Ужасное чувство тоски и беспокойства, усугубленное его

взволнованностью. Он благодарит ребят за приезд, словно это какой-то из ряда вон выходящий мужественный поступок — кто знал тогда, что будет? И ведь предчувствия нас не обманули, кампания проводилась в сталинских традициях, за исключением развязки. Не помню, по какому поводу, прощаясь, Юра пробормотал стихи:

Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера-прощанья…

В те дни мы часто обращались к его стихам. Они помогали, давали возможность посмотреть на «околонобелевскую» суету с птичьего полета, придавали происходящему другой масштаб. И это не было ни натяжкой, ни выспренностью. Вот и сейчас, около кладбища, он стал внимательно вслушиваться, как будто не он это написал, глаза наполнились слезами, вытащил клетчатый платок, засморкался… И мы расстались.

Вернувшись в Москву, я узнала, что группой студентов нашего института была проведена пресловутая демонстрация: с нарисованными ночью плакатами — Б. Л. тянется за мешком с долларами — «Иуда, вон из СССР!» и еще что-то в этом роде — Н. Сергованцев, В. Фирсов, В. Стрыгин, Н. Некрасов (кстати, потомок поэта, поразительно на него похожий), Д. Блынский и др. — направились к Союзу на улицу Воровского (стало быть, прошли не так много — два бульвара и улицу). Они прислонили плакаты к забору или прибили их, не помню, и стали вызывать начальство.

Вышел К. Воронков, секретарь правления, и, как говорили, попытался пыл охладить: сказал о предстоящем в понедельник заседании, которое все определит. Возмущенные голоса предлагали немедленно ехать в Переделкино и устроить на даче Пастернака погром, но Воронков их не поддержал. Он предложил направить гнев в официальное русло — собрать подписи под письмом протеста (что и было сделано — письмо опубликовано в «Литературной газете» под заголовком «Позорный поступок»).

На этом демонстрация и закончилась. Но мы очень испугались — а вдруг правда некоторые «энтузиасты» поедут на дачу? Решили одного Б. Л. никуда не пускать. И с этих пор, хотя Б. Л. это очень раздражало, в Москве его всюду сопровождал Митя, а на даче — Кома Иванов (сын Всеволода Иванова, соседа Б. Л. по даче), а если он отсутствовал, то ехал кто-нибудь другой.

Мама придавала этой охране необычайное значение — она только тогда чувствовала себя спокойной, когда знала, что сегодня, например. Гена Айги поедет и посидит, то есть

подежурит, около дачи.

В моем институте началась кампания по сбору подписей. Новый директор И. С. Серегин (заменивший либерального В. Озерова) сказал, что «история с Пастернаком будет лакмусовой бумажкой для проверки лояльности студентов». По комнатам общежития ходили с подписным листом, причем выбирали самые поздние часы, когда все должны быть дома. Не желавшие участвовать в этой гнусной акции запирались, отсиживались на кухне, в уборной. Возвращавшихся подкарауливали даже у лифта. В конце концов собрали 110 подписей, а студентов у нас было около 300! Подписи красовались под письмом, опубликованным в Литгазете в подборке других таких же мерзких писем под огромной шапкой — на разворот: «Гнев и возмущение».

В свою очередь у нас возникло желание организовать контркампанию, вернее, она сама организовалась стихийно: вдруг мне стали звонить по телефону незнакомые люди, звать к себе, назначать встречи, передавать письма. Даже не знаю, откуда узнавали наш телефон. Я не говорю уже о близких знакомых, которые жили только этим: то кто-то слышал передачу по «Голосу Америки» или «Би-Би-Си» и обязательно хотел, чтобы я передала содержание Б. Л., то мой сосед по переулку вызывал меня, чтобы сообщить, что Неру предложил Б. Л. политическое убежище (это, кстати, Б. Л. как-то воодушевило) или что по «Би-Би-Си» читают «Прикованного Прометея» Шелли и говорят, что значение, которое в наше время «гения масс» может обрести один человек, опровергает мрачные оруэлловские концепции развития общества… Это было все, конечно, захватывающе — Неру, Прометей, опровержение Оруэлла, но мы имели дело с вещами более реальными — здоровье Б. Л„страх, что кто-то налетит ночью, расторжение договоров в издательствах и пр.

Вот письма казались мне очень важной помощью, я их таскала целыми кипами. Я ведь знала Б. Л. — потом в своем стихотворении о письмах и о марках он подтвердит, что это было для него важней всего. Помню, он часто говорил моему брату Мите, который работал тогда на почтамте:

«Ведь ты работаешь в самом дружественном мне учреждении!» И первое, что он потребовал от Поликарпова, когда вырабатывались условия соглашения, — разрешить поступление писем, которые были на несколько дней задержаны, пока не знали, каков будет приговор лауреату.

Но я-то приносила письма без марок, иногда даже без конвертов — от тех, кто либо опасался попасть на заметку, либо боялся, что по почте письмо не дойдет. Многие из этих писем хранятся сейчас у нас — Б. Л. некоторые приносил и показывал —

это потрясающие документы! Есть и другие. Из этих других, приходящих по почте, либо с удовольствием пересылаемых редакциями газет, выделяются два — Г. Николаевой и И. Сельвинского. Когда разразился скандал, Сельвинский был в Крыму, но побежал в местную газету, чтобы сейчас же откликнуться на «возмутительное» событие.

Итак, все эти дни я носилась от одного советчика к другому, передавала письма, вечером ездила в Переделкино, если мама была в Москве. Иногда Б. Л. даже не выходил ко мне — так ему надоела наша опека. Одним словом, я так замоталась, что достаточно было пустяка, чтобы свалиться: как-то вечером мы с Комой Ивановым ехали на дачу на такси, и, выходя из машины, я случайно прихлопнула дверцей палец. Волнение было таково, что сначала я даже не придала этому значения. И лишь потом, когда в электричке уже возвращалась домой, почувствовала сильную боль в руке. Я пошла в поликлинику и потеряла там сознание. Ноготь мне вправили, наложили толстую марлевую повязку, я ею гордо потрясала. Увидев меня в институте, Юра Панкратов, изобразив ужас на лице, бросился ко мне: «Покажи, покажи, как тебя пытали!» Мое «боевое ранение» немного отвлекло от надвигавшегося кошмара и маму, и Б. Л. Вообще Б. Л. ко всяким порезам, ожогам относился с непропорциональным сочувствием, и на этот раз моя рука занимала его весь последующий день, он даже из конторы звонил — отвела ли меня, наконец, Инесса к хорошему хирургу?

* * *

28 октября, в понедельник, должно было состояться расширенное заседание секретариата СП. Рано утром, часов в восемь, я побежала к приятельнице в Козловский, чтобы получить очередную информацию о международном резонансе (у нас времени слушать радио не было), потом на углу Потаповского и Телеграфного у меня было назначено свидание с незнакомыми мне тогда Ильей Шмайном и Женей Федоровьм, которые просили меня передать несколько писем Б. Л.

Я сказала, что, видимо, сейчас же и передам, — Б. Л. должен этим утром приехать в Москву, чтобы идти на заседание. Было часов десять, когда я вернулась домой, и мама, встревоженная, постаревшая за эти дни, задержала меня в коридоре: «Тише, классик уже здесь, он пишет письмо, решили не пускать его». В столовой накрыт стол — коньяк (Б. Л. любил коньяк). Здесь же — участники «сопротивления» — Митька и Кома Иванов. Тогда-то я и увидела в первый раз легендарного Кому, о котором раньше много слышала от Б. Л.: «Кома приходил с тем-то. Кома сказал. Кома принес стихи. Кома подарил любимые белые круглые валенки…»

В это утро Кома, видимо, приехал с Б. Л. из Переделкина, боясь отпустить его одного, и он же, по-моему, настоял на том, чтобы не ходить на Правление. Мы пили в столовой кофе, а Б. Л. в моей маленькой комнате писал свое знаменитое письмо, о котором потом говорили, будто оно подготовлено чуть ли не за неделю. Так вот, он писал его буквально на наших глазах, карандашом, сразу набело, а мы ждали, когда он кончит, выйдет и прочитает его нам. Потом, как предполагалось, Митя отвезет письмо на такси в Союз.

Мама сказала: «Б. Л. хочет тебя видеть». Я вошла в комнату, торжественно положила около него письма и пролепетала что-то вроде: «Вот! Скоро еще будут!» Хотелось как-то утешить его. За те два дня, что я его не видела, он очень изменился, похудел, лицо — совсем больное, «серое», как говорила мама. Одет был по-парадному, в отцовский костюм, присланный из Лондона. Он положил письма, не читая, в карман и с нетерпением обратился ко мне: «Ну что? Какие новости?» Мама ведь говорила ему, что «Ирка всюду носится и все знает». Я начала что-то бормотать, какие-то общие слова, которыми мы все утешали себя в те дни, что, мол, не то время, не посмеют, они теперь на запад оглядываются, а на западе — Прометей, опровержение Оруэлла,

Неру… Звучало все это неубедительно, и я замолчала. Тогда Б. Л. сказал, что он сейчас закончит и выйдет, чтобы мы его ждали. И опять застрочил. Писал с вдохновением, даже высунув кончик языка, — он всегда так делал, когда писание ему нравилось.

Правление было назначено на двенадцать. Мы с Комой решили сообщить в Союз, что Б. Л. не приедет, а привезут письмо от него. Из конспирации (?) решили звонить не от себя, а от соседей. На другом конце провода, по-видимому, спросили, кто привезет, и Кома ответил очень спокойно: «Иванов привезет». Таким образом, Митя отпал, хотя, если я не ошибаюсь, они поехали все-таки вместе. Мы вернулись к себе, и через несколько минут Б. Л. вышел и прочитал нам письмо.

До слез обидно, что мы так мало думали об истории и даже не переписали эти несколько страниц! Осталось самое общее воспоминание да несколько запавших в память фраз. Письмо было составлено по пунктам. Начиналось оно с того, что сначала он (Б. Л.) хотел пойти, но, узнав, что готовятся какие-то манифестации, митинги с демагогическими речами, передумал. Затем — история напечатания романа — роман был отдан в советские инстанции и передан за границу в то время, когда подобная публикация казалась вполне возможной — вышел роман Дудинцева, альманах «Литературная Москва». Кончалось письмо так: «Вы можете меня выслать, уничтожить… Это вам не прибавит ни счастья, ни славы».

Признаться, мы ожидали совсем другого. Я, например, думала, что тон будет более уступчивый, будет дипломатия, туманные обещания, а оказалось сплошное безрассудство, и притом такой вызывающий конец! Одним словом, сделано все, чтобы «их» безумно взбесить. Мы молчали, мама, хотя этот тон ее встревожил, знала, что говорить что-либо бесполезно. И тут Кома, раскачивая спинку стула (он стоял), проговорил спокойно и как-то задумчиво, как он часто говорил в самые ответственные минуты: «Что ж, по-моему, все это очень хорошо». Мы с Митькой тут же одобрительно загалдели. Потом предложили выкинуть упоминание о Дудинцеве, поскольку — на войне как войне — лишних людей впутывать нечего. Но Б. Л. не согласился. Кажется, была переписана первая страница. Потом письмо заклеили в конверт и повезли. Митя ждал в такси, а Кома поднялся наверх и передал письмо секретарю.

Результатом этого заседания и явилось то, к чему все были готовы, — Правление решило исключить Б. Л. из СП. Секретариат принял резолюцию: «О действиях члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя». Ну что ж, — говорили мы Б. Л., — это замечательно. Ну, можно ли

находиться в одном союзе с Кочетовым, Софроновым, Фединым, Люсичевским и тысячами подобных?

Однако была и другая сторона — и при той привязанности к привычному обиходу, о которой я уже говорила, она приобретала трагические очертания. Сейчас же после исключения встал вопрос о жилье — дача ведь была литфондовская, квартира тоже. О договорах, о деньгах — одним словом, о том самом хлебе, которым попрекал в каждой статейке каждый патриотический пенсионер. О жизни и здоровье — ведь Б. Л. было около 70. И в эти дни он, еще недавно такой красивый и молодой, постарел, лицо стало серым. Говорил, что все время болит левая рука— а ведь у него уже был один инфаркт в 1952 году.

Мы ужасно боялись за него. Не только у матери — что естественно — но и у всех, окружавших его в эти дни, возникало только одно желание — оградить, смягчить удары. Своими словами пересказывали содержание газет — письма «культурных» геологов, пенсионеров, дежурных ударников. Мы старались заразить его своим, не совсем, правда, искренним легкомысленным отношением к кампании — и Б. Л. откликался на это. Помню, как он в восторге пересказывал услышанный кем-то в метро разговор: одна баба говорит другой — «Что ты на меня кричишь, что я тебе, живага какая-нибудь, что ли?» Один раз я решила осторожно коснуться больной темы — депортации: «А почему бы и не уехать?» Это было в самом конце октября, когда мы с Комой, предварительно наметив, о чем говорить, поехали вечером в Переделкино на очередное дежурство. Б. Л. неожиданно поддержал: «Может быть, может быть, а вас потом через Неру».

Однако, несмотря на удивительную способность отключаться, забывать о неприятностях и жить настоящим, Б. Л. мучительно страдал от травли. А травля была самая настоящая — недаром он написал как раз в эти дни:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет.
А за мною — шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Одна сцена, разыгравшаяся вечером в переделкинской конторе, до сих пор не идет у меня из головы.

Как я уже рассказывала, режим дня, тщательно соблюдаемый, стал для Б. Л. почти что ритуалом. По ритуалу полагалось перед сном, часов в девять, звонить из переделкинской конторы в город. Заранее составлялся список обзваниваемых, рядом с именем

указывалась цель звонка. Цели бывали самые разные — устные ответы на письма, распоряжения по поводу романа — кому дать и когда — переговоры с фотографами насчет количества отпечатков и т. д. Мне чаще всего звонилось по такому поводу: «Во вторник я буду в Москве, купи, пожалуйста, к этому дню сто конвертов с действительной полоской клея и без картинок, а также разных марок, особенно тех — с белками». Я была главным почтмейстером — покупала конверты и отправляла кипы заказных писем на нашем кировском почтамте, где меня уже узнавали.

И в эти дни, когда над мирным существованием — не только над жизнепорядком, но и над самой жизнью вообще — нависла столь страшная угроза, Б. Л. продолжал поддерживать видимость стабильности, основу ее — режим дня, не позволяя хаосу ворваться в быт. Он продолжал работать — как раз в эти дни начал (по предложению М. С. Живова) перевод «Марии Стюарт», ранней драмы Ю. Словацкого; старался сохранить послеобеденный сон, прогулки, «ритуальные» звонки. Но он был уже «вне закона», он был теперь обвиняемым, подследственным, приговор которому еще не произнесен, но ожидается с часу на час, и неизвестно еще, каков он будет. Поэтому эти вечерние звонки стали для него мучением — он боялся услышать настороженный или холодный голос, просто грубость, ожидая ее даже от так называемых друзей, и, сознавая, что это мучительно для него, — все-таки звонил.

Помню, мы с мамой проводили его до крыльца конторы, он вошел в обычно пустовавшее вечером помещение с листком бумаги, на котором были записаны телефоны, наверное, не такие уж и нужные. Мы ждали у крыльца. Дверь в контору осталась полуоткрытой. Был холодный октябрьский вечер, шумели переделкинские сосны, и за кладбищем перекликались электрички. Вспоминая это ощущение одиночества и тревоги, спустя два года, будучи уже в лефортовской тюрьме, я написала что-то вроде стихов:

Лишь невозможное случается.
В начале жизни помню я —
Меж соснами фонарь качается
И желтый снег у фонаря.
Крестов печальное соседство,
Шум электричек вдалеке,
И строчки, памятные с детства,
О смертном и святом столбе.
О обнаженность сердца, бьющегося

Доверчиво и высоко.
О обретенное могущество
Во всем бессилии его.
И разделенное — со всеми,
И отделившее — от всех…
О этот падающий в теми
На мир завороженный снег!
В далеком и прощальном свете,
У этой ночи на краю
Держащую меня в обете
Я вижу молодость мою.
Сквозь тьму по рельсам переходы,
Вагона темное стекло,
Все те особенные годы,
Что подняты так высоко.

Мы ждали и о чем-то переговаривались вполголоса, как вдруг услышали громкий плач, почти рыдания. Вбежали в контору, увидели, что Б. Л. не может из-за прорвавшихся рыданий продолжать разговор по телефону. Так и не справившись с собой, он положил трубку. Оказалось, что он звонил Лиле Брик, и та, как только услышала его голос, отозвалась так взволнованно и внезапно, как будто все время ждала его звонка: «Боря, дорогой мой, что же это происходит?» И понятно, что он, выдерживавший грязные оскорбления, на это встревоженное сочувствие не мог не отозваться слезами.

Настоящая трагикомедия разыгралась с хозяином «конуры» — Кузьмичом, с которым у Б. Л. вообще-то были прекрасные отношения: он нередко заходил к нему по случаю праздников, пил самогон и получал от компании и застольных бесед большое удовольствие. И вот мама, желая позабавить нас, рассказала, что слышала, как Кузьмич философствовал по поводу нобелевской премии: «Ишь, мильонщик оказался! А кто бы подумал! Сапожонки-то плохонькие, хуже моих!» Она сама не ожидала, какой эффект будут иметь ее слова. Б. Л. стремительно подхватился, ворвался на половину Кузьмича и стал ему страстно доказывать: «Какие мильоны? Я же отказался от премии! (О том, как это произошло, расскажу немного позже.) Теперь будут твердить — миллионы, миллионы, забыв, что же с этими миллионами произошло — что я от них отказался!» Он так кипятился, что Кузьмич, не желая портить отношений, закивал: «Знамо, слыхал, как же…» Однако под конец не выдержал: «Отказался… та… Это ктой-то же от денег откажется?» «Какой

развращенный, неприятный старик!» — негодовал Б. Л… Отношения с Кузьмичом были непоправимо испорчены.

* * *

Итак, «историческая справедливость восторжествовала» — Б. Л. был изгнан из «сонма пишущих» (его слова), почти изгнан, так как резолюция Правления нуждалась, оказывается, и в широком «демократическом» обсуждении, которое и состоялось. Это о нем, об этом обсуждении — стихи А. Галича: «Мы не забудем этот смех, и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку…»

Страдал ли Б. Л. от этого исключения? Страшили беды, нищета, бездомность, но пришло и чувство облегчения. Ведь писал он всего пять лет назад Асе Цветаевой в ссылку: «…я числюсь в этих организациях и из них еще не исключен, но уже около 10 лет не показывался на глаза им, ни на каких правлениях не бываю, и если бы явился, мой приход, по непривычности, показался бы демонстрацией и был ложно истолкован. По нравственной несостоятельности и внутреннему безразличию, проявленному этими полчищами пишущих за истекшие десятилетия, и с которыми они и сейчас не могут расстаться, потому что кроме этих застарелых пороков у них за душою ничего не имеется, я эту публику (не исключая и двух имен. Вами названных) людьми не считаю и с ними не имею ничего общего». (Что говорить, письмо было не по адресу — человеку, в 80 лет осуществившему свою мечту стать официальным членом этого «полчища пишущих», перешагнув для этого через маленькие нравственные неудобства.)

Но еще до широкого обсуждения московской писательской общественностью, которое было интересно лишь тем, кто и насколько поступится совестью и вымажет себя грязью перед всем светом, Б. Л. вдруг «выкинул номер», «удрал штуку», как говорили в старину.

В один из дней, уже после решения Секретариата об исключении, Б. Л. неожиданно, без звонка, появился в Потаповском. Мы не ждали его, думали, что после такого тяжелого вчерашнего дня он отсидится дома. Вид у Б. Л. был и лукавый, и смущенный. Он спросил нас, что бы мы сказали, если бы он сейчас, именно сейчас, когда от него этого уже не ждут, отказался бы от премии. Я хочу особенно подчеркнуть, что для нас, собравшихся случайно в этот день в Потаповском — мы были втроем: мама, Ариадна Эфрон и я — это было полной

неожиданностью. Мы с мамой просто оторопели. Нам казалось, что власть уже отреагировала на отличие, и факт получения не так уж теперь и важен. Кроме того, муссировались слухи, что ради «соблюдения лица» Б. Л. разрешат выехать за границу для получения премии. И неужели теперь, когда за это отличие пролито уже столько крови, отказываться от него? В тщеславных своих мечтах мы уже рисовали себе Б. Л., произносящего речь перед королем, и, может быть, где-нибудь в зале — лица близких. Ведь в сумятице тех дней минуты отчаянья сменялись самыми легкомысленными надеждами. Надо учесть и легкий, жизнерадостный характер мамы, ту самую «облагораживающую беззаботность» Лары в романе, которую так любил в ней Б. Л.

И тут Б. Л. выложил нам, словно долго скрываемые козыри, что он только что с телеграфа, где полчаса назад отправил телеграмму об отказе от премии в Стокгольм. Мама очень огорчилась. Я тоже расстроилась.

В этот день, как и почти в каждый трудный для нас день, с нами была Аля Эфрон. Приткнувшись в углу красного дивана — ее обычное место, — она с утра сидела с бесконечным вязаньем под бесконечные звонки, деля с нами горести Нобелевского отличия. Она подошла к Б. Л., поцеловала его и сказала: «Вот и молодец, Боря, вот и молодец». Не знаю, насколько она разделяла это решение. Впрочем, оно вполне укладывалось в ее «патриотическую» схему.

Текст отказа был тут же передан по радио и широко распубликован.

Кажется, именно 31 октября на Общем собрании писателей г. Москвы и родилась идея: «Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?» (Выступление С. С. Смирнова.) Собрание обратилось к правительству с просьбой лишить предателя Б. Пастернака советского гражданства.

В начале собрания было зачитано письмо Б. Л„после чего пошли выступления. Особенно рьяно пытались отмежеваться от Иуды «интеллигенты», такие, как К. Зелинский, например. Этот бывший конструктивист заявил, что произнести сейчас имя Пастернака все равно что издать неприличный звук в обществе. Корнелий Люцианович был руководителем семинара критиков в Литературном институте, который я посещала. Как ни одиозно было его преподавание, такого выступления от своего руководителя я не ожидала — в нем был все же известный польский лоск, следы былой эрудиции и рафинированности. Кроме того, в 1957 году он лежал в больнице в Узком одновременно с Б. Л., и они даже — на почве общих анализов — как бы приятельствовали. И тут! И «нож в спину», и «Иуда», и

«замаскировавшаяся и дурно пахнущая мерзость», и «извилистый враг», и трогательные сетования на «слишком снисходительную воспитательную работу среди писателей»! Это среди 75-летнего Корнелия Полуциановича (как дразнили его в институте) воспитательная работа! Досталось рикошетом и Коме Иванову. Злопамятность Корнелия поразительна — он призвал развенчать «лжеакадемика» Иванова, не подавшего ему руки из-за газетной статьи о Пастернаке.

Как после этого могла я вернуться в институт, ходить на этот семинар, слушать наставления Зелинского? Уже в ноябре мне пришлось просить о переводе на другое отделение, на самое «нейтральное» — переводческое. У нас было две переводческие группы — литовская и таджикская, и В. Россельс, заведующий, пожалел меня, — все поняв, перевел в «таджики».

Сейчас стенограмма собрания опубликована. Она, как справедливо указано в предисловии к ней, не нуждается в комментариях. Не знаю, царила ли на этом собрании скука, как в песне Александра Аркадьевича? Может быть, кое-кто и скучал, но было много и живой злобы.

Некоторые выступления оказались для нас неожиданностью. Слуцкого, Мартынова, например. Говорят, что Слуцкому поставили ультиматум — либо выступление, либо партийный билет на стол. Чем пригрозили беспартийным? Один знакомый — не член Союза писателей, специально проникший на это собрание и составивший краткую стенограмму выступлений, говорил, что особенно тяжелое впечатление произвел Сергей Сергеевич Смирнов, председатель, именно своей искренностью. Это не изолгавшийся циник, как Зелинский, не явный (в этом случае) лицемер, как Слуцкий, не ортодоксальная патриотка, как Николаева, а искренний советский патриот, то есть человек в известном смысле как бы «кастрированный», для которого публикация своего произведения в другой стране мира может быть только изменой.

В эти дни Б. Л. писал в одном из своих писем в ЦК: «…И Толстой, и Горький публиковались за границей, и ничего, дома стоят, не рухнули». Для Смирнова же именно рухнул дом.

Увы, многолетняя пропаганда всеми силами искусства «границы на замке» давала свои скорбные плоды. И честные люди, робко-порядочные, стыдились мысли, что Б. Л. «передал рукопись». Им было важно уяснить себе, как обстояло дело с романом на самом деле, не врет ли, как всегда, наша пресса, а может, он вовсе и не передавал романа? По-моему, именно так был настроен Твардовский — еще в 1957 году во время бесконечных переговоров об издании романа маму пригласили

(вместе с редактором Гослитиздата Старостиным) на заседание Секретариата СП, где Фепин, Марков и Воронков кричали о совершившейся измене, а Твардовский просил: «Расскажите же, как было дело. Дайте же человеку сказать. Неужели все было именно так?»

Московское собрание не только подтвердило решение Секретариата об исключении, но и поставило вопрос по-новому — о лишении советского гражданства, то есть о высылке из страны. На другое утро мы развернули газеты:

«Единодушие» — под такой шапкой шли отчеты о прошедших по всей стране писательских (пока еще только писательских!) собраниях. Страницы не хватит, чтобы перечислить те города и веси, где поминали в тот день ранее неизвестного им Пастернака, гце не хотели <<дышать с ним одним воздухом», «говорить на одном языке», «попасть в общую с ним перепись населения». «И никакая не свеча — горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро». И ни один не решился проголосовать против. А не сажали ведь!

Теперь для кампании была зеленая улица. Надо было ждать самых суровых мер. Со страхом передавали мы друг другу, что не сегодня-завтра будет дан сигнал перенести митинги одобрения на заводы и предприятия, и уж «справедливый народный гнев» не пощадит изменника. «Но ведь сейчас другие времена, другие времена, другие времена…» — как заклинание твердили мы друг другу. В Переделкинскую контору звонили из Стокгольма и из Нью-Йорка, корреспондент «Юнайтед Пресс» Г. Шапиро в пухлой телеграмме просил встречи, писали домохозяйки из Франкфурта и Мичигана, мой французский друг Жорж Нива прислал открытку: «С каким ужасом открываю каждый день газеты… И стихотворение «Гамлет» вернее сейчас, чем когда-нибудь». О том, кто и как писал из-за границы советскому правительству, известно. Но мы не знали, что происходит там, «наверху».

В один из этих дней мама вернулась из Переделкина совершенно не похожая на себя, старая, страшная, зареванная. Она просто вползла в квартиру, цепляясь за стены, растрепанная, с криком, что никогда никому этого не простит и не забудет, что «классик» страшно плакал, не мог идти домой, что они с ним никак не могли расстаться там, на дороге, чуть ли не лежали в канаве и что решили умереть. Мы с братом бросились к ней — она была в грязи и так, прямо в пальто, упала на диван, не переставая рыдать.

В эту минуту позвонил Д. Поликарпов, который тогда занимался идеологической работой в ЦК. Мама уже познакомилась с ним во время переговоров об издании романа, и

теперь он обращался к ней, как к посреднику, либо сам, либо через юриста инюрколлегаи Г. Хесина, роль которого вообще весьма загадочна. Поликарпов требовал, чтобы мама немедленно приехала в ЦК…

Скоро она вернулась — в больших голубых глазах ее уже не было ни недавнего страдания, ни даже страха — только пустота. Так умеют заморочить лишь «наверху». Почти как автомат повторяла она нам, что «на всех нас идет танк, понимаете вы или нет? Никаких красивых слов быть уже не может!» Настроение «наверху» самое мрачное.

В этот вечер у нас был Кома. Мама выпалила нам все эти ужасные новости, чувствуя в нас смутное сопротивление своему желанию спасти жизнь любой ценой, и в ответ на слова Комы, что «не нужно самому становиться частью этого танка», закричала в отчаянии, что сделает все, даже это, чтобы спасти Борю.

Мы с Комой ушли на Чистые пруды, где еще несколько месяцев назад я беззаботно каталась на лодке, а семь лет назад — бежала через сугробы к сидевшему на скамейке Б. Л„вернувшемуся после инфаркта, после встречи со смертью, чтобы сейчас опять стать на ее пороге… Мы долго бродили вокруг пруда, холодного, зловещего… Сорванные ветром листья хрустели под ногами… Итак, наступила пора расплатиться за свой образ мыслей. Договаривались, что именно будем говорить на следствии. Помню, Кома сказал, что для него очень хорошо, что все это случилось (уже случилось!) именно сейчас, когда он еще молод. Ему тогда было 29 лет.

Пока мы хрустели листьями и элегически прощались с прошлым, бедная мама металась в поисках выхода. Поздно вечером она — в который уже раз за этот день! — руководимая лишь интуицией, сделала замечательный стратегический шаг. Она вернулась в Переделкино и пошла на дачу к Федину. У меня до сих пор сжимается сердце, когда я представляю ее, такую измученную, отчаявшуюся, ужасно подурневшую, старую, ночью бредущую по Переделкину (наверное, ей казалось, что это все в последний раз) и стучащую в дверь к этому советскому вельможе, чванливому, брюзгливому старцу. Наконец ей открыли. (У Федина бессонница.) Она была знакома с Фединым по работе в «Новом мире», знал он и о ее роли в жизни Б. Л., а пути их скрестились во время переговоров об издании романа «Доктор Живаго» в СССР в 1956–1957 гг., в которых он как председатель Союза писателей принимал участие.

Однако, несмотря на знакомство, Федин не пустил ее дальше порога, всем видом давая понять, что она пария. Но матери это было безразлично. После просьб помочь, вмешаться, спасти, она

прорыдала то, что стало решающим, — что они с Б. Л. решили покончить с собой, что все для этого у них готово (это было правдой).

Ушла мама как будто ни с чем. Однако она почувствовала, что этот сигнал не останется без ответа. И оказалась права. Что же касается действительной решимости покончить с собой, то это была, конечно, минута, Б. Л. ухватился за такую возможность как за выход, за один из выходов, он не мог жить в сознании безвыходности. Правда, эта мысль упорно занимала его и тогда, когда, как нам казалось, все шло уже на лад. Когда было уже отправлено знаменитое письмо Хрущеву.

Это было через пару дней. Мы с Комой поехали в Переделкино — объявить об уже происшедших благоприятных сдвигах — я рассказала, что отнесла письмо в ЦК, он подтвердил: «Да-да, Анна Никоновна слышала, уже передавали по телевидению». И одет был Б. Л. по-домашнему, и лицо не серое, что мы радостно отметили. Он пошел звонить в Москву матери из конторы, а мы стояли у крыльца. Через открытую дверь я услышала, как он говорит: «Да, вот приехала Ирочка с Комой». И потом, стараясь зашифровать разговор, стал спрашивать, достала ли мама «химию». Я, конечно, знала его манеру наивно шифровать подобные вещи и догадалась, что «химия» — это какие-нибудь таблетки (нембутал), которые мать припрятала уже на крайний случай, это она и имела в виду, когда говорила с Фединым.

Мы с Комой переглянулись. Сердце опять оборвалось — значит, все-таки сдаться, «они» победили? Значит, то чудо человеческого противостояния безразличному всесильному маховику, свидетелями которого были мы в эти дни, обернется смертью? Значит — победила пирамида?

Мы с Комой брели на станцию. Тьма. Лишь над кассой горит зловещий желтый глазок. Спотыкаемся о шпалы. Мутное окно электрички; съежившись, садимся на скамейку. «Я знаю, что столб, у которого я стану, будет гранью…» — читает Кома, чтобы вдохнуть в меня надежду. Но я плачу. Я не хочу столба. Я хочу, чтобы Б. Л. были жив.

* * *

Стратегический ход матери оказался верен. За жизнь Б. Л. «они» тогда боялись, и когда он стал жаловаться, что боль в левой руке и лопатке, сначала небольшая, усиливается и делается временами невыносимой, для постоянного наблюдения за ним на

дачу был командирован врач. Не знаю, действительно ли это был литфондовский доктор, может быть, просто необходимый внутренний наблюдатель? Во всяком случае давление мерилось Б. Л. два раза в день. Доктор этот жил на даче, сводки о здоровье Б. Л. передавались «наверх», и поэтому заявление матери могло их испугать.

Но как затормозить неповоротливую пропагандистскую машину, притушить «народный гнев», выработать компромисс? Это оказалось не так просто. Чтобы остановить запущенный маховик, пришлось прибегнуть к сложной многоступенчатой передаче.

На другой день после того акта отчаянья, который привел маму на дачу к Федину, ей позвонил молодой человек из Всесоюзного общества охраны авторских прав. Он был помощником юриста Г. А. Хесина, через которого почему-то осуществлялась связь с ЦК. У Хесина мама была накануне, он был резок, от содействия отмежевался. И вдруг — как бы частный звонок. Этот интеллигентный молодой человек («Он обожает Борю», — говорила мама) передал ей якобы свой сугубо личный совет — в ответ на выступление Семичастного и газетную кампанию написать письмо в правительство — не покаянное, конечно, но ставящее некоторые точки над i, — в частности, по вопросу об отъезде за границу. Все это Изя подал как свое личное мнение, но мама была уже достаточно искушена, чтобы понять, что это может быть и «сигналом», на который следует отозваться.

Так родилось наше «общее» письмо Хрущеву. Я пишу «общее» с чистой совестью — из его шести предложений три определенно принадлежат нам. Мы — это мама. Кома Иванов, Ариадна Сергеевна Эфрон, я и моя подруга Инна Малинкович, «лившая, — по суровому замечанию Али, — весь вечер жестокие слезы».

Была, как всегда, и наша Полина Егоровна, домашняя работница, а в сущности, давно уже родной и любимый член семьи. Ее уже нет на свете, а передо мной ее фото — до мельчайшей морщинки знакомое лицо, повязана цветастым платком. Она сидит на последнем стуле, охраняя уже конфискованную квартиру. Савельич, Фирс. Выносили мебель, вытаскивали из-под нее стулья, а она все не верила, что «господа в Париже и вишневый сад давно продан». Все пряники и шишки делила она с нами. Сурова, упряма, обидчива по пустякам, но предана всей душой — нам, и Борису Леонидычу, как она говорила. Всегда старалась накормить повкуснее, хотя и не была большим кулинаром — шлепнет на стол пирог — «Вот, не знаю, что получилось, сами пробуйте!» Б. Л. пробовал, всегда одобрял и говорил часто, что он — вот так же — напишет, и, нате, пробуйте,

не знаю, что получилось. После нашего ареста на нее упали все заботы — посылки, квартира, уход за братом. Вот они, длинные списки передач и Лефортово, написанные ее каракулями, и записки нам, уже в лагерь: «Кагебешки (так называла она кагебешников) подмогнули с квартирой»… А на суде и на следствии (она тоже была нашим свидетелем) с таким достоинством держалась, отвечала спокойно, не ушла из зала, как ни выставляли, пока нас не перецеловала.

В тот вечер, когда сидели мы за круглым столом, сочиняя письмо, подсовывала чай, котлеты и с собой нам что-то сунула, когда мы с Комой одевались в коридоре, чтобы ехать в Переделкино с начерно написанным письмом: «Это Борису Леонидычу, в дорогу, может, повезут его куда».

Итак, 31 октября (или 1 ноября, сейчас точно не помню) мы сидели в нашей квартире в Потаповском, перед Комой — чистый лист бумаги, на который никак не хотели ложиться слова.

Аля курила, не переставая, смеялась над нашим оптимизмом, не верила, что письмо это может хоть чем-то помочь. Прошло всего четыре года, как она вернулась из своего Туруханска, где провела семь лет, а до этого — восемь в лагерях, — понятно, чего ожидала она от нынешней кампании. Ариадна Сергеевна была среди нас самой «правой» — считала, что нужно молить о жизни, написав что угодно. Мать была «центром», мы, конечно, «левые». Но вес мы сходились на том, что написать нужно так, чтобы Б. Л. подписал.

Мучительно рождалась первая фраза. Решили — скупо, кратко, основная мысль — отъезд невозможен. Кома то брался за карандаш, то снова его откладывал. Наконец пришло в голову процитировать Семичастного. Так и начали: «Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что…» — далее цитата. Потом — краткое возражение, мотивированное связанностью со страной. Всего несколько строк.

Перепечатали текст на машинке и немедленно повезли в Переделкино под аккомпанемент веселой лагерной песни «Встретимся в Сибири…», которую весь вечер напевала Аля.

Но в Сибири встретились лишь мы с матерью — вернее, не в Сибири, а на пути к ней — в заквагоне поезда Москва — Свердловск, доставившего нас после полуторамесячного кошмара пересылок в Тайшет. Но это уже после смерти Б. Л., когда перестала действовать его «охранная грамота», распространявшаяся и на нас. А из той переделки все мы вышли живыми и невредимыми.

Сколько лет прошло с того вечера, столько уже появлялось в «Правдах» и «Известиях» покаянных и полупокаянных, достойных

и малодостойных писем наших гонимых литераторов, что уже стало возможным говорить о стиле этого нового литературного жанра. О страшных вымученных покаяниях сталинских лет вспоминать не будем. «Наше» письмо Б. Л. Хрущеву — первое достойное письмо в правительство уже нового времени. И даже сейчас я ничуть не стыжусь его. Он в нем ни в чем не покривил душой. (Даже «СССР» там нет, а «Россия» — о чем он просил маму: «Напиши, пожалуйста, что я родился в России, а не в СССР», что и было выполнено.) И недаром после опубликования его в «Правде» Б. Л. получил столько писем: «Спасибо за то, что остались с нами». И я не понимаю, почему это письмо так возмутило учительствовавшего тогда в Рязани Солженицына, да и почему мама в своей книге всячески отмежевывается от него, объясняя все своей запуганностью и хитростью ловкого провокатора. И каким неожиданно простым, человеческим и достойным ответом на исступленную брань газет явилось оно! И каким бесстрашным!

А о том, какова была эта брань, — забыть нельзя!.. «Что за оказия? Газеты пишут про какого-то Пастернака, будто бы есть такой писатель», «Допустим, лягушка недовольна, и она квакает, и мне, строителю, слушать ее некогда, мы делом заняты», «Как смеет эта озлобленная шавка лаять на святая святых советского народа?», «Лицо циника, предателя, неспроста давний Бухаринский панегирик в его адрес», «Пусть растекается этот предатель от злости лужей желчи, пусть лакают из нее господа капиталисты». Редакция сетовала: «Жаль, что нет возможности не только привести все эти страстные горячие письма, но даже перечислить все имена авторов». Действительно, жаль! «Мы поименно вспомним всех…»

И вдруг поверх всей этой мерзости — летящие журавли его строчек: «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее».

Уже поздно, темно, но мы решаем везти письмо в Переделкино тотчас же. Едем вдвоем — я и Кома. Минское шоссе, знакомый поворот у Баковки, мост, пруд. Я не решаюсь идти на дачу Б. Л. Остаюсь у Ивановых, к Б. Л. — они соседи — вдет один Кома. Я — из «другого общества», из мира «незаконных» жен и детей, сижу, не снимая пальто, на соломенном диванчике. Но Ивановы перешагивают «порог» — встревоженно расспрашивают меня, угощают чаем, круглое доброе лицо Всеволода Вячеславовича печально, он смотрит на меня с беспокойством: «Что за письмо? Есть ли надежда, что оставят в покое? Что дадут жить?» Наверное, Кома рассказал обо мне, да и преувеличил кое-что, поскольку в их взглядах ловлю симпатию — «Ирочка-

героика», как называл меня один наш немецкий друг.

Очень скоро возвращается Кома. Он принес не только «наше» письмо, но и несколько листов чистой бумаги, которые Б. Л. подписал заранее, чтобы мы перепечатали на одном из них текст, который он чуть-чуть подправил: всего два предложения. И эта правка сразу выдает его. «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее», — написал Б. Л. поверх нашей фразы, которую сейчас уже не помню, и текст зазвучал как стихи, пронзительно, по-пастернаковски:

«Уважаемый Никита Сергеевич!

Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому правительству. Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не применять ко мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.

Б. Пастернак».

Мы спешно вернулись в Москву, тут же перепечатали письмо, и сразу же, не теряя ни минуты, я отправилась (почти бегом) прямо на Старую площадь. Было уже часов десять вечера. Я знала, что в ЦК существует некое окно для приема жалоб от граждан — какова демократия! Но в каком именно подъезде и возможно ли попасть туда в столь поздний час?

Старая площадь, на которой расположен ЦК, совсем близко от нашего Потаповского, дошла я туда минут за десять. Сунулась в один освещенный подъезд — мне сказали, что жалобы принимают во втором. В полутемном холле торжественно и тихо, призывно и уютно светится окошечко, около которого — ни одного человека. Я подошла и сказала высунувшемуся из окна дежурному, что хочу передать письмо товарищу Хрущеву. Он спросил: «От кого?» И когда я ответила: «От Пастернака», — письмо моментально взяли, и дежурный, и охранник посмотрели на меня с любопытством. Уж очень странно прозвучала эта крамольная фамилия среди коврового и гардинного партийного

благолепия.

На следующий день Б. Л. потребовали в ЦК на высокие переговоры. Вызов осуществлялся так же очень сложно: к нашему дому в Потаповском подкатили две машины, одна из которых, черная «Волга» с задернутыми занавесками, не вызывала сомнений в своем происхождении. В другой, «штатской», машине сидел Г. А. Хесин. Он сообщил матери, что Б. Л. ждут в ЦК, что за ним посылается вот эта черная «Волга», но нужно подготовить его, поэтому будет лучше, если она сама вызовет его с дачи.

По известным причинам мама на дачу вхожа не была, поэтому решили послать меня — уж такова была моя роль во всей этой истории — «мальчик на посылках». Я должна была приехать первой, за мной следом — мама с Г. Хесиным, за ними — «Волга». Но я решила обязательно разыскать Кому и посоветоваться — мы так сроднились за эти сумасшедшие дни, и без его благословения я боялась брать на себя так много: а вдруг — капкан? Не ЦК, а ЧК? И так, своими руками, его передать на Лубянку? Кому я не нашла и все же решилась ехать — интуиция, в те дни необычайно обострившаяся, подсказывала, что — можно, не страшно, «они» поджимают хвост.

Когда я на такси подкатила к воротам дачи, на поле неподалеку уже чернели две машины. Мама накинулась на меня: «Где пропадала? Скорей, скорей!»

Мансарда, где находился рабочий кабинет Б. Л., как и все эти дни, светилась всеми своими окнами. Я позвонила, дверь открыла жена С. Нейгауза — все родственники, даже дальние, дежурили в эти дни на даче. Тут же вышла испуганная Зинаида Николаевна и спросила, что передать Б. Л… Дабы не произносить крамольных имен, я воспользовалась своей безвестностью:

«Передайте, пожалуйста, что его хочет видеть Емельянова». Она пошла наверх, откуда очень скоро спустился Б. Л., уже в пальто — он был бодр и оживлен, видимо, все сразу понял, ничуть не боялся (это «они» судили по себе и поэтому хлопотали, чтоб его «подготовили»). Я, мама, Б. Л. сели в черную «Волгу» и покатили в сопровождении почетного эскорта в Москву.

С большим удовольствием вспоминаю я эту нашу отчаянную поездку. Б. Л. был в ударе. Несмотря на мамины предостережения — она указывала на шофера и шипела: «Боря, тише, это же пшик!» — говорилось обо всем. У Б. Л. вообще было поразительно развито чувство игры, которое, может быть, и служило ему броней при страшной уязвимости. И сейчас, когда шла такая крупная, такая отчаянная игра, его просто «несло» на волнах актерского самозабвения; предстоящее объяснение в ЦК ожидалось им как одна из кульминаций разыгравшейся в те дни

драмы, и он стал репетировать уже по дороге. «Прежде всего я им скажу, что меня застали на прогулке, поэтому такие неглаженые брюки, дачные, и куртка. Скажу, что не успел переодеться». И в ответ на протестующие наши вопли, что об этом никто спрашивать не будет: «Нет, а я все-таки скажу. Скажу, что не спал, поэтому такой плохой вид. А то ведь могут сказать — боже, это из-за такой рожи шум на весь мир!» Мы истерически хохотали, но знали, что он обязательно скажет все, что задумал.

Решили сначала заехать в Потаповский, чтобы и мама не ударила лицом в грязь и смогла переодеться (ведь мы были убеждены, что встретимся с самим Хрущевым), а главное, чтобы захватить побольше лекарств. Б. Л. очень внимательно отнесся к костюму матери и к ее макияжу, уговаривая «не наводиться, ибо Бог и так ее не обидел». Все было готово: актеры разодеты, взяты огромный пузырь с валерьянкой, валокордин и даже бутылочка с водой. Я должна была оказывать первую медицинскую помощь в случае конфликта.

При входе во второй, уже знакомый мне подъезд нас остановил дежурный, и Б. Л. изумительно сыграл все, что подготовил по дороге. У него попросили документы, удостоверяющие личность. Он похлопал себя по карманам и прогудел, что его захватили на прогулке, на нем летние дачные брюки, в которых нет карманов, а в пиджаке нет ничего, кроме писательского билета «вашего союза, из которого вы меня только что вычистили». Оторопевший дежурный пробормотал, что можно и с ним, «ничего, у нас можно, все можно».

Я с восторгом следила за этим представлением, готовясь и к зрелищу более важному, как вдруг — увы! — дежурный обратил на меня внимание: «А это кто? На нее нет пропуска». Б. Л. стал объяснять, что это — «девочка с лекарствами», что ее присутствие очень важно. Но ничего не помогло. Договорились, что я подожду внизу, а он, как только поднимется к Поликарпову, сразу же испросит для меня пропуск. Я села с пузырьками и бутылками на единственный стул у входа. Дежурный, глядя на поднимающегося вверх по лестнице Б. Л., спросил: «Это папаша ваш?» Возможно ли было в такую минуту отказываться и что-то объяснять? Я кивнула.

Увы, Поликарпов выдать мне пропуск отказался. Так что все последующее известно мне лишь по рассказам матери и Б. Л. Как и договорились, он первым делом попросил: «Пропустите девочку, она сидит внизу с лекарствами», на что Поликарпов сердито ответил: «И пусть сидит, она и так слишком много видит, чего не нужно». Вот здесь-то Б. Л. и произнес те самые слова (якобы некстати, а на самом деле, наверное, продуманные заранее), воскликнул, всматриваясь в обросшее за эти дни серое

лицо Поликарпова, в его покрасневшие глаза: «Ай-ай-ай, Дмитрий Алексеевич, что же это вы так плохо выглядите, что с вами?» Поликарпов его опять сердито оборвал и перешел в атаку: «Вы оказались настоящим двурушником!» (Видимо, он имел в виду, что роман все-таки вышел, хотя Б. Л. и проявлял видимость недовольства и готовность остановить его публикацию в 1957 году.)

— Да-да, вы совершенно правильно сказали, я именно двурушник, это очень верно!

— Вы исподтишка воткнули нож в спину родины и своего народа, который…

Б. Л. вскочил и в страшном раздражении ударил кулаком по столу: «Как привыкли вы вынимать народ из кармана штанов по любому поводу и тыкать им!» Он устремился к двери, но Поликарпов обратился к матери: «Задержите, задержите его!» Б. Л. удачно замешкался, так что мама вполне успела броситься за ним: «Боря, обожди…» Она сделала вид, что изо всей силы тащит его назад, Б. Л. упирался в действительном раздражении, но все-таки не настолько, чтобы не быть дотащенным до кресла.

— Не будем горячиться, — сказал Поликарпов и вдруг встал: «Никита Сергеевич прочел ваше письмо. Правительство решило пойти вам навстречу в вашем желании остаться в стране».

Вот, собственно, и все. Кроме того, Поликарпов сказал, что он не имеет никакого влияния на прессу и не в силах остановить газетную кампанию, которая будет продолжаться, что Б. Л. должен будет успокоиться после пережитого, обдумать все и написать пространное объяснение в «Правду». Об отказе от премии речи не было. Главное, на чем настаивали, — на прекращении личных контактов с иностранцами. Б. Л. должен был сам, ни на кого не ссылаясь, отказывать в приеме приезжающим в Переделкино корреспондентам, что он и исполнял некоторое время, вывешивая на двери дачи записку на трех языках: «Прошу меня извинить…» и т. д. В ответ Б. Л. потребовал немедленного разрешения получать письма, как было до этих дней, пока вдруг на поступающую к нему со всего света корреспонденцию был наложен арест. На другой день почтальонша принесла ему целую сумку писем, накопившихся за несколько дней ареста.

Что и говорить, соглашение это выполнялось весьма приблизительно! Домой корреспонденты не ходили, но всегда можно было встретиться и поговорить во время прогулок, ведь часы их были столь определенны. Б. Л. умудрился даже отдать кому-то стихи, написанные по горячим следам событий, — «Нобелевская премия». Во время такой прогулки он и снят каким-

то шведом у мостика — веселый, молодой, и это после всех потрясений! Мама, глядя на этот снимок, говорила: «Как с гуся вода!»

Увидев возбужденные лица спускающихся по лестнице мамы и Б. Л., я поняла, что, видимо, все прошло, как надо, гроза миновала и возвращается привычная и такая дорогая всем нам жизнь. Обратная дорога в Переделкино, весь такой знакомый путь, а за эти дни выученный наизусть, до последнего пня, воспринималась как подлинная дорога домой, к себе, подальше от всяких высоких кабинетов и вождей. Была и разрядка. Не помню, по какому поводу мама или я прочитала стихи, те, что так часто вспоминались в эти дни:

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать н каяться,
Другим — кончать Голгофой.

И вдруг Б. Л. расплакался и повторил несколько раз, как бы про себя: «Как верно, как хорошо…»

Машина подъехала к воротам дачи, Б. Л. пошел к себе, а нам предстояло возвращаться в Москву. И тут зловещая «Волга» с занавесками сделала неудачный разворот и накрепко застряла в неглубоком болотце около речки. Проклиная псковского шофера, мы некоторое время с озлоблением наблюдали, как он мучается со своими домкратами, но не выдержали и стали ему помогать. Мы пыхтели, надрывались, шофер кричал на нас, когда мы налегали не на тот бок, мы — на него… Дело кончилось тем, что мне пришлось бежать на дачу звать на помощь. Был уже двенадцатый час ночи. Всполошенные обитатели, жившие эти дни ожиданием ареста, высылки, долго не могли взять в толк, что речь идет о таком мирном деле, как вытаскивание застрявшей машины. На помощь к нам пришли Леня и Татьяна Матвеевна, домработница Б. Л., человек по-своему замечательный. Провозившись около часа, мы вытащили-таки проклятую машину, и, обдав грязью махавшую нам на прощанье рукой Татьяну Матвеевну, двинулись в Москву.

* * *

Кто-то из близких друзей, знавших Б. Л. много лет, когда нобелевские страсти пошли на убыль, высказал опасение, что ему будет очень трудно вернуться к однообразию прежней жизни. Эти

напряженные десять дней были так полны событий, что возврат к переделкинским прогулкам и ежевечерним звонкам будет, мол, невозможен. Но как глубоко ошибались те, кто так думал!

Просто как щука, брошенная в реку, нырнул он в свой боготворимый быт, в свой привычный обиход. И этот последний год, освещенный и его мировой славой, и трагизмом пережитого, и драгоценностью вновь обретенного равновесия, останется в его жизни как совершенно особый и, — можно сказать, не боясь впасть в пафос — счастливый. Б. Л. с радостью бросился в объятья, открывшиеся ему во всем мире. Так же как раньше, когда о чем бы ни заговорили, он все сводил к роману, теперь он большей частью говорил о письмах, о своих корреспондентах, о том, что будет писать в ответ, приносил всевозможные трогательные почтовые подарки — свечки, старинные открытки, горшочки. Моя роль как почтмейстера очень усложнилась. В неделю мне приходилось отправлять по 15–20 писем и постоянно пополнять запасы марок и конвертов.

Через Гаритано мы узнали, что Б. Л. стал обладателем крупной суммы и может ей распоряжаться. Б. Л. это очень радовало. Он с удовольствием стал делать распоряжения. Мы рыдали над письмом кукольника из Кельна, который жаловался, что никто не ходит смотреть кукол, которые расклеиваются и пылятся, что молодежь интересует только джаз, а народная традиция бродячих немецких артистов хиреет и чахнет. Б. Л. всплакнул, рассказывая нам об этом, — наверное, он сейчас же нарисовал себе какого-нибудь благородного папу Карло с шарманкой. При нашей горячей поддержке решено было послать кукольнику кругленькую сумму на ремонт балагана. Все те же Гаритано отправили распорядительное письмо на этот счет Фельтринелли.

Такое случалось не один раз, возможно, была тут и хитрость, корысть, и обман — но Б. Л. не задумывался над этим. Он вообще не любил никаких разоблачений, не хотел знать, что на самом деле движет человеком, он так легко довольствовался видимостью, что иногда это выглядело довольно наивно. Но отнюдь не было наивностью. Он как бы не хотел тратить время на разоблачения и на «срывание масок». Быть может, это шло от уважения к окружающим — он доверял их доброй воле и уважал созданную форму. Быть может, от безразличия и того, что принято называть эгоизмом?

Но этот взгляд «поверх» уживался с пронзительной точностью попадания, о которой я уже писала — видимо, тогда, когда переживание было и «его». Как пример удивительной чуткости помню его энергичную защиту меня перед матерью, которая

хотела нарядить меня для какого-то очень ответственного приема по своему вкусу. Я же, несмотря на жару, надела вязаный костюм, который, как я полагала, очень мне шел и, главное, скрывал то, чего я в себе не любила. «Оставь ее, Олюша! — говорил Б. Л. — Она так задумала, разве ты не видишь, что она так задумала». Ему и самому, наверное, хотелось видеть меня более элегантной, однако внутренний ход, приведший меня к нелепой одежде в жаркий день, был ему понятен. Так же смешалось это понимание и отстраненье, когда он принял участие в моей маленькой драме, разыгравшейся в те же нобелевские дни, но продолжавшейся, увы, непомерно долго.

Речь идет, разумеется, о неудачной любви.

На Б. Л., пережившего разрыв и написавшего «Разрыв», смотрела я умоляющими глазами и ждала целительного совета. Он меня страшно жалел. Однако на «последние» мои вопросы — что делать, как жить, почему и за что, отвечал отнюдь не в духе «Разрыва», а скорее классическими советами Толстого-Левина: «Начни что-нибудь писать, в крайнем случае, постирай что-нибудь». Он говорил, что очень хорошо понимает меня, что когда-то сам не спал совершенно целый год, и поэтому… я должна обязательно пойти к врачу! «Какими словами мне убедить тебя, что здоровье вообще и твое в особенности не пустой звук и страшно важно мне!»

Однако я не унималась. И Б. Л. начал досадовать, что у меня нет чувства меры, что я порчу им с мамой такую интересную, так хорошо налаженную жизнь. Мать поручила ему звонить мне иногда в Москву и вразумлять: «Господи! — говорил он с неудовольствием, заслышав мой унылый голос. — Ты этому воздала такую дань! Нельзя же столько!»

Увы, у меня не было чувства меры, и в один прекрасный вечер я проглотила какое-то количество мединала, и меня отвезли в Склифосовский подвал. Мама отнеслась ко всему случившемуся очень серьезно, с предосторожностями меня привезли домой, окружающие ходили на цыпочках, боясь бестактным словом или намеком напомнить о происшедшем. Мне выделили отдельную комнату, что было очень трудно в наших условиях, давали на ночь теплое молоко и сообщали только приятные новости. Решено было также сводить меня в театр, выбрали — чего уж лучше! — «Короля Лира» в театре Моссовета, поскольку это был перевод Б. Л… Он вообще очень любил устраивать походы в театр, видимо, это осталось в нем со времен юности — любовь и трепет перед театральным занавесом. Заранее заказывал в кассе много билетов, организовывал их выкуп, «колбасился», как говорила мама.

Мы встретились с ним на театральной лестнице. После больницы, возвращения домой, я видела его впервые. Он чрезвычайно весело, как бы чем-то довольный, улыбался, в глазах блестели хитрые ликующие огоньки. — «А, — сказал он мне сразу, — а я тебя после того света и не видел еще!» Мама стала беспокойно дергать его за рукав: «Боря, Боря!» Но он не обращал на нее внимания: «Ах, дурочка, дурочка, — говорил он мне ласково и как бы мечтательно. — Надо же, что устроила!» И одобрительно улыбался. «Сейчас у тебя есть то, что в какую-то пору жизни может быть главным, — есть круг людей, среди которых ты своя. Да вот и комната теперь, мама говорила…»

Мы поспешили в зал. Я видела Б. Л. в театре впервые. Признаться, мы мало смотрели на сцену, так как постановка и игра мне вовсе не нравились. Б. Л. же был от всего в восторге. Он восхищался Мордвиновым в роли Лира, декорациями, музыкой Хачатуряна и особенно — текстом. Он слушал так, словно впервые знакомился с Шекспиром, словно первый раз был в театре.

— Ты заметила, — сказал он мне в антракте, — как это хорошо о нужном и лишнем — «сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным».

Как будто бы не он сам написал эти строки! Глядя на его лицо в свете рамповых огней, на блестевшие в глазах слезы, на стремительно меняющееся выражение по мере того, как развивалась драма, я на время забыла о своих напастях. Мы переглядывались с мамой. «Тише, Боря, — шептала она, когда он начинал громко глотать слезы, — с тобой невозможно ходить в театр, ты как маленький».

Мы были вместе в театре еще один раз — последний, зимой последнего I960 года. В Москве тогда гастролировал Гамбургский театр Грюнгенса, и Б. Л. трогательно поделил свои выходы — на «Фауста» он пошел с Зинаидой Николаевной и Леней, а на «Разбитый кувшин» — с матерью и мной. К сожалению, мое место было довольно далеко от того ряда, где сидели Б. Л. с мамой, и, не зная немецкого, я очень томилась — постановка же, предельно традиционная, также меня не занимала.

То ли в зале мало кто понимал по-немецки, то ли юмор этой весьма непритязательной комедии мало кого трогал, но смех был какой-то жидкий и неуверенный. Зато Б. Л. хохотал от души, так громко и заразительно, что было слышно даже в задних рядах. В антракте он светился от удовольствия, приглашая нас с матерью и попадавшихся знакомых разделить его восхищение остроумием пьесы и замечательной игрой. Я уже писала, что, несмотря на то что Б. Л. умел удивительно, блестяще рассказывать смешное, у

него было свое, особое и, как мне казалось, старомодное чувство комического. Так называемый «черный юмор», например, до него просто не доходил. А несмешные, на мой взгляд, падения, толчки и перебранки героев «Разбитого кувшина» приводили его в восторг.

После спектакля мы пошли за кулисы, где Б. Л. сейчас же облепили актеры, среди них Грюнгенс, — ведь это был год его всемирной славы, — просили надписать книги, программы; окруженный плотным кольцом загримированных и еще не успевших переодеться актеров, ловивших каждое его слово, он с вдохновением ораторствовал по-немецки. У нас есть целая серия фотоснимков этой сцены, напоминающих кинокадры.

Мы садились у освещенного подъезда в такси — респектабельная семья, мать — в новой, присланной уже «оттуда» нейлоновой шубе, я, провожаемая несколькими знакомыми корреспондентами, Б. Л. сияющий, раздарив автографы счастливым немцам, — и это всего спустя год после переделкинской канавы, ночного похода к Федину, оскорбительных писем. Но ощущение какой-то ирреальности происходящего, мимолетности, чувства, что судьба ошиблась, одарив нас внезапным благополучием, что это — миг, миг, вдруг остро охватило меня тогда.

Между этими двумя походами в театр прошел целый год. Накануне 1959 мы переехали в новое деревенское жилище — конура Кузьмича уже не могла удовлетворять нашим возросшим требованиям, ведь часто приезжали гости, зимой на лыжах, и запрещенные Поликарповым иностранцы. которых Б. Л. из соображений конспирации предпочитал принимать не на даче, а здесь, в деревне. Сняли большую комнату в избе, расположенной довольно неудачно — у самого шоссе, напротив местного шалмана, прозванного в народе «фадеевским», увы, давно уже срытого, исчезнувшего с лица земли. Хозяйкой дома была славная женщина Маруся, с приятным добродушным лицом, но, как уверяла мать, совершенно глухая.

Первое время Б. Л. старался выполнять слово, данное Поликарпову, и никого не принимал. Более того, когда в Москву приехала английская правительственная делегация во главе с Мак-Милланом, Б. Л. предложили (все через того же Хесина!) уехать из Москвы, так как не принять Мак-Миллана ему было нельзя и лишь своим отсутствием он мог спасти положение.

И вот весной 1959 года он уехал на десять дней вместе с Зинаидой Николаевной в Тбилиси. Мне кажется, что за все послевоенные годы это был его единственный выезд из Москвы. А уж как давно он не летал на самолете! Да и вообще — летал ли

когда-нибудь? В Париж ездил поездом, возвращался пароходом, из Грузии когда-то они с Зинаидой Николаевной тоже ехали на поезде. Наверное, неуютно чувствовал Б. Л. себя в современном самолете, и главное, сколь горькой была его встреча с городом — уже совершенно другим, чужим, с редкими друзьями и читателями. А ведь именно в Тифлисе находилась та комната, которую когда-то вместе с ее обреченными обитателями — Яшвили и Табидзе — опустил он «на дно души». Именно в Тифлисе было так много прочувствовано им — ив городе, и в себе самом. А теперь он приехал туда — не как поэт, а как родственник, гость вдовы Тициана Табидзе — Нины Александровны, жил в ее квартире, общался в основном с домочадцами, на прогулках сопровождала его дочь хозяйки.

«Очевидно, сюда дали знать писателям, как вести себя со мной, тихо, сдержанно, без банкетов, и я живу у Нины в совершенной глухоте и неизвестности, читаю Пруста, ем, сплю, хожу по городу, чтобы не засиживать ноги, ничего не делаю и изредка пишу тебе пустые и бессодержательные, ничего не говорящие записки», — писал он матери из Тбилиси.

Наверное, дело было не только в том, что «туда дали знать». Видимо, уже не осталось в живых никого из тех, кто любил и знал его в Тифлисе в 30-е годы. Невероятной грустью полны письма-записки карандашом, которые он писал матери, стоя на почте, каждый день во время своих прогулок по городу. Он называл эти десять дней «животной праздностью», мечтал об их прекращении и рвался в Москву — возвращение казалось ему «дерзкою, незаслуженной и несбыточной мечтой». Эта грусть усугублялась тяжелым осадком, оставшимся в душе после тягостных сцен при расставании.

В силу некоторых обстоятельств мама считала Н. А. Табидзе, к которой ехал Б. Л., своим явным недоброжелателем и настаивала на решительном разрыве Б. Л. с ней. Та поступила по отношению к маме, прямо скажем, не очень благородно. Она потребовала у главного редактора Гослитиздата, чтобы он выбросил из книги стихов Тициана Табидзе (составителем которой являлась Нина Александровна) уже принятые переводы мамы (надо сказать, очень талантливые). И то, что, зная об этом, Б. Л. продолжал с ней «целоваться», приводило маму в отчаянье. Их последние объяснения накануне отъезда были чрезвычайно нервными и жестокими. И вдруг мама узнает, что именно к ней, к Табидзе, этот двурушник едет на целых две недели. Произошел настоящий скандал, причем, надо сказать, мама говорила много справедливого — но можно ли было требовать от Б. Л., чтобы он стал решительно на ее сторону! Для этого ему нужно было

порвать со слишком многими, что, как он лукаво и вместе с тем очень верно писал ей, он не мог сделать «не только из-за боязни причинить страдание окружающим, но и из-за боязни неестественности. которую принесла бы с собой эта ненужная и резкая перемена».

В день отлета четы Пастернаков в Тбилиси мама уехала в Ленинград, не желая даже подходить к телефону. Б. Л. просил меня пересылать ей его письма, ноя решила, что десять дней — слишком малый срок, и она может прочитать сразу все, вернувшись. По телефону я сообщала ей о их ежедневном поступлении, что она выслушивала довольно холодно: уж очень была обижена.

Но вот вместе с последними страницами дочитываемого Б. Л. в Тбилиси Пруста кончились и эти мучительные две недели, и он вернулся в Москву. Видимо, там, во время «этого вынужденного бездействия», как он писал, и родилась у него мысль о пьесе — вернее, первоначально просто о новом большом произведении, которое Б. Л. в своих письмах оттуда еще называл «новым романом», как бы продолжением «Доктора Живаго». Вернулся он с твердым намерением работать, и, действительно, очень скоро начал писать — но только пьесу, а не роман.

Центром замысла пьесы должна была стать реформа Александра II и возникающие вокруг нее проблемы и перипетии. В работу он входил довольно трудно. Очень много времени отнимала переписка, ведь он привык отвечать на каждое письмо, а их были сотни! Б. Л. обложился книгами, справочниками по реформам 60-х годов, помню, что с книгами очень помогала Л. А. Воскресенская (в девичестве Бари), она работала в БАНе (библиотеке Академии наук), знала 14 языков. Когда-то, еще до революции, она была учительницей сестер Б. Л… Ясную голову сохранила до глубокой старости, ей было больше 80, а она ездила на работу в автобусе, «забегала» после работы к нам, приносила тяжелые сумки, полные книг. Помню толстый том И. Иванюкова «Падение крепостного права в России», которую Б. Л. особенно ценил.

Замысел расширялся, он написал довольно много, по объему целую пьесу, а главный герой, в первом варианте, кажется, Григорий, крепостной актер, учившийся в Париже, еще не появился на ее страницах.

Толчком к завязке пьесы послужила история с «головой». В пьесе — это гипсовый слепок какой-то таинственной головы (загадочно напоминавший чем-то главных героев), стоящий на шкафу в гостиной помещичьего дома и в роковой момент разбивающийся. А в жизни — это его собственная «голова» —

скульптурный портрет, который лепила З. А. Масленникова. Его постигла та же судьба, что и «голову» в пьесе. Эта «голова» была у нас предметом многих разговоров. Одно время Б. Л. даже предназначал ее мне в подарок на день рождения. Но я почему-то боялась иметь в своей крохотной комнатке его гипсовую голову — при том совершенном выражении жизни, каким являлось его лицо, видеть перед собой все время мертвую неподвижность!

И тут произошел случай, очень сильно подействовавший на Б. Л. На зиму «голову» оставили на террасе и забыли о ней. Когда же весной вошли туда, оказалось, что под воздействием изменившейся температуры этот, видимо, не совсем профессионально приготовленный гипс (или, кажется, пластилин) развалился на куски. Б. Л. увидел в том дурное предзнаменование и воспринял очень болезненно.

Вот эта самая история с «головой» и послужила той «инфернальной» деталью, от которой оттолкнулась пьеса, и пошла, надо сказать, вперед очень быстро. Видимо, Б. Л. нужен был символ, и он его нашел.

Слушая рассказы Б. Л. о будущей пьесе, мы составили себе представление о ней, которое, вероятно, не соответствовало бы действительности, успей он ее завершить. Уже по тому, что написано, видно, что она пошла совсем в другую сторону, нежели предполагалось. Предполагалась же сугубо реалистическая, даже бытовая драма в прозе, рисующая нравы пред- и пореформенной России, ту атмосферу надежд, в которой жила тогда лучшая часть общества. На этом фоне ставились вопросы свободы творческой личности. В данном случае это был актер Григорий — бывший крепостной, незаконный сын лакея и барыни, считавшийся сыном горничной — «слепой красавицы» Луши. Роль Луши, а также самое название «Слепая красавица» растолковать на основании написанного невозможно. Россия? Это было бы слишком нарочито. Возможно, в дальнейшем намечались какие-то случайные повороты судеб, те неожиданные «перекрестки», которые создают столь сказочную и поэтическую атмосферу «Доктора Живаго». Обилие второстепенных персонажей — слуг, крестьян, иностранцев — пугало. «Плоды просвещения»? «Власть тьмы»? Но разве это его стихия? Я очень боялась, что Б. Л. утонет в той ненатуральной народной речи, которую я не люблю и не принимаю в романе, что пьесу подкосит Даль, вложенный в многочисленные уста новых Палых и Гораздых, и что эта ненужная и наивная живописность поглотит поэтическое, «субстанциональное», авторское. Однако Б. Л. очень дорожил найденной формой и ко всякому неверию в ее возможности относился с раздражением.

По этому поводу мама как-то писала мне со своим обычным милым юмором: «Ой, Ирка, а «классюша» пишет пьеску, про становых и податных инспекторов. Просто беда. И про земских начальников. Ужас».

Однако пьеса продвигалась. Б. Л. начал работать с увлечением. Подбадривая себя, он часто повторял, что находится в счастливом положении, ибо освобожден от необходимости привлекать к своему новому труду внимание — успехом романа ему наверняка обеспечен горячий прием, поэтому остается одно — написать. И боролся буквально за каждую свободную минуту. «Нет, надо работать, надо работать!» — как заклинание повторял Б. Л. Видимо, чувствуя, что времени осталось немного, он страдал от своей несвободы. Именно в это время он как-то сказал мне, что только сейчас очень ясно понял, как тонка и обманчива грань между занятиями полутворческими — писанием умных писем, посещением концертов, чтением книг — и настоящим трудом. Нельзя обманывать себя, надо строго проводить границу между ними и никогда не подменять одно другим.

На наше несчастье, среди издателей и переводчиков на западе начались невероятные склоки, которые, увы, должен был разбирать Б. Л. Причем каждая «фирма» имела в Москве и, стало быть, в нашем кругу — своего представителя.

Серджио Д'Анджело, как бы «крестный отец» романа, взявший рукопись и остававшийся в наших глазах верным другом, объявил войну Фельтринелли — первому издателю, для которого он в свое время и заполучил роман. Представителями Д'Анджело продолжали оставаться Гаритано.

Предъявила свои права на издание и постоянная корреспондентка Б. Л. — Жаклин де Пруайяр, славистка, переводчица его прозы на французский — ее эмиссаром был Жорж Нива. (Помню, как огорчился Б. Л., когда узнал, что муж Жаклин адвокат, и он берется юридически «обуздать» Фельтринелли!)

И наконец, сам Фельтринелли, не желая пользоваться услугами Гаритано, прислал своего представителя, очень скоро завоевавшего наши наибольшие симпатии — немца Гейнца Шеве, корреспондента газеты «Ди Вельт».

Шеве был очень спокойный, очень мягкий, рассудительный и трогательный человек, смешной в своей аккуратности, но безгранично преданный, с тем обожанием «русской души», которое иногда встречается у немцев. К тому же Б. Л. мечтал покончить в любой форме с распрями, и позиция Шеве отвечала и его центристским настроениям.

Он не хотел обидеть и Жаклин, отношения с которой очень

ценил и переводами которой восхищался, а также «первого» — Серджио, но покой ему обеспечить могла лишь одна сильная рука, а ею был как раз Фельтринелли.

Как смешно приходил Б. Л. в отчаянье, когда представители вынимали из портфелей новые и новые проекты контрактов, каждый раз страниц по 15 убористого машинописного текста! Ведь все эти контракты, цифры, распоряжения были тогда пустым, абстрактным звуком, символом где-то там, на другом свете происходящего финансового бума. Мы и не предполагали, что они могут обернуться весьма реальной решеткой! За зиму Б. Л. подписал великое множество бумажек в надежде, что каждая из них и есть «последняя и окончательная» и теперь наконец-то его оставят в покое. Ведь не было у него адвоката, чтобы вникал в эти пункты «А» и «Б», и он подписывал часто, что называется, не глядя… Зато читали их в КГБ, и обернулись они нашим с мамой приговором — восемь лет (ей) и три года (мне!) тюрьмы. Контракты эти фигурировали в деле как доказательство преступных связей с зарубежными издательствами.

Скоро Жорж Нива стал частым гостем нашего деревенского жилища, а спустя некоторое время он поселился неподалеку, сняв угол за печкой у каких-то стариков. Вскоре мы решили пожениться. Б. Л. сначала был этим как бы несколько расстроен, но скоро привык к мысли, а потом даже полюбил ее, — что я уеду, увижу мир, любимые им страны — Германию, и особенно — Италию, куда он ездил в молодые годы и которую не мог забыть. Мое будущее укладывалось в мой «образ», и он говорил иногда, смотря на меня смеющимися глазами: «Вот видишь, как все обернулось, а помнишь, что выкинула?» Полюбил он и Жоржа, считая себя как бы соучастником нашего союза. «Все в порядке, Олюша, я их благословил!» (Мы ему первому объявили о своем решении.)

Это была чудесная зима.

* * *

Я сдавала экзамены за первый семестр четвертого курса и изредка ездила в Москву, Жорж тоже отлучался ненадолго по своим аспирантским делам, но основным нашим домом была переделкинская покосившаяся изба, куда мы спешили всегда с радостью и нетерпением. Мы с наслаждением ходили на лыжах, отлично изучили баковский лес, все его горки и проселки, забредали иногда очень далеко, замерзали и уставали. В пятом часу короткий зимний день сменялся синими, даже какими-то

фиолетовыми, сумерками, и в этот час мы обычно уже выезжали из леса на широкое и ветреное поле, где черным прямоугольником маячила огромная скирда — наш главный ориентир. По безлюдной заснеженной улице мы торопились к нашему домику, ибо знали — времени осталось мало, а надо еще протопить печку, сварить что-нибудь и — ждать.

Часов в восемь придет Б. Л… Он очень любил посещать нас, даже в отсутствие матери, в эти темные зимние вечера, любил сознавать, что где-то среди сугробов светится окошко, за которым его ждут.

Мы бросались ему навстречу, помогая стащить и стряхнуть такую тяжелую шубу, он, слегка запыхавшись от подъема, оправдывался: «Сейчас, поднимаясь, задохнулся и подумал: Господи, да ведь восемьдесят уже! А потом вспомнил — да нет, еще только семьдесят!» И смеялся вместе с нами.

Мы выставляли на стол купленные Жоржем бутылки, Б. Л. отодвигал их и отказывался. Он на минуточку, только на минуточку. Мамы нет? Но эта минуточка продолжалась зачастую довольно долго. Начинали болтать о всяких пустяках — о письмах, о Фельтринелли, в пристрастии к которому мы подозревали маму, о Ренате Швейцер (его постоянной немецкой корреспондентке), над нежной перепиской с которой также подтрунивали… Боже мой, о чем только не говорилось!

В ту зиму нас заедали клопы. Я считала себя непревзойденным рассказчиком историй о сложной борьбе с этими коварными существами. Но Б. Л. быстро кладет меня на обе лопатки. Он рассказывает целую новеллу, в которой эпизод с клопами — лишь блистательный финал, а ведет к нему драматическая картина России — Сибири, цепь комических и трагических столкновений…

Это был один из многих изумительных вечеров той зимы, когда за окнами валил снег, а мы сидели в жарко натопленной избе, за столом, на котором красовалась бутылка «Вдовы Клико» или «Моэта благословенное вино», которую Б. Л. сначала решительно отодвигал, а потом, возбужденный собственным рассказом и нашим любопытством, опустошал почти целиком, постепенно подливая себе и не замечая этого.

Он рассказывал, как в тридцатых годах очутился с писательской бригадой на Урале, в Свердловске. С ним. кажется, поехала и семья. Город был фантастически неблагоустроен, в особенно бедственном положении и минимальном количестве были уборные. Так, на гостиницу и находящуюся неподалеку ЧК (дом, тайну которого открыли не сразу) приходилось только одно помещение с двумя «очками». Разумеется, они всегда были

заняты, и с тужащимся в двух шагах соседом возникали сложные взаимоотношения: старались смотреть в потолок, не узнавать друг друга и поскорее выйти с видом человека, попавшего сюда случайно. Не тут-то было: тот, кто только что в невероятной позе стоял рядом, ждал за дверью, — ибо «любитель поэзии, узнал, жаждал пожать руку и познакомиться».

Мы хохотали до слез, так смешно изображал Б. Л. эту неприличную, но такую «исторически верную» ситуацию.

Всем писателям и семьям давали талоны на обед в соседний дом — что находилось в этом доме, никто не знал и этим не интересовался, главное — обеды были по тому времени роскошны. Но однажды Б. Л. обогнул это загадочное здание, подошел к нему с парадного входа и увидел вывеску, оповещавшую, что это свердловская ЧК. После этого аппетит у него несколько испортился.

Из Свердловска разъехались по селам. Б. Л. с семьей поместили в пустовавшую избу, где на них и накинулись оголодавшие сибирские клопы. Местный председатель дал ему ружье, предупредив, что ночью по деревням бродит много бандитов из высланных. Это было то самое время, о котором так хорошо сказано в романе, — когда со всей России сорвало крышу, и все очутились под открытым небом. Ночью в уральской деревне, затерянной в лесах, могли постучать в окно — хозяин выхватывал из-под подушки винтовку, дулом открывал форточку и объявлял, что будет стрелять, а в ответ слышал: «Воронежские мы, раскулаченные. Дай поесть, Христа ради». На другую ночь это были орловские, на третью — новороссийские… Ночами по стране бродили целые племена, перемещались народы, а утром председатель спрашивал, как спится гостям. Спалось плохо.

Председатель, в котором заговорила природная сметка и желание поразить москвичей своей изобретательностью, придумал гениальное средство от клопов: утром, к величайшему удивлению Б. Л., он ввез в избу на тачке целый муравейник, попросил всех выйти и запер избу на целый день. К вечеру муравьи съели всех клопов, и теперь Б. Л. полагалось спать спокойно.

Потрясенные народной мудростью сибиряка, мы провожаем Б. Л. до освещенного шоссе, он машет нам на прощанье рукой в белой варежке и скрывается за занавесом серого, густого, январского снега.

Сколько таких вечеров, озаренных присутствием Б. Л., его смехом, рассказами, память о которых отнюдь не тускнеет с годами, скрыто за прокопченными стенками безвестной избы! И мы ничего не записывали. Иногда только Жорж, примостясь

между печкой и кроватью, заносил аккуратным своим почерком что-то в блокнот.

Правда, некоторым утешением служит мысль, что наши вечера все-таки записаны — помимо нашей воли — и запись эта в какой-нибудь засекреченной кассете хранится до поры до времени в архивах известного учреждения. Думать так у нас были некоторые основания. Это был поистине маленький детектив, имевший, увы, весьма тягостное продолжение, но в ту зиму воспринимаемый лишь как развлечение.

Началось с того, что у нашей глухой симпатичной хозяйки появился дядя, не очень вязавшийся с общим представлением о ее семействе. В черной дорогой шляпе он разгуливал по огороду, часто уезжал в город. Иногда его посещали такие же «дяди» — в шляпах в плащах. Но как-то милая наша Маруся не выдержала и под страшным секретом рассказала матери, что это вовсе не дядя, а совершенно незнакомый ей мужчина. Что не так давно в цех, где она работала, пришел перепуганный завкадрами, вызвал ее и познакомил с человеком, отрекомендовавшимся работником милиции. Тот показал Марусе свое удостоверение и доверительно сообщил, что милиция начала слежку за членами банды, которые, как она предполагает, совершили несколько убийств в Баковке и окрестностях и местом встречи которых служит «фадеевский» шалман. Изба наша, как уже говорилось, находилась как раз напротив этого заведения. Он попросил у Маруси разрешения установить в ее комнате для наблюдения за объектом аппаратуру, контролировать которую должны работники милиции, а чтобы все это не получило огласки, обязал Марусю не только не разглашать секрета, но для успокоения квартирантов (то есть нас) выдавать оперработника за своего родственника.

Потрясающе, что это нас не обеспокоило! До чего же мы были наивны! Правда, после того, как Маруся поведала об этой тайне матери — и даже показала фотографию бандита, которую ей дал для опознания «дядя», мы заволновались. Конечно, рассказали об этом и Б. Л„и Жоржу. Б. Л. собственноручно обследовал стенку, выходящую на шалман, и к нашей великой радости, нашел в ней отверстие, в котором торчало что-то, что вполне могло быть наблюдательной трубой. Это нас успокоило. Да и версия с бандой была так правдоподобна! Конечно, мы боялись подвести Марусю, и обсуждали происшествие шепотом, но стена, отделявшая нас от ее комнаты, была так тонка, а аппараты так совершенны!

Видимо, чтобы окончательно рассеять наши подозрения, в один прекрасный день, когда все мы были дома, к пресловутому шалману подкатил настоящий «черный воронок», человек пять арестовали и запихали в него, после чего «дядя» простился с

Марусей, сказав, что дело окончено. Хотя все было разыграно, как по нотам, кое-какие сомнения у нас оставались, и, помню, мать за определенную сумму уговорила по знакомству какого-то техника приехать на дачу с установкой, способной, как он уверял, обнаружить записывающее или передающее устройство. Он обошел с этой машинкой весь огород, облазил нашу комнату и сказал, что такое устройство определенно есть и оно находится на половине хозяйки.

Б. Л. и верил, и не верил этому. Разговоры, конечно, продолжались по-прежнему, продолжались и встречи по воскресеньям с Шеве; Жорж вообще находился в доме постоянно. Какое удовольствие, наверное, получали на Лубянке, прослушивая монологи Б. Л.! Причем он даже играл на публику. Входя, говорил непременно: «Здравствуй, дорогой магнитофоша!» «Уж пусть простит меня магнитофоша!» Мы поддерживали эту игру, и после каких-нибудь особенно крамольных речей и планов я или Жорж восклицали: «Как жаль, что сегодня Ирочки с Жоржем нет, что они задержались в Москве!» Почему-то нас всех это страшно забавляло. Но когда потом, спустя несколько месяцев на следствии при допросе вдруг всплывали какие-то маленькие, но очень яркие детали, словечки, бытовавшие именно в ту зиму, все встало на свои места: и перепуганная Маруся, и «дядя», и лжедырка, и лжеворонок.

Но я очень рада, что записан и сохранен — пусть даже в таком варианте — например, канун 1960 года, года, который мы вчетвером встречали там, среди переделкинской зимы. И если есть у каждого человека какая-то «комната», которую хочется опустить на дно души и хранить там всю жизнь со всеми ее обитателями, — то для меня это наша изба под Новый 1960 год, елка с зажженными свечами, и в их заметавшемся, плывущем пламени — озаренное внезапным воспоминанием лицо Б. Л. — красивое — прекрасное — но уже какое-то уходящее, прощальное, как сам этот колеблющийся свет.

Мы зажгли настоящие свечи — и свои, и присланные к Рождеству «оттуда», пахнущие всякими елеями, я привезла настоящие хлопушки с сюрпризом. Жорж — подарки: нам с мамой по тому репродукций Скира, Б. Л. — старинный французский лубок, изображающий круговращение человеческой жизни, от колыбели до разверстой могилы. Б. Л. лубок явно не понравился (видимо, он гнал от себя мрачные мысли), и он поспешно свернул его в трубочку. Мама колдовала над столом, превзойдя даже свою всегдашнюю щедрость — на каждого приходилось чуть ли не по три курицы! Б. Л. очень смешно приходил от этого в ужас: «Олюша, да ты просто с ума сошла!»

Мы выпили настоящего французского шампанского в честь наступающего года — год предстоял блистательный, головокружительный. Б. Л. ждала работа, пьеса, ее успех, меня — Франция, новая жизнь, счастливая любовь.

Зажгли свечи, и в их все преобразившем свете подняли граненые стаканы с шампанским. Б. Л. сказал, глядя на меня, стоящую под елкой: «Ты — как невставленная свечечка, все уже вставили и зажгли, а тебя — забыли».

Когда очередь дошла до хлопушек, все были уже порядочно пьяны — не столько от шампанского, сколько от возбуждения. Пели, передразнивая Шеве «О Танненбаум, Танненбаум…» — Б. Л. лучше всех и громче всех. Жорж вспомнил французские застольные. Мать затянула, конечно, «Стеньку Разина»… В моей хлопушке оказалась ватная редиска, мама прокомментировала ее как изображение моей первой трагической любви — и каким вдруг бесконечно ничтожным и далеким показалось мне недавнее горе! Матери достались усы — конечно же, мы расценили их, как привет от усатого Фельтринелли, в симпатиях к которому мы ее подозревали, Б. Л. — щелкунчик, которым он с удовольствием щелкал и, уходя, бережно положил в карман. Вот только объяснения щелкунчику подыскать не удалось. Как и всегда, Б. Л., наш двурушник, поделил свое пребывание — до 11 он был с нами, а потом, спохватившись, заспешил к себе, где уже ждали гости и — семья. Мы проводили его до поворота, как обычно, — у нас ведь тоже были свои границы, переступать которые не полагалось.

* * *

Но год, от которого мы так много ждали, начался довольно тяжело — очень сильно и опасно заболел Жорж. Каждый день я ходила к нему в больницу, носила передачи и письма. Б. Л. часто делал к моим письмам коротенькие сочувственные приписки. Пришлось уехать из Переделкина, и весну 60-го года я бывала там лишь наездами. Б. Л. видела мельком, последний раз — ослепительным мартовским днем, когда я заехала в деревню, чтобы забрать вещи Жоржа у его хозяев — о возвращении к прежней жизни из-за его продолжавшейся болезни не могло быть и речи. Я столкнулась с Б. Л. на улице, он шел навестить мою бабушку, которая в ту зиму жила на даче.

В этот весенний день солнце действительно «грело до седьмого пота» — на снег было больно смотреть. Б. Л. щурился и вытирал слезы — темных очков он никогда не носил. Мы зашли к бабушке, немного посидели там — Б. Л. заметно обрадовался, что старики — бабушка и ее муж — так хорошо выглядят, так бодры и жизнерадостны. Как не любил он всяких напоминаний о смерти (он не стал даже смотреть номер «Пари-матч» о похоронах Камю, поспешно свернул в трубочку мрачную средневековую картинку), так радовал его вид крепкой здоровой старости. А в этом отношении моя бабушка представляла собой исключительное явление.

Среди вещей Жоржа оказывается кинокамера, и я, даже не зная точно, есть ли там пленка, снимаю на всякий случай сверкающие сосульки, под ними улыбающихся стариков, Б. Л.» радостно приветствующего их и взбегающего на высокое крыльцо. Уже после смерти Б. Л. я обнаруживаю, что аппарат был заряжен, и наша последняя встреча в деревне не прошла бесследно.

И вот, спустя месяц, уже совсем последняя встреча — 17 апреля 1960 года у нас в Потаповском, в Светлое воскресенье. Пасху. Б. Л. пришел проводить Жоржа, который улетал на месяц во Францию для поправки — он еле ходил, бледный, осунувшийся, с трудом высидел прощальный завтрак, за которым Б. Л„веселый, загорелый, совершенно здоровый, произносил головокружительные речи.

В нашем переулке жила М. И. Сизова — детская писательница и хорошая знакомая Б. Л., к которой он также обещал зайти, совместив таким образом прощание с Жоржем и визит к своей верной давнишней поклоннице. Опасаясь, что у Магдалины Ивановны придется засидеться и он не сможет побыть с нами

столько, сколько ему хотелось, Б. Л. попросил меня прибегнуть к маленькой хитрости — позвонить ей через 20 минут и вызвать его якобы по срочному делу. Так и договорились. Когда я ровно через 20 минут позвонила, Магдалина Ивановна сказала, что Б. Л. с мамой только что спустились вниз. Мы с Жоржем вышли на балкон, чтобы видеть, как по переулку шагает Б. Л., характерно размахивая рукой, — без пальто с непокрытой красивой головой. Он заметил нас и стал делать какие-то знаки — оказывается, Сизова одарила его двумя крашеными яичками, которые по дороге растаяли, и пальцы у Б. Л. стали красными, как у индейца.

У нас в распоряжении были две бутылки «Клико», мы решили выпить одну, а вторую приберечь до возвращения Жоржа. Однако этого не случилось — Б. Л. разговорился, — он говорил много, оживленно, интересно — выпили одну, потом — другую. «Я люблю твое будущее и вижу его», — говорил мне Б. Л. Однако он — и не в первый раз — предостерегал меня от многих разочарований: «Ты привыкла объяснять себе человеческую глупость советскими условиями, но там ты столкнешься с просто глупостью, просто низостью и неблагородством, и то, что они необусловлены, будет для тебя нравственным потрясением. Но я доверяю твоей судьбе». Он говорил, что любит Жоржа за обезоруживающую естественность, которую ставит очень высоко, наравне с одаренностью, и то, что произошло между нами, кажется ему естественным продолжением счастливых событий последних лет — выход романа, Нобелевская премия, мировое признание.

Мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, усадив Жоржа на диван и обложив его подушками. И хотя Б. Л., как всегда, очень спешил, он просидел еще довольно долго, напав на мысль, которая, видимо, в то время очень его занимала. Он сказал, что хочет написать статью, или, может быть, новую книгу, или скажет как-нибудь об этом в пьесе, или — скорее всего — напишет кому-нибудь большое письмо — о том, что так же, как сейчас нам дано понять человеческий смысл предшествующих культур, не всегда ясный современникам, так должно постичь и человеческую суть нашей цивилизации. Кажущаяся бесчеловечность современного искусства (тут он вспомнил позднего Пикассо), непомерность технического прогресса, одиночество и разобщенность современных людей — все это не может не иметь какого-то глубоко скрытого человеческого смысла, не может быть только тем, чем кажется. «Нет, в этом должен же быть какой-то смысл, должен!»

Вот и все. Таков был этот последний раз. Вернее, нет, не последний — я говорила с Б. Л. еще один раз, по телефону, в

конце апреля, когда уже началась его смертельная болезнь. Он перемогал себя и первые дни, несмотря на сильную боль в плече, с которой все началось, еще сумел несколько раз пройти вечером до конторы и позвонить в Москву. Он так разительно изменился за первые же дни болезни, что нас охватило тревожное предчувствие. И вдруг, когда, как мы считали, он должен был лежать в ожидании врача, раздался звонок. Мама подошла к телефону, а я взяла отводную трубку и, хотя это было с моей стороны неделикатно и подобного я себе никогда не позволяла, подключилась к разговору. В ответ на вопросы матери о самочувствии он сказал далеким и слабым голосом: «Ну, нельзя же жить до ста лет!» — и я, вдруг заплакав, закричала в эту отводную трубку: «Можно, можно!»

Больше он уже не мог ходить в контору. Мы ждали его звонка еще несколько дней, а потом решили поехать в Переделкино, чтобы быть поближе и попытаться хоть что-то узнать. Три мучительных дождливых первомайских дня мы с мамой провели вдвоем, почти не разговаривая и не выходя из марусиной избы. Конечно, маму кидало от надежды к отчаянью. Хотя страшное предчувствие, усугубленное тем, что при последнем посещении Б. Л. принес ей рукопись пьесы «Слепая красавица» — прощальный дар, все больше укреплялось в ней, она цеплялась за каждую веточку надежды: какие-то сны, мнения медицинских сестер, неточные слова врачей — и так до самого конца. «Ирка, как же мы теперь будем жить?» — вырвалось у нее как-то однажды. Имелось в виду — жить, когда Б. Л. не станет.

Неожиданно к концу третьего дня к нам пришел Кома Иванов и принес письмо от Б. Л… Принес он и диплом Бостонского университета — как наиболее ценную для себя вещь, Б. Л. посылал его нам. Письмо это нас просто оживило — оно было деловым, спокойным (врач нашел повышенное давление, стенокардию, расстроенную нервную систему, «придется вычеркнуть самое меньшее две недели из нашей жизни»), следовали обычные подробные распоряжения — насчет денег, перепечатки пьесы, даже приглашение Шеве, если нужно, посетить его. «Не огорчайся, — кончалось письмо. — Мы и не такое преодолевали».

Таких писем было несколько — их приносил либо Кома, либо Костя Богатырев, друг Б. Л., замечательный переводчик (позднее зверски убитый КГБ), через них же мама отправляла ответы. Но день пятого мая, кажется, был последним, когда к Б. Л. допускались посетители. Внезапно ему стало резко хуже. Собравшиеся на консилиум светила нашли обширный инфаркт.

Для нас начались совершенно сумасшедшие, мучительные

дни — мы бегали по разным концам Москвы, по нескольку раз ездили туда и обратно в Переделкино и все с единственной целью: что-нибудь узнать. О, как ощутила бедная мать в эти дни горечь своей «обочины», непреложность границы, отделявшей нас от мира «законных», свое бесправие! Сколько бы ни говорил ей Б. Л. по этому поводу и верных — и лукавых слов, даже в предсмертных своих письмах: «Опомнись и вспомни: все, все, что составляет значение жизни, только в твоих руках. Будь же мужественна и терпелива», — отказано ей было слишком во многом. У нее не было права даже знать. Сердце сжимается, когда вспоминаю ее, прячущуюся у забора дачи, куда пошел привезенный нами врач, и так — все дни, до самого последнего, когда она, сжавшись, сидела около крыльца, у закрытой двери, за которой прощались «свои».

Сначала она хотела взять препятствие штурмом, отчаянно, в открытую. Помню, как вчетвером — она, Митя, Костя Богатырев и я — совещались в какой-то беседке на территории Дома творчества и мать в истерике кричала Косте, что он трус, ничтожество, боится отнести на дачу Б. Л. ее письмо. Она решилась написать жившей там в то время Н. Табидзе, умоляя ее сообщать нам обо всем происходящем и разрешить разделить некоторые хлопоты и заботы о Б. Л… Бедная мама, не зная, как уговорить Табидзе, упомянула в своем письме, что может достать любые иностранные лекарства. (Через три месяца я прочла на Лубянке показания Н. Табидзе, где среди прочей нелепой клеветы на мать и даже — на меня — фигурировало и следующее: «Ивинская пыталась проникнуть к умирающему Пастернаку, для чего написала мне письмо, на которое я не ответила, для того, чтобы получить нужные ей завещательные распоряжения. В письме она также говорила о своих связях с иностранцами…» Как я понимаю маму, которая, когда мы встретились с ней после суда в заквагоне, темпераментно шептала: «Сейчас бы вытащила его из могилы и ткнула в этот документик! Чтоб не целовался со своей Ниночкой!»)

Костя идти не захотел. Письмо понес Митя. Он вернулся очень скоро. Табидзе прочитала письмо и сказала, что ответа не будет. Тогда, отказавшись от штурма, решили прибегнуть к «цепочке». Многие, особенно женщины, помогали нам очень охотно. Звонили нам и Е. Е. Тагер, и З. А. Масленникова, ездившие в Переделкино иногда специально для того, чтобы потом передать «сводку». Они искренне жалели маму. Одно время главным связным стала наш друг Юля Живова, которая бесстрашно шла на дачу, узнавала последний бюллетень, а я поджидала ее около забора.

Через некоторое время Евгений Борисович, старший сын Б. Л., видимо, недовольный приездом нашего врача (это был известный кардиолог Долгоплоск) и опасаясь, что и в дальнейшем могут быть с нашей стороны нежелательные вмешательства, решил сам звонить, держать нас все время в курсе и направлять наши действия. (Спасибо ему за это!) Один раз он просил меня достать итальянскую камфору, которую я раздобыла в тот же вечер и отнесла Евгении Владимировне, первой жене Б. Л. Она встретила меня так дружелюбно, что я чуть не заплакала — это было очень неожиданно.

Видимо, чувствуя наше безумное беспокойство, Б. Л. сам, со своей стороны, установил связь.

Это было 15 мая. В эту ночь мне снился жуткий сон — будто я опаздываю на переделкинский автобус, бегу за ним по пыльной дороге, а когда он останавливается, вижу, что мне все равно не подняться — у меня по колено обрублены ноги. Проснулась от телефонного звонка. Юный, совсем девчоночий голосок попросил приехать в Полупанский переулок, в приемную кремлевской клиники и спросить сестру Марину Р. Мы с мамой помчались туда.

Сестра Марина оказалась совсем девчушкой, с круглым курносым личиком, лет 16. Она была одна из трех, кажется, сестер кремлевской больницы, дежуривших у Б. Л. посменно. Марина почему-то все время улыбалась. И с милой, широкой улыбкой сказала нам, что Б. Л. умирает, что все сестры его очень любят, что особенно хорошо он относится к ней, поэтому и попросил ее позвонить нам. «Он сказал, что это секрет!» — смущенно улыбалась девочка.

Марина звонила нам каждый день. Она читала Б. Л. наши коротенькие записочки, передавала его ответы. Иногда даже ночевала у нас, если рано утром ей нужно было идти к Б. Л. на дежурство. Мы провожали ее до ворот, а сами дожидались выхода сменившейся сестры, уже предупрежденной Мариной о всех наших сложных взаимоотношениях, и та, лишь отойдя от дачи на почтительное расстояние, решалась заговорить и рассказать, как прошла ночь.

Мы уже знали, что все, что конец. Что уже были кровавые рвоты, потери сознания, что уже доставлена на дачу кислородная палатка. Рентгеновскую установку привезли за несколько дней до смерти. Открылась картина полного ракового поражения легкого, всюду метастазы. От легкого была и эта боль в плече и лопатке.

Через несколько дней мы провожали к Б. Л. приехавшую из Тарусы Алю Эфрон. Она пользовалась правом старого друга, по этому праву могла прийти и спросить обо всем. Был самый конец

мая, переделкинские палисадники заливала бьющая через заборы сирень, вечернее солнце пригревало овраг, и никогда еще этот пейзаж — и озеро, лежащее, как блюдо, и разноцветная, как будто игрушечная церковь, позолоченная косыми его лучами, не казался нам таким прекрасным и таким обезнадеживающим.

Аля пробыла на даче недолго. Да, она видела и Табидзе, и Зинаиду Николаевну, которая что-то стирала и даже не повернулась к ней. Говорила Табидзе: «Это рак. Надеяться можно только на чудо. Но это человек чудес, поэтому ни у кого из нас не опускаются руки. Очаг — в легких, но метастазы уже в желудке. Гемоглобин очень низкий и постоянно падает… Почти все время на морфии, поэтому очень много спит…»

Аля излагала все это спокойно и неторопливо, от ее стоицизма все во мне леденело — ведь я знала и по рассказам Б. Л., и по ее письмам к нему (из Туруханска), которые он приносил нам, что значит для нее эта дружба. Право же, как я хотела, для нее же, чтобы она плакала, как умела истерически отчаянно плакать мама.

Бредем на станцию, чтобы опять ехать в Москву. Зачем? — Челночное снование давало какую-то разрядку. Проходим мимо кладбища, где уже стоит «казенной землемершею» смерть.

Мы с мамой немного отстаем, и она вдруг шепчет, горячо, как в бреду: «А я не верю, Ирка, все равно не верю, мне снился сон — ветка яблони, солнце, и птица начинает петь… Все будет хорошо, он не от морфия спит, просто он вообще отсыпается… Марина говорила, что вчера ел клубнику…»

* * *

В ночь с 30 на 31 мая мама, Марина и Митя ночевали в Переделкине, чтобы рано утром пойти, как обычно, встречать дежурившую в эту ночь Марфу Кузьминичну. Марина познакомила нас и с другими сестрами. Особенно понравилась мне Марфа Кузьминична. Это была толстенькая, очень симпатичная женщина с большим чувством собственного достоинства, бывшая фронтовичка. У нее на руках и умер Б. Л… Она закрыла ему глаза. Меня поразило, что Марфа Кузьминична, всего перевидавшая на фронте, сказала, что мало у кого встречалась такая выдержка, такое присутствие духа в последние часы, как у Б. Л. Она поражалась его терпению.

А ведь его мнительность обычно была у нас предметом шуток (на которые он всегда очень обижался). Я помню, как он всех просто извел, когда у него на ноге завелся какой-то грибок.

Однажды что-то случилось с кожей на лице — он не мог бриться, умываться — отчаянье его не поддавалось описанию: «Ирочка, ты добрая девочка, но не доказывай этого, не целуй меня, пожалуйста! Олюша, как я вам должен быть отвратителен?»

Мы с Жоржем в этот день были в Москве. Молча, в каком-то оцепенении просидели несколько часов. Не было сил ни говорить, ни разойтись. Часов в одиннадцать Жорж ушел к себе в общежитие на Ленинские горы. Я легла, но спать не могла. Наугад раскрыла Библию — по той строке, которая сразу бросилась в глаза, поняла, что все. Все уже кончилось.

Марфа Кузьминична рассказывала потом нам, что говорил Б. Л. Последние слова: «Что-то я глохну. И туман какой-то перед глазами. Но ведь это пройдет? Не забудьте завтра открыть окно». «Теперь я не буду с вами спорить. И валокордин буду принимать». Б. Л. очень хвалил Леню — «редкий и несовременный» и «ее». «Забудет ли она меня? И будет ли счастлива без меня?» И сам — «Нет, нет». «Сделайте что-нибудь мне, Марфа Кузьминична, я так хочу жить. Вы не торопитесь, сядьте, подумайте и сделайте, как в прошлый раз вы мне делали».

Однажды Марфа Кузьминична сказала ему: «Что-то я ваших произведений не читала. Только несколько стихотворений». «И не надо, не читайте. Это все ерунда. У меня есть другие, не напечатанные здесь». «Что мне сделать для вас? — спросил Б. Л. у нее после того, как прошел очень сильный приступ. — Я не могу броситься вам в объятия, упасть перед вами на колени — вы же видите, что не могу. Я уже почувствовал дыхание того мира, а вы меня вернули. Когда я поправлюсь, я не буду писать ни о политике, ни об искусстве. Я напишу о вашем труде сестер. О да, вы труженицы. В мире так много в запутанности, всякая деятельность так осложнена и затруднена, а здесь она так открыто благородна, так неподдельна и бескорыстна. Вот об этом я буду писать». «Марфа Кузьминична, вас, наверное, не баловала жизнь. Но у вас доброе сердце, и вы такая властная, честолюбивая, вы все можете сделать, если захотите. О, если бы вы «ее» узнали, вы не стали бы меня осуждать». «У меня двойная жизнь. Была ли у вас когда-нибудь двойная жизнь?»

«Ничего, лет пять пошумят и признают». «О Марфа Кузьминична, вы не знаете, у меня есть такие окольные пути, есть друзья, люди, которые все могут для меня сделать, озолотить». — «Да зачем вам золото, Б. Л.? Вы сами золото, поправитесь и никакого золота не надо». — «Да, да, вы меня поняли».

«Разве можно вулкан залить глотком воды?» В последний день перед последним переливанием крови сказал, глядя на приготовления: «Вы похожи на тибетских лам у жертвенников».

«Болезнь сделала меня безразличным. Я вам даже улыбнуться не могу».

Утром меня разбудил звонок, и голос ныне покойного В. Бугаевского произнес только одну фразу: «Когда это случилось?» А я, делая вид, что не понимаю, переспросила: «Инфаркт? Восьмого». «Да нет же, сейчас в Гослит звонил Голосовкер из Дома творчества, сказал, что Б. Л. сегодня в половине 12 ночи умер».

Был уже десятый час утра. Я бегала в одной рубашке по квартире и не знала, что делать. Как будто сейчас можно было что-то делать! Пришла Аля Эфрон. Она тоже всегда считала, что в таких случаях надо что-то делать — только не сидеть на месте.

Мы решили немедленно взять такси и поехать в Переделкино, чтобы быть с мамой. Выходя, столкнулись с ней в дверях — она приехала вместе с Мариной и Митей. Зачем? Оказывается, тоже надо было что-то делать, и это дело — быть со мной, сообщить мне. Мать была спокойней, чем я ожидала. Она плакала (но истерики не было), все время только повторяла: «А говорили, что он изменился, постарел. Неправда! Неправда! Он такой же, молодой, теплый, красивый…» Словно споря с кем-то невидимым, твердила с ожесточением: «Неправда, неправда!»

Марина мне все рассказала. Это было почти как в романе «Доктор Живаго» — прощание Лары с мертвым Юрием Андреевичем. Часов в шесть утра мама с Мариной и Митя уже были около дачи, у сложенных штабелями щитов — снежных заслонов. Сестры сменялись обычно в восемь, а тут вдруг дежурная вышла из дома почти сразу же после их прихода и, не дожидаясь смены, двинулась на станцию. И тогда мама вошла в дом, порог которого ни разу в жизни не переступала. Она поднялась на крыльцо, открыла дверь — никого не было. Она пошла по коридору, и тут ее встретила Татьяна Матвеевна, домработница Пастернаков. Б. Л. ее очень любил, а она его — без памяти, несмотря на крайнюю внешнюю суровость, с которой проявляла свои чувства. Она провела маму к Б. Л. И там мама оставалась с ним, наверное, с полчаса. В комнату никто не зашел. Они простились. Митя и Марина ждали за воротами.

Теперь мы все сидели в Потаповском, и мать без конца твердила, как хорошо она простилась, что он был такой же, как раньше, ничуть не похудел, и теплый совсем.

И опять надо было что-то делать. Завтракали. Варили кофе. Отчетливо помню эту прямо толстовскую мысль свою — ну зачем этот кофе, какой тут кофе, кому нужен этот кофе, какая ложь — этот кофе.

Приехали Юля и Мария Ефремовна с Басманной из

Гослитиздата. Снова пили кофе за круглым столом — мать, Митя, Марина, Аля, Юля, Мария Ефремовна и наша Полина Егоровна. Потом — взяли два такси. Остановились недалеко от дачи.

Как открытая рана, весь этот месяц стояли распахнутыми ворота — для машин врачей. В саду уже были люди. Немного. На скамейке сидел плачущий, растерзанный, душераздирающий Бугаевский, с ним — Штейнберг и Тарковский. Затем увидели Евгению Владимировну Пастернак — совсем белую, тихую, потрясенную. Она села к нам и, кажется, поцеловала мать. Была здесь Галя Арбузова, Паустовский с женой. Галя подошла ко мне. Все говорили мне — иди, простись. А я боялась. Машины все подъезжали и подъезжали. Помню необъятную, поддерживаемую под руки М. В. Юдину, с трудом идущую по дорожке. Е. Е. Тагер, конечно, тоже находилась здесь.

Было около 11 часов утра. Говорили тихо, и старались двигаться бесшумно, и такая же настороженность, бережная тишина хранилась деревьями и зацепившимися за вершины облаками. Все затаилось, затихло. Это чувство растерянности и скованности владело всеми, и мой восемнадцатилетний брат так написал о нем в своем стихотворении:

Висел, как меч на нитке, полдень,
И были глухи голоса.
И непривычно был наполнен
Людьми пустой обычно сад…
Толпясь, старались не толкаться,
Друг другу не смотреть в лицо.
Листва сплетенная акаций
Цедила солнце на крыльцо.
И шли, ступать стараясь тихо,
И к стенке ставили венки.
Крепился вход, и плакал выход,
И прятались глаза в платки…
И, затухая, еле-еле,
Как будто бы перед концом,
Акации живая зелень
Цедила солнце на крыльцо.
Май 1960 г.

Из дома вышел Женя, старший сын Б. Л., и направился по дорожке к нам. Никого из семьи мы еще не видели, и при его приближении — он шел как посланец «клана», «семьи» — мама напряглась, и мы кольцом окружили ее. Не уйдем! Увы, больно сейчас вспоминать те холодные и странно звучащие фразы,

которые он с трудом выдавливал из себя. Он видел, как мы страдаем, каково горе мамы, но ответная волна не поднялась в нем. Он не позволил себе разделить это горе с нами. Он просил, чтобы не было никаких «спектаклей» или «театра» (не помню точно, как он выразился), о чем якобы просил отец. О боже, могли Б. Л. думать об этом! «Специально просить!» Мама, по-моему, ничего не понимала, потому что он говорил обиняками, и она никак не могла взять в толк, что за «театр». Под конец он сказал, что сейчас проститься нельзя, так как снимают маску и делают замораживание, а можно после двух, повернулся и ушел.

Мы вернулись в деревню. Не помню, как протянулось это время. Прощаться я пошла вдвоем с Жоржем. Был тихий, словно притаившийся закат. Мы выбрали любимую дорогу Б. Л. — вниз через овраг, потом поднялись по мостику, наверх. Вот и дача. Опять эти разверстые ворота. Одновременно с нами подъехала машина, и вышла артистического вида блондинка с цветами и с ней мужчина, которого я знала, — это был Борис Ливанов. Так как «никому нельзя воспрепятствовать попрощаться», как, кажется, сказал Женя, мы двинулись вперед за Ливановым.

Я тоже ни разу не была в этом доме, даже в саду. Дама семенила по дорожке, поддерживая рассыпающиеся цветы. Мы с Жоржем старались не отставать, потому что я тоже дорога не знала. Мы поднялись на крыльцо и прошли в комнату налево. Я замешкалась в коридоре — господи, как все это страшно! Я очень боюсь мертвых. И смерти. Мне до сих пор снится мой умерший дед. Ужас перед физической стороной смерти, телом, лишенным жизни, тлением и исчезновением никогда не оставляет меня. И тогда он был со мной. Я как окаменела.

Татьяна Матвеевна, заплаканная, суровая, подошла ко мне и почти втолкнула в комнату. (Помню на стенах офорты отца Б. Л. Это не была его комната, — кажется, комната брата или гостиная. Уже в конце болезни его перенесли вниз, сюда.) Он был уже заморожен, одет в костюм, аккуратно уложен на диван лицом к двери, руки связаны на груди. И причесан. Вот это первое, что меня поразило. Он был причесан — его обычно растрепанная челочка, свободными прядями падавшая на лоб (растрепывалась она, между прочим, сознательно, помню, как Б. Л. очень смешно перед зеркалом расправлял ее на лбу), была гладко зализана назад. Выражение лица взрослое, строгое, неприступное. Говорили, что он в гробу был молодой и красивый. Господи, кто это мог говорить! Может быть, когда мама прощалась с ним, он еще действительно был таким, как всегда. Но прошло около двенадцати часов. И тот, кто находился перед нами, уже не был им. Б. Л. был совершеннейшим выражением жизни, движения, а

когда наступила неподвижность — его не стало. Лежал какой-то совсем другой человек — с благородными чертами лица, пожилой, спокойный, осуждающий (нет, скорее — строгай), похудевший. Такой человек вполне мог бы жить на свете, но не Б. Л., а кем-то другим.

У него не было мученического лица мертвого Блока. Это не было лицо человека, только что передвигавшего горы и — наконец-то! — успокоившегося, как у мертвого Толстого. Не было тающей, серафической легкости мертвых пушкинских черт. Если смерть иногда гениально освобождает от чего-то лишнего, второстепенного лицо ушедшего в небытие, неожиданно, странно подчеркивая вдруг главное, доселе невидимое в нем окружающим, — то здесь этого не случилось. Смерть, сколько он ни размышлял о ней, сколько ни писал и ни готовился к ней, не стала ему сродни. Она не была из его обихода. У них не оказалось общего языка. Она не сумела к нему примениться — она его просто подменила.

Сделанные маски не передают отчужденного выражения его мертвого липа. Впрочем, оно, видимо, все время менялось. Становилось все более посторонним, все менее знакомым нам.

Я была так поражена этой переменой, что даже не могла плакать. Наоборот, пришло облегчение. Весь этот безумный месяц словно сотни сосущих змей висели на сердце и вдруг — отвалились. Я подумала, помню: «Какое все это имеет к нему отношение? Это не он, не он!»

Татьяна Матвеевна ходила около дивана, что-то подтыкала, поправляла руки, приглаживала волосы. Чтобы все было аккуратно. Как у людей. Ничего из ряда вон выходящего. Даже челочку запретили. Конечно, когда это делали любящие руки Татьяны Матвеевны и над мертвым — уже не страшно. Делали другое руки, и над живым. На стуле перед покойником (да, это был «покойник») сидел Ливанов, вытирал обеими руками слезы и, с неудовольствием косясь на нас (помешали проститься с лучшим другом!), бормотал, как мне показалось, «на публику»:

«Боря! Борька! Зачем ты это сделал, Боря! Зачем ты это сделал!»

Мы с Жоржем посмотрели друг на друга. Да, Б. Л. не было в этой комнате. Это все не имело к нему никакого отношения. Но где же он? Мне трудно писать о том своем чувстве. Пожалуй, это было единственное в моей жизни религиозное переживание. Сердце заколотилось: а вдруг? Вдруг — это знак, намек — мы не умрем, мы не можем умереть до конца? Вдруг — существует?

Вышли на крыльцо. Он был здесь, с нами. Вот это небо, которое он любил, деревья, этот овраг, дальняя колокольня, косое

весеннее солнце — все это больше он, чем то, что мы оставили в комнате. Это действительно было ощущение чуда. И именно так — «мгновенно, врасплох» оно застало нас, неподготовленных материалистов.

Пошли обратно в деревню. Чудо не оставляло нас. Он смотрел на нас из-за каждого поворота узкой песчаной дорожки. Из полувысохшей речки. Из-за нелепой риги, которая для нас навсегда теперь — «в тени безлунных длинных риг»… И больше всего — с неба. Чудо шло вместе с нами до самого дома, а потом исчезло, вместе с зашедшим солнцем — ушло куда-нибудь совсем далеко? Где уже не видно? — оставив нас опять наедине с хаосом и страхами. Но главное, оно — мелькнуло, было, и это дает нам силы.

* * *

Говорят, на следующую ночь его отпевали. Может быть, просто заказали панихиду в переделкинской церкви? А мы в этот день занимались закупкой цветов. Ощущение освобождения, родившееся при прощании, не оставляло меня все последующее время. Поэтому все детали похорон, сборов, подготовки видятся так ясно и так светло — словно эти минуты освещены каким-то ослепительным светом — «но света источник таинственно скрыт».

Вот мы — я и Нанка, прелестная восемнадцатилетняя Нанка, чье потрясенное личико рядом с убитым, отяжелевшим лицом матери облетело потом страницы многих газет и журналов мира, покупаем на Центральном рынке цветы. В карманах, в кошельках, в руках у нас деньги, собранные знакомыми и полузнакомыми, переданные нам через чьи-то третьи руки, всунутые в почтовый ящик неизвестно от кого с надписью — на цветы.

Я хочу купить тюльпанов, много тюльпанов — мы покупаем целое ведро. На Нанке розовое платье, рядом с майскими пионами она выглядит так нарядно. Покупаем пионы. Незабудки, надо незабудки! — втолковывает мне Нанка, как всегда, она очень деловая. Покупаем незабудки. Восточные люди, продавцы, отпускают свои шуточки. Мы смеемся. Все это не выглядит ни кощунством, ни натяжкой. Наверное, девчата сегодня школу кончают! Учительнице подарок. Или бал?

Везем цветы домой. Деть тюльпаны некуда. Ставим в ведра на пол в моей (маленькой) комнате. Розы, незабудки, пионы опускаем в ванную в целлофановых пакетах. Нанкина практичность! На дне ванны немного воды. «А шторы в комнате надо задернуть, — говорит она. — Тогда они завтра будут совсем

свежие». Я ночую в своей комнате, ставшей похожей на оранжерею. Сквозь полусон мне кажется, что это сад, нездешний сад. И строки о садовнике все время в сознании. «И недаром Мария принимает Христа, идущего по саду, за садовника».

Утром едем в Переделкино. Берем большую черную машину — ЗИМ — надо поставить цветы, сумки с провизией. С нами Полина Егоровна (будут поминки — отдельно, у матери в доме, не на даче) и мои друзья — такие молодые, такие прелестные тогда. Ирочка, Саша, Нанка. Для них этот день надолго определил жизнь.

Накануне в «Литературной газете» две постыдные строчки: «Умер член Литфонда…» Ни места, ни даты похорон. Как узнавали люди о месте и часе? Успеют ли проститься все, кто хочет?

Мы малолюдства, конечно, не опасались, но количество машин, сворачивающих с Минского шоссе на переделкинскую ветку, нас все же удивило. И много милиции на мотоциклах.

Какая-то взбудораженная деревня — Маруся, наша хозяйка, ее подруги одеты, как на праздник. Кузьмин в новом пиджаке, весь какой-то подтянутый, важный. Наши многочисленные перевенские хозяева со своими друзьями, бабки, с которыми мы раскланивались у колодца, ассенизатор Ванька без своей обычной бочки и лошади, продавщица из переделкинского магазина — все это множество народа толпилось на улице, сидело на бревнышках, вылезало из калиток. Г. Шеве, приехавший с нами, пораженный скоплением «демократического элемента», вынимает фотоаппарат. Но я еще не понимаю, что это движение относится к нам, к Б. Л. И Маруся, и Кузьмич, и Ванька здесь не случайно. Умер не просто свой, «переделкинский» писатель — таких умерло немало, и немало похоронено на переделкинском кладбище. Умер не только тот приветливый чудак, которого они привыкли видеть на мостике через самаринский пруд в смешной панамке летом, в резиновых сапогах осенью и черном каракулевом пирожке зимой, ставший для них неотъемлемой частью окружающего, как пруд, как овраг, как бывший самаринский парк. И не только гордость деревни — ведь благодаря ему Переделкино, как «башня из слоновой кости», прославилось на весь мир — привела их сюда.

Я думаю, что у них было живое и личное отношение к нему. Я уверена, что с каждым из них, а этого люда собралось несколько сот человек — он хоть раз да поговорил, причем поговорил так, как он умел, — «превозмогая обожанье». Как это ни демагогически звучит, но простые люди любили его, и прав был Асмус, когда в своем надгробном слове говорил о Б. Л. как о

«демократе в подлинном смысле этого слова». Множество человеческих судеб случайно сошлось в этот день в Переделкине, Б. Л. объединил их, связал своей смертью — «чистых линий пучки благодатные, собираемы тонким лучом, соберутся, сойдутся когда-нибудь, словно гости с открытым челом». Вот и сошлись на миг, чтобы потом рассыпаться, и уже некому собрать их.

На нашем маленьком дворе не протолкнуться. Вызванная бабушкиной телеграммой — «Умер последний честный человек», — под ногами путалась глухая тетя Надя из Сухиничей. Кузьмич подошел к нам: «Переехали от меня, вот и помер. Если бы у меня жили…» Стали разбирать цветы. Тетя Надя взяла пучок незабудок. Пригодились Нанкины незабудки. Мы двинулись по принаряженной, необычно оживленной деревенской улице, и за нами вслед поднялась и она — со скамеечек, бревен, завалинок. И опасение, что будет мало народу, что будет как-то неловко перед Б. Л., окончательно оставило нас.

А в саду дачи толпилась интеллигенция. Много знакомых лиц и незнакомых, ставших знакомыми впоследствии. Вот Ф. А. Вигдорова, которую я потом так полюбила, вот Марина Казимировна, семья Ивановых, Елена Ефимовна Тагер, Паустовский, Голышева, много-много людей. Юдина, Волконский и Святослав Рихтер играли Чайковского. Потом Шопен, потом, кажется, Скрябин. Народ входил в одну дверь, проходил мимо гроба и выходил на террасу. Гроб стоял высоко, весь в цветах. Лицо Б. Л. было уже совсем чужим, непохожим.

Мы с мамой присели на завалинку возле крыльца. Наверное, час просидели так, словно в оцепенении. Люди шли и шли, было видно, как от станции по дороге, ведущей к даче, движется непрерывный человеческий поток. Потом рассказывали, что на Киевском вокзале, около касс, кто-то расклеил объявления — о месте и часе похорон великого русского поэта, о чем так стыдливо умолчали советские газеты.

Мать все время была как во сне. В доме, около гроба, она находиться не могла — там дежурили «свои». Видимо, ее съежившаяся фигура, приткнувшаяся на завалинке около крыльца, многим надрывала сердце, но высказать этого никто не смел. Один К. Г. Паустовский подошел к ней, поцеловал руку — как вдове — и сел рядом. Тут она истерически разрыдалась. Он говорил что-то о жестокой русской истории, о том, как Россия хоронит своих поэтов, если в XIX веке весь Петербург собрался на Мойке, то в середине XX две тысячи человек ухе кажутся чудом. Одним словом, говорил какие-то общие слова, но именно ей, и это было для нее важно.

Погода почти пастернаковская, во всяком случае

«живаговская» — неразрешившаяся гроза, все время то накрапывающий, то прекращающийся дождь, глухие раскаты грома где-то далеко. И так же наэлектризована была собравшаяся толпа, так же глухо рокотало что-то в ней и ждало разрешения. Она все росла. Люди толпились уже за забором, на который ловко вскарабкались корреспонденты с кинокамерами — иностранные, разумеется. Деловито суетились какие-то подозрительные лица, все время торопившие. Мне говорили потом, что Союз писателей на улице Воровского был в этот день как бы штабом, куда поступали сведения от посланных информаторов об обстановке в Переделкине. И эта обстановка скандала даже на похоронах нравилась мне, как понравилась бы она, может быть, и самому Б. Л. И будучи мертвым — он не давал им покоя. То-то «они» понервничают.

Но вот музыка прекратилась, из дома вышли последние прощавшиеся. «Должны остаться только свои, семья прощается», — говорили вокруг. Потом сыновья с близкими друзьями вынесли гроб. Толпа была так велика, что, бросившись вслед за гробом, сломала на своем пути кусты георгин и роз, сдвинула ограду. Меня как-то смяли, куда-то оттолкнули, я потеряла маму. Видела, что гроб несут уже другие. Кома и Митя в том числе. Кортеж двинулся по дороге, идущей несколько в обход, а я пошла прямо через поле, потом вброд через речку.

Арий Давидович, зав. погребением в Литфонде, выбрал прекрасное место. До самой своей смерти он гордился этим холмом под тремя соснами, откуда видна и церковь, и окна дачи, особенно, когда они освещены заходящим солнцем, и дорога на станцию. Здесь очень покойно, но это не какое-нибудь кладбищенское захолустье — дорога внизу, и речка, и близость действующего храма — все это жизнь, ее шум, приглушенный чуть-чуть высотой и отдаленностью. Под крайней сосной уже была вырыта могила, около нее стояли люди, среди них помню З. А. Масленникову. Зажатая где-то метрах в двадцати от могилы, я не в силах была пробиться к гробу и могла только слышать, что происходит. А матери повезло. Нанка, с ее гениальной ловкостью, взяла, как потом вспоминала мама, «меня своей лапочкой» и провела сквозь почему-то расступившуюся толпу к гробу. Так они простились еще раз.

Кто-то начал говорить. Я догадалась, что это был Асмус. Ужасно резанули слова: «траурный митинг… считать открытым». Но вообще он сказал хорошо, упомянув, правда, о «временных, случайных ошибках». Говорил и о демократизме — видимо, вдохновленный плачущей нашей деревней. Потом Голубенцев читает: «О, знал бы я, что так бывает…» Кто-то плачет. Потом

вдруг трезвые, назойливые голоса: «Опускать, опускать, сюда веревку, закрывайте!» Стук молотка, молчание, тяжелое дыхание, сморкание и стук земли, незабываемый стук — комья земли о крышку гроба.

Но этим все кончиться не могло, это было ясно. В могилу полетели цветы. Я сама бросала что-то через головы впереди стоящих. С разных сторон послышались крики: «Довели до смерти, и похоронить не дают». Какой-то подозрительный толстяк демонстративно выбирался из толпы, ворча: «Похороны кончились, теперь начинается демонстрация». Я была зажата между двумя элегантными девушками, принадлежавшими к кинематографической элите, — дочери комедиографов — они недовольно переглядывались через мою голову. Одну из них я немного знала, знала и она о моей причастности, и поэтому обратилась ко мне: «Зачем этот скандал? Неужели нельзя по-человечески?» И обе они стали выбираться из толпы.

И тут же раздался голос, читавший «Гамлета» и как бы открывший вторую, «незапланированную» часть «митинга». Это был голос М. Поливанова, и в обычной жизни звучавший несколько необычно, слишком проникновенно и надломленно, а тут, на волне горя, поразивший меня своим надрывом. Потом — в этом точно я не уверена, но судя по голосу это был именно он, — В. Шаламов прочел «Август». «Август» этот день звучал над могилой пять или шесть раз. Потом незапланированные ораторы стали брать слово.

Спустя много лет в воспоминаниях А. Гладкова, умных, талантливых и достоверных, я прочитала описание похорон и выступлений, совершенно отличное от картины, сложившейся у меня. Он тоже счел за благо не присутствовать при «стихийном митинге», так как, пишет он, «начинало попахивать провокацией».

Кто-то, назвавшись рабочим, видимо, навеселе, стал благодарить Пастернака от имени рабочего класса и т. д. Действительно, такое выступление было, и среди многих других оно почему-то запомнилось мне, но как раз своей непосредственностью, неожиданностью. Может быть, это был кто-то из обслуги писательского городка, водопроводчик или монтер, может быть, он и выпил по случаю, но от этого провокацией его речь не стала. Конечно, это звучит странно — «от имени рабочего класса, наше тебе пролетарское спасибо, Борис Леонидович», — но на волне той наэлектризованности мы приняли его как должное. И конечно, также необычно было выступление незнакомого молодого человека, тихим голосом семинариста говорившего о христианстве Пастернака, служившего делу объединения братьев, и что-то «о бисере его таланта, не

пропавшем в пустыне мира…». Кажется, это действительно был студент духовног Академии, полюбивший евангелические стихи романа, а больше почти ничего не знавший. Могло ли это быть провокацией?

Время шло, толпа редела, вокруг могильного холма теснилась в основном молодежь, наперебой читавшая стихи. Пожилой человек, худой, болезненный, маниакально исправил каждое неверное слово. Оставшиеся делились на знающих и любящих поздние стихи, видимо открывших для себя Пастернака только в 1954 году после подборки в «Знамени» (они и по виду и по возрасту, и по солидности как-то отличались), и на знающих назубок все раннее — молодежь в основном. Совсем юная девушка читала «Грудь под поцелуи…», в двух местах замялась. Худой мужчина нервно поправил ее. Его попросили прочесть. Как сейчас, помню его высокий срывающийся голос: «За окнами давка, толпится листва, и палое небо с дорог не подобрано…"

В этот день многие строки звучали вдруг совершенно особенно — например, это стихотворение, совсем, казалось бы, простое, но вдруг обретшее глубочайший второй план. И все понимали это, словно какой-то заговор понимания был между собравшимися. Не говорю уже о стихах патетических — об «Августе», который читался просто как молитва. «Не верили, считали — бредни…», «Памяти Рейснер», «Красавица моя, вся стать…» с его потрясающими строками — «Талон на место у колонн в загробный гул корней и лон…» и, конечно, «Упрек не успел потускнеть…».

Я, как сейчас, слышу голос Юры Гальперина, которому тогда было 17 лет. (Боже мой, и он уже умер!) Он читал лучше всех, и его без конца просили продолжать. Рядом с ним стоял юный румяный Саша Сумеркин, его друг, и Гарик Суперфин. (Этой зимой они побывали у Б. Л. на даче, он отметил их увлеченность, открытость — к нему не так-то много ходило школьников!) Юра и Саша держались за руки, «будто Гете и Шиллер», как сказал потом Жорж, когда мы вспоминали этот день.

Уже вечер, похороны, начавшиеся в два, затянулись до семи. Никому не хотелось уходить. Я так устала, что села на какой-то заброшенный могильный холм, испачкала юбку, кто-то подошел ко мне, помог отряхнуться. Все это как будто мелькнуло у меня перед глазами. И хотя люди оставались у могилы, мы пошли в деревню, где по-прежнему чувствовалось недавнее возбуждение. Как во сне от усталости, от слез, виделись мне какие-то люди, которых мать собрала на поминки, пьяный мой соученик по институту, читавший «Марбург», заплаканная Люся Светловская, Марк Семенович, Юля, деловито помогавшая матери.

Мы остались ночевать в избе. Разложили оставшихся на полу. Все затихло, но мало кто спал. Вдруг, среди ночи, мама, до этого державшая себя в руках, закричала, охваченная почти пророческим предчувствием: «Ирка, что же теперь будет!»

* * *

Копившаяся гроза разрешилась ночью оглушительным дождем, первым июньским ливнем, перемежающимся зарницами и громами, ливнем благодатным, столь любимым Б. Л. когда-то. Мы вышли из избы рано — этот опустевший дом хотелось поскорее оставить. По дороге на станцию свернули к могиле — и остановились, пораженные. Гора цветов, которую мы вчера оставили увядшей и почерневшей, вспоенная ночным ливнем, зацвела и зазеленела заново. Мы сели на мокрые корни сосны и долго глядели на этот шевелящийся и как бы дышащий ворох. Было 3 июня 1960 года.

А когда мы под вечер этого же дня вошли в свою московскую квартиру, нас встретил истерический телефонный звонок.

— Где вы пропадаете? Звоню вам целый день! — Это был тот самый Г. Хесин, столь активно опекавший мать в нобелевские дни и почему-то вдруг вновь возникший. У него дело, которое мы лишь в сумятице того дня могли принять за спешное: в Союзе писателей хотят ознакомиться с пьесой на предмет рекомендации ее к изданию, и вот сейчас, вечером, на следующий же день после похорон, к нам выезжает К. Воронков, чтобы на месте ее прочитать и сказать свое мнение. Хесин просит мать приготовить пьесу, чтобы не задерживать Воронцова. Нет-нет, нужен именно оригинал, копии никого не убедят.

Мы были потрясены такой внимательностью. Мать, ожидавшая последнее время неприятностей, — ведь теперь Б. Л. не охранял нас своим именем! — распихала кое-что из писем, рукописей и деловых бумаг по знакомым. Она тут же доверчиво побежала к соседке, которой была отдана на хранение рукопись пьесы, при' несла ее, положила на стол и с чистым сердцем стала ждать комиссию. Однако какие-то неясные подозрения все же шевелились на дне души: а вдруг — конфискуют? Кто докажет, что рукопись принадлежит ей? Ведь — кто она такая? И лишь комплекс неполноценности в данном случае помог матери, победив всегдашнее простодушие и чудовищную непроницательность. Если конфискуют, нужны свидетели, что конфисковано именно у нее. Она бросилась звонить — Банниковы, оба партийные, безупречные, жили недалеко и через

десять минут были уже у нас.

А еще через пять минут звонок — на пороге Хесин и с ним полный брюнет армянского типа. Воронкова нет и в помине. Все становилось на свои места. — Это товарищ из Союза, ему передайте пьесу, он посмотрит, — сказал Хесин. Товарищ из Союза взял рукопись, сел в стороне и стал небрежно ее перелистывать. Свидетели скрылись в кухне. Мать, Хесин и я с Митей ушли в другую комнату, чтобы не мешать товарищу читать.

— А что же Воронков не приехал? — спросила мама с беспокойством. Хесин нервно и беспричинно улыбался. Товарищ из Союза недолго просидел над рукописью. Через несколько минут он вошел к нам — в руках у него ничего не было.

— Спасибо, Григорий Александрович, — обратился он к Хесину. — Можете быть свободны.

А потом просто, доверительно и по-деловому, сообщил нам, что поскольку КГБ стало известно, что западными издателями объявлена награда в 100 000 долларов тому журналисту, который раздобудет последнее произведение Пастернака, то в общих интересах пока сберечь рукопись в действительно надежном месте — «а не у вашей соседки» (мы вздрогнули: следят!). Разумеется, это мера временная, пока не стихнет журналистский ажиотаж, пьесу действительно со временем будет читать комиссия, и станет вопрос о ее публикации — но в первую очередь на родине. Чтобы не получилось повторения непатриотической истории с романом. КГБ решил прийти на помощь слабой женщине, которой самой не устоять против армии «рыщущих по Москве» (его слова) журналистов.

Мать пролепетала что-то насчет «последнего дара», «памяти», но ей было сказано, что все это принадлежит ей, у нее одной будет право приходить в их архив и работать над рукописью, если ей захочется. В скором времени пьеса будет ей возвращена. Мама сказала, что хочет посоветоваться с детьми. Мы с Митькой переглянулись: напряжение последних месяцев, подъем, пережитый вчера на похоронах, заряд бесстрашия, который получали мы всегда от Б. Л., сознание, что сейчас мы можем сделать что-то для его памяти, воодушевило нас. Мы твердо сказали, что мы против, что сами сумеем сохранить пьесу и распорядиться ею в соответствии с волей Б. Л. Под конец мы потребовали у брюнета документы. Он охотно показал нам свое удостоверение — фамилия совершенно тривиальная — Кузнецов или Ковалев.

— Хорошо, сейчас с вами поговорит другой товарищ.

Неизвестно каким образом, без звонка, в квартире появилось

еще двое мужчин. Один из них — высокий красивый блондин, с черными кругами на бледном лице, с наглыми светло-синими глазами, еще не раз попадется на нашем пути. Они с тем же спокойствием, что и Ковалев, объяснили нам сложность обстановки, сказали, что понимают «чувства детей», но что возражать в данном случае совершенно бесполезно. — Можете поверить, — сказал под конец блондин, — что за дверью стоят еще шесть человек.

Мама прошептала, что она хотела бы получить расписку. «Вы сами понимаете, — отпарировал блондин, — что мы такая организация, которая расписок не дает. Вот вам телефон, по которому вы сможете всегда с нами связаться». И он собственноручно записал в книжку матери свои координаты. Предупредив нас, что в наших интересах не предавать происшедшее огласке, они дружески протянули нам на прощанье руки. И только тут мы с Митькой взяли маленький верх — демонстративно спрятали свои за спину. Но они не настаивали и, казалось, не заметили нашей невоспитанности. Дружелюбно улыбаясь, они покинули нашу квартиру. В дверях кухни метались потные лица непригодившихся свидетелей. Операция «провести на мякине» прошла на редкость корректно и в сильно сжатые сроки.

Ну а что же бедные воробьи? Кое-как они все-таки сопротивлялись. На другой же день я шепотом и знаками (магнитофоны теперь мерещились нам в каждом стуле — что и было правдой) оповестила Жоржа о происшедшем. Мы решили поскорее зарегистрироваться, думая, что это сможет послужить гарантией неприкосновенности, ибо кончался срок нашей «охранной грамоты». Это было ясно. А мать, уведя Г. Шеве в сумерках в совершенно сквозной переделкинский лес, вручила ему машинописную копию пьесы, с тем чтобы он немедленно отправил ее в Германию и поместил в сейф до особого распоряжения. Но знакомый переделкинский лес в этот вечер вел себя как-то странно — как вокруг Макбета, вокруг матери оживали деревья, и когда она пошла проводить Шеве к станции, несколько кустов вдруг тронулись с мест и поползли по краю дороги, а одно такое перекати-поле так и сопровождало бедного нашего приятеля до самого вагона электрички.

К нам зачастили электромонтеры и водопроводчики, особенно же — телефонные мастера; кто-то постоянно менял в щитке над нашей дверью пробки, оперуполномоченный выяснял у нашей няни биографии ее прежних хозяев, у которых она служила 15 лет назад, телефон наш отключался вдруг на целые часы, подружек моих вызывали на Лубянку и расспрашивали о чем

угодно, только не обо мне, — одним словом, не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что беда уже за воротами. Мать гнала от себя эти мысли — несколько раз звонила по оставленному телефону и ходила в назначенный час на Лубянку, где в «библиотеке» ей выдавалась рукопись пьесы, и она могла работать над ней. Кажется, она перенесла правку в один машинописный экземпляр — и все. Но с ней были изысканно любезны, уже знакомый блондин интересовался здоровьем, работой, и страхи ее рассеивались.

Но вот та самая беда, которая десять лет назад валила в наши распахнутые ворота, вошла в них снова. Смерть Б. Л. потянула за собой столько других смертей, страданий, разлук и катастроф.

Брак мой не состоялся. Конечно, только роком можно объяснить то обстоятельство, что 20 июня, когда наш брак должен был быть официально зарегистрирован в ЗАГСе Куйбышевского района Москвы, Жорж лежал с тяжелым приступом кожной болезни в Боткинской больнице. А может быть, все-таки не только роком? Все чаще я думаю теперь, что и болезни в нашей «стране чудес» не случайны, тем более — заразная, инфекционная, которой он и заболел. Вернее, приступ уже прошел, он мог ходить и умолял врачей отпустить его на два часа из больницы, но они проявляли совершенно непонятную твердость; он хотел уйти из больницы совсем под расписку — его опять не выпустили; и, наконец, когда он решил убежать через окно, и я принесла ему рубашку, джинсы и тапочки, у дверей его бокса посадили специального дежурного, который прямо заявил ему: «Попробуешь бежать — поймаю и вздую».

Через десять дней, когда роковой день был позади, его наконец-то выпустили, взяв расписку, что больница не несет ответственности за его жизнь. Но время было безвозвратно потеряно. 10 августа кончался срок его визы. Стипендию ему дали, правда, на год — то есть еще на два месяца, и не было случая, как уверял Жорж, чтобы на эти два месяца не продлевали и визу. «Не было, так будет!» — твердо сказала Аля в ответ на наши проекты. И она оказалась права. Но мы все-таки подали заявление еще раз, в ЗАГС другого района, и регистрация была назначена на 20 августа.

А 6 августа к нам явились наши будущие «подельники», дьяволы-искусители, и в этот именно день, как скоро выяснилось, на скрижалях нашей судьбы твердая рука Руденко провела решительную черту. В этот день был подписан ордер на арест матери, сам же арест произошел 16 августа.

Появлению «подельников» предшествовала некая предыстория. Еще при жизни Б. Л. между первым посланцем

свободного мира Серджио Д'Анджело и взявшим в свои руки все дела издателем Фельтринелли произошел конфликт и завязалась тяжба. Серджио посылал через своих эмиссаров Гаритано бесконечные жалобы на Фельтринелли, требуя и своей доли в прибылях, обзывая последнего жуликом, вором, бандитом и пр. со всей итальянской страстностью.

Наконец он — для того чтобы основать свое дело, попросил у Б. Л. «в долг» сто тысяч долларов, с тем чтобы вернуть их вещами, советскими деньгами, книгами. Сначала Б. Л. растерялся. Но его материальное положение было весьма сложным, о колоссальных суммах «там» строились лишь догадки, а тут, на руках, ведь ничего не было. Наивность его действий, конечно, поразительна. «Олюша, ну куда же мы положим такие деньги?» — горестно советовался он с матерью. «А вот в этот чемодан», — отвечала еще менее искушенная мать, и они успокоились. Серджио получил доверенность на сто тысяч, и время от времени стал посылать нам — то пальто, то шубы, то пишущую машинку.

Мать вошла во вкус и начала засыпать Серджио просьбами — туфли, кремы для лица, галстуки. Копии ее писем затем заботливо были подшиты КГБ в дело. Там фигурируют и «галстуки с курами», и кофты, и знаменитая нейлоновая шуба для меня. Были и деньги. Однажды весной, в I960 году, Гаритано позвонил и попросил меня прийти на почтамт. Мы пошли вместе с Митей, думая, что там нас ждет очередное пальто или книги, которые надо будет тащить. Однако Джузеппе передал нам чемоданчик. Эта встреча в холле Кировского почтамта, унылый Гаритано, протягивающий мне потертый черный чемоданчик, Митька, болтающий ногами на скамейке, превратились в обличительные фотодокументы. Мы принесли чемоданчик домой, открыли — там было 150 тысяч (старыми) деньгами. Б. Л. им чрезвычайно обрадовался. Дал на хозяйство Зинаиде Николаевне, Леня купил себе машину, да мало ли у него было материальных обязательств.

Затем последовала и окончательная расплата. Почему Серджио оказался столь исправным должником? Увы, об этом нам рассказали лишь органы КГБ, и эта горькая правда уязвила нас, конечно. Готовилась денежная реформа в СССР, о чем мы, разумеется, не знали, но знали там — на черной бирже, где скупались по дешевке старые советские деньги, был по этому поводу настоящий бум. Поэтому-то и спешили так скоропалительно расплатиться. И выглядело это благородно — после смерти Б. Л. поддержать непризнанную вдову, которой отказано во всех наследственных правах на родине! Супруги Бенедетти взяли на себя опасную миссию. Как удалось им

провезти на своем автомобиле через границу остаток этого долга, составляющий 500 000 (старыми)? Это какая-то таможенная загадка.

Явившись к нам — оба они, взволнованные, красные, мешая итальянский с французским (я присутствовала на встрече как переводчик), — передали матери еще больший чемодан. Это было у нас в Потаповском. С криком «Ридо», «Ридо!» они указывали на окна. Я решила, что им темно, и стала послушно отдергивать занавески. Они заломили руки в отчаянье. Оказывается, наоборот — «ридо» были никуда не годны. Просвечивали. Наивные Бенедетти, они опасались любопытных взоров соседей, в то время как из-под каждого стула на них был нацелен глаз и ухо совершеннейшего из аппаратов. За стулья, конечно, не ручаюсь, но уж телефонные аппараты и щитки с пробками — наверняка. Бенедетти страшно спешили — им не терпелось избавиться от крамольного чемодана. «Я вам должен объявить, — говорил супруг, — это деньги Серджио, долг. Фельтринелли — вор, вор, вор, он вас ограбил! Ваш друг, Серджио, помогает в трудную минуту!» С этими криками — «волер, волер!» они открыли чемодан. Нашим же изумленным взорам открылись толстенные пачки денег, скрепленные иностранными булавочками, уложенные тремя рядами в большом дорожном чемодане. Чемодан они оставлять, конечно, не решились. Мать машинально переложила эти скрепленные пачки в сумки и чемоданчик, и мы распрощались.

Дальше все помнится как в тумане. Мама поставила сумку под кровать, остальные пачки разнесла трем своим подругам. Часть — маленькую — мы дали Полине Егоровне. Сыпались советы — купить загородный домик, поехать на курорт. Но куплен был лишь платяной шкаф (полированный!), через два месяца под моросящим осенним дождем вынесенный из нашей квартиры судебными исполнителями.

События двух последних недель моей вольной жизни были столь тяжелы и стремительны, что я плохо следила за продвижением чемоданчика. К тому же у Жоржа кончалась виза. Он целыми днями пропадал в посольстве, где все — и советники, и консул, и сам посол — уверяли его, что продлить визу удастся. Советник обращался в наше Министерство иностранных дел, резко ставил вопрос, заявляя, что отказ будет рассматриваться как «акт недоброжелательства в отношении Франции». Там не говорили ни да, ни нет. Каких-то ответственных людей все время не оказывалось на месте — «Время отпусков, вы понимаете». К нам же за неделю до отъезда заявился участковый милиционер, интересуясь, не проживает ли у нас кто-нибудь без прописки.

Жорж показал ему свой паспорт, сказал, что мы скоро регистрируемся, что ему обещано продление. Милиционер ушел, сказав, что придет 10 августа (в этот день кончалась виза).

Что творилось с нашим телефоном! Отключался на целые дни, подключался к каким-то учреждениям, из нашей квартиры не выходили незваные мастера. В отчаянье мы послали телеграмму Хрущеву, находившемуся в это время на юге на отдыхе.

И опять эти болезни! На этот раз я. То ли болезнь Жоржа была заразной, то ли нервное переутомление последних недель дало себя знать, но я очень серьезно заболела и не могла ходить. «И что это вы все время болели? — возмущался потом мой следователь. — И болезни-то все какие… Совесть, небось, была нечиста». Я была вся — с ног до головы — обмотана бинтами, матери приходилось каждый день менять их, обмазывать меня мазями. Совершенно лишилась сна. Я не смогла даже поехать провожать Жоржа на аэродром 10-го, когда ему все-таки пришлось улететь. Улетал он, конечно, с надеждой, что там, во Франции, добьется разрешения вернуться, что мы распишемся и я уеду с ним.

Его провожали мама и М. Мервин, англичанин, друживший с ним еще с Оксфорда. Я знала, что самолет летит днем. Однако вернулись они поздно вечером, притихшие. Я поняла, что, видимо, решили не расстраивать меня и что-то скрыть. Потом Мервин все-таки рассказал: Жорж простился с нами и прошел за стеклянную дверь, разделявшую наши два мира. С ним вместе прошла и жена советника, наш друг — Элен де М. Прощаясь с Жоржем, — вещи его уже осмотрели — она дала ему несколько финских крон (в переводе на наши — старые — деньги 11 рублей, т. е. 1 рубль 10 копеек — новыми, что и было указано в акте, который я прочла после следствия), чтобы он позвонил мне, как мы договаривались, из Хельсинки, где самолет делал часовую остановку. Время взлета прошло, а самолет не тронулся с места, Жоржа тоже не было видно.

Через час по радио объявили, что самолет на Париж задерживается «по вине одного пассажира на неопределенное время». Наивные мать и Мервин! Они были в восторге. Они решили, что это — результат нашей телеграммы Хрущеву, что Жоржа оставят, что и визу ему продлили. Однако Элен разрушила их иллюзии — у самого трапа Жоржа остановили, вернули в аэропорт, обыскали, нашли кроны, составили акт о контрабанде. «Жених-то ваш, — говорил мне потом следователь, — оказался контрабандистом. 11 рублей или 11 тысяч — роли не играет. Теперь-то ему трудно будет еще раз приехать. На него уже

заведено дело, и не мы — нам-то что! Таможенные органы его не пустят».

16 августа мама купила пресловутый полированный шкаф. Ей хотелось заняться устройством дома, чтобы заполнить свой, зиявший непривычной пустотой досуг, чтобы как-то употребить эти свалившиеся деньги. Она все мечтала о памятнике на могиле. Но кто бы допустил ее тогда, когда были живы две законных жены, до хозяйничанья на могиле!

Итак, был куплен новый шкаф, а старый наш гардероб, времен первой мировой войны, повезли на дачу. Мама заказала грузовое такси, просунула в дверь моей комнаты свое все еще очень хорошенькое личико: «Пока, Ирка, лежи, не вставай. Часов в пять вернемся». И уехала.

Я увидела ее лишь через три месяца, на очной ставке, старую, опухшую, с красными глазами. На ней болтались ее любимая итальянская кофта, руки дрожали, она затравленно взглядывала на своего следователя — все ли так, не осерчает ли? Он покровительственно улыбался, протягивая мне сигареты: «Курите, это наши с Ольгой Всеволодовной любимые», подчеркивая каждое слово, чтобы у меня не возникло подозрений о характере их отношений. Дружеские! И вытирал платком постоянно потевшее пухлое лицо. «Что это вы все время потеете? — хотелось спросить мне его. — Или совесть нечиста?»

Шкаф увезли. Я осталась одна, перелистывая книга — Оруэлл и еще какую-то — издательства имени Чехова, оставленную Жоржем. Я ждала в гости свою подругу, которая обещала навестить меня. В 12 часов в дверь позвонили, и я, сунув Оруэлла под халат, пошла открывать. Действительно, на пороге стояла моя бледная подружка, а за ней, заполнив всю нашу небольшую лестничную площадку, толпилось человек десять мужчин — высоких, крупных, сытых, хорошо одетых, улыбающихся. Среди них одна унылая бесцветная женщина — через две недели она внесла в мою камеру алюминиевую миску с борщом. Профессионально быстро мужчины заполнили всю квартиру — заняли все «ключевые посты». Говорили тоже быстро, по-деловому. «Вот ордер на арест Ивинской». — «Матери нет». — «Вот ордер на обыск». — «Подождите, когда мать вернется». — «За ней уже поехали». — «Она приедет сюда?» Осталось без ответа. Затем: «Пройдите в комнату, с вами побудет товарищ. Подружка пусть будет с вами. Нет, пусть подружка сидит здесь». «Драгоценности, есть?» Я показала кольцо. «Это ваша личная собственность? Оставьте. Деньги есть?» Я открыла шкаф и отдала все, что там было. Больше в квартире денег не было.

Дверь на площадку оставалась открытой. Все время

поднимался лифт, входили, выходили. Звонили к соседям. «Против понятых не возражаете?» Это были две наши соседки. Одна из них шепнула мне: «Господи, чего они от него теперь-то хотят?» От него? Тут и я поняла. Решили рассчитаться с Б. Л. до конца.

Я села на кровать на чеховское издание, под халатом пряча Оруэлла. Приставленный ко мне товарищ — средних лет, майор, вздохнув, остановился у книжных полок. Там лежали мои старые, еще со школьных времен, тетради, дневники, учебники — все это было в беспорядке, в пыли — до самого потолка. Много было и книг. Товарищу явно не хотелось приступать к обыску. Он надел сатиновые нарукавники, присел на корточки и вытащил мой старый — за шестой класс — дневник. «Что это вы столько хлама храните!» — недовольно пробормотал он, откладывая дневник в сторону — уже просмотренный. «Что вы ищите?» — спросила я его. «Вы разве не прочли постановление? Статья 15. Контрабанда. Контрабанду и ищем». Вспомнив «Тамань» и «Кармен», я засмеялась. «Но ведь этого не может быть! Тут ошибка. Мы и за границу никогда не выезжали, и у границы не были». «Может быть, и ошибка. Разберутся». «Значит, мать могут сегодня же выпустить?» «Могут и выпустить, но вряд ли».

В дверях появилась женщина, похожая на мышь: «Пожалуйте на осмотр». У меня внутри все оборвалось. Что делать с Оруэллом, с «чеховским»? Кроме этих двух книг, у нас в квартире были экземпляры изданного на разных языках романа, сборника стихов и прозы — но они, казалось мне, у нас в доме настолько естественны, что даже КГБ не решится их инкриминировать нам. Были, правда, и другое книги — Цветаева («Цветкова», как записано в описи изъятых вещей). Белый, Гумилев… Но я почему-то больше всего боялась за Оруэлла и вторую — «Расстрелянное поколение» (по-украински), на которой все это время сидела, и с которой теперь приходилось вставать. Страх придал мне мужества: «Но какое же право, раз у нас статья — контрабанда, уголовная, — обыскивать книги?» Майор ответил спокойно: «Вы всюду могли запрятать. И следователь имеет право изымать все, что считает нужным». «А кто здесь следователь? Я хочу с ним поговорить». «Младший лейтенант Алексаночкин. Но он сейчас у вашей матери».

Женщина торопила меня. Я встала, незаметно сунув «Поколение» под одеяло, а Оруэлла по-прежнему держа под халатом. Женщина повела меня в спальню, где громоздились уже горы книг, рукописей Б. Л. и матери. Мужчины вышли, оставив нас вдвоем. «Снимите халатик», — вкрадчиво попросила женщина-мышь. Я сняла. Под ним у меня ничего не было, кроме

бинтов, которыми я была обвязана почти по шею. «Товарищ майор, на ней бинты!» — крикнула женщина в другую комнату. Памятуя, что «мы всюду могли запрятать», майор скомандовал: «Развяжите бинты». Мышь стала осторожно разматывать мои повязки, что-то даже ласково приговаривая себе под нос: «Ничего, ничего, я аккуратненько… Да у вас уже совсем проходит… А это что за книжечка? По-немецки читаете? Сейчас я майору покажу… Он вам оставит, читайте, а то скучно ведь… целый вечер впереди…» Она понесла Оруэлла майору, скоро вернулась: «Читайте, читайте…» От удивления я даже позабыла про свой кошмарный стриптиз.

Остальной день — с небольшим перерывом на обед, который мне разогрела и подала мышь, внимательно следя, куда я отправляю ложку, — мы провели в моей комнате наедине с майором. Были и еще перерывы. «Хочу в уборную». «Настя!» — крикнул майор, и готовая ко всему Настя с тем же любезным выражением возникла у открытой двери нашей уборной: «Не надо, не закрывайте… так положено…»

Было уже шесть часов вечера, а майор добрался лишь до третьей полки. Он явно томился. Хотел вступить в разговор. Пользуясь завязавшимся контактом, я все старалась выяснить, что грозит матери, почему такое обвинение и т. п. Но он довольно ловко уходил от вопросов. Чувствовалось лишь, что матери он как бы сочувствует, считая, что ее погубил Пастернак, с которым она по легкомыслию связалась. «Молодая женщина, чего она нашла в нем? И ведь женат был». Его доверие ко мне росло. Подойдя ко второму шкафу, он пронзительно взглянул на меня: «Скажите, запрещенного здесь ничего нет? Дадите честное комсомольское?» «Я не знаю, что вы считаете запрещенным, — мстительно сказала я. — Ищите сами».

Часов в восемь стали опечатывать двери, составлять вновь поразивший меня акт о «наложении печати», отпустили мою измученную подружку, понятых. Заправлял всем появившийся Алексаночкин — пухлый, с одышкой, молодой еще человек — по лицемерию и цинизму единственный в своем роде, с кем мне приходилось встречаться в тюрьме. Представитель «новой» школы — юрист с образованием, любящий и о литературе поговорить, и кокетливо сравнить себя с Порфирием Петровичем. Представитель «психологического» метода — действительно, он знал, на каких струнах играть, и в случае с моей матерью провел все дело блестяще, внезапно переходя от кнута к прянику и представив себя в глазах оболваненной подследственной ее единственным защитником. Их патологический контакт потряс меня на очной ставке.

Уходя, Алексаночкин бегло давал указания: «Телевизор, холодильник не продавайте. Завтра утром будьте дома».

К ночи вернулись с дачи измученные, потрясенные Полина Егоровна и Митя. У бабушки, несмотря на ее протесты, забрали все деньги, у матери ее любимую синюю сумку, где она хранила рукопись второй части романа. Итак, все посмертные дары Б. Л. — и пьеса, и роман уплыли по своему таинственному назначению. Полина Егоровна увела меня на кухню: «Не горюй, Ольга Всеволодовна перед отъездом шепнула, что деньги есть — и на адвокатов, и на жизнь. У соседки». Мы спустились на две площадки, позвонили. По бледному, опрокинутому лицу тети Ани все было ясно без слов. «Были, были ухе, сразу к дивану, как знали».

Я пробыла на воле 20 дней. С 16 августа по 5 сентября. Это были неимоверно тяжелые дни. Мы изо всех сил старались «жить»: утром варили кашу, пили кофе, завтракали между двух опечатанных дверей. Прислушивались к поднимающемуся лифту — около девяти появлялась «бригада» и понятые — всегда разные. Начиналась работа — акт о снятии печати, бесконечные описи — писем, книг, кофт и шляп — обеденный перерыв, опять описи, опять акт о наложении печати. И это почти каждый день! Иногда вызовы на Лубянку — Мити, Али и, наконец, меня. Один раз мы с Митей отвезли матери передачу в Лефортово: принимавший передачи добродушнейший старичок раскритиковал принесенные нами деликатесы, велел купить колбаски, хлеба, консервов. На лишние полкило он не обратил внимания — либеральнейшее время!

Я не могла отказаться от потребности сопротивляться. Может быть, это и определило мою судьбу. А сиди я тихо, как мышь под метлой, гроза пронеслась бы над моей головой? Сомневаюсь. Тем не менее, попытки мои кончились неудачей. Просто по пятам за мной ходил выводок мужчин в белых плащах, свивших гнездо в большом подъезде дома напротив — стоило мне выйти на улицу, как они, даже не особенно маскируясь, высыпали из парадного и двигались на почтительном расстоянии, точно повторяя мой путь. Я внезапно останавливалась, поворачивалась, шла к ним — хотелось посмотреть в лица — они застывали у газет, ловко уклонялись. С этой свитой я два раза доходила до телеграфа и поднималась на второй этаж, где находился международный переговорный пункт. Один белый плащ ждал меня у выхода, другой поднялся вместе со мной в холл.

Я дала телефонистке номер телефона Жоржа и попросила соединить меня. Телефонистка попросила обождать. До часу ночи ждала я вызова в уютном кресле холла, пока, наконец,

телефонистка не объяснила мне, что в Германии гроза, повалены какие-то столбы, и связи не будет.

Тогда я пошла на телеграф и дала Жоржу телеграмму с просьбой позвонить мне домой. Телеграмма дошла. Он позвонил на другой день. Мне нужно было бы сразу сказать ему о матери, но я машинально отвечала на вопросы о здоровье, о судьбе нашей телеграммы Хрущеву. А как только он сам спросил о матери, разговор оборвался. До сих пор я не совсем понимаю странную страусовую политику наших органов: неужели они надеялись сохранить все в тайне? Зачем нужно было им, когда и я уже была арестована, фабриковать подложную телеграмму из Гагры — с телеграфным номером, печатью, всем, чем положено, и заставлять Митю предъявлять ее неожиданно приехавшему Д'Анджело? «Отдыхаем хорошо все порядке Ира мама 10 сентября 1960 года».

Была я за эти дни и у адвоката. Председатель московской коллегии В. А. Самсонов согласился взять дело и всячески утешал меня: состава, мол, нет никакого, безусловно, ограничатся высылкой или штрафом, до суда не дойдет. Я познакомилась с этой статьей и облегченно вздохнула — максимум восемь лет! Господи, какие пустяки! Так что перед следственными органами я предстала уже во всеоружии знания уголовного кодекса — не то, что бедная мать, которая, когда Алексаночкин кричал ей: «Накануне реформы вы наводнили страну обесцененными деньгами! Да вы знаете, как карается такое преступление?», — прошептала: «Расстрел?»

И все-таки было очень страшно. Казалось, что все кодексы, социалистические законности — это для разговора за чайным столом, а тут, в серых стенах Лубянки, другое измерение, и когда мой следователь, капитан Коньков, подходил к маленькому столику, за которым я сидела на допросах, с железной линейкой в руках, я вся вжималась в стул.

Пятого сентября к 10 часам утра меня вызвали на второй допрос. И в это утро я тоже старалась «жить»: выпила кальций, который мне полагался, съела тарелку геркулесовой каши, надела плащ и, позабыв мудрейший совет Али:

«Идя на допрос, надевай побольше штанов и бери побольше денег», отправилась. Что-то вдруг как бы толкнуло меня на пороге, я обернулась и почему-то поклонилась остающимся дома Полине Егоровне и Мите.

Пока я проделывала весь этот недолгий путь от Потаповского до Лубянки, у меня не было никаких четких предчувствий. За эти двадцать дней безуспешных попыток, актов и обысков, самообольщений и отчаянья я так устала, что не будет кокетством

признать, что, когда пресловутые, легендарные, огромные, железные двери, отделявшие «светскую» Лубянку от монастырской, тайной — внутренней тюрьмы, со знаменитым скрипом и лязгом захлопнулись за мной, я почувствовала облегчение. Не надо больше ничего делать. Теперь все пойдет само собой. И состояние стресса, в котором я провела последние 20 дней, сменилось легкостью и даже некоторой веселостью. О, эта необходимость действовать, как она всегда была мне тяжела!

Но облегчение это было даровано мне лишь в 8 часов вечера 5 сентября. А в 10 часов утра Алексаночкин ждал меня в бюро пропусков. Мы поднялись с ним на лифте и пошли тем же унылым казенным коридором с линялыми дорожками, по которому я один раз уже ходила и по которому — вышла. На этот раз он ввел меня в другую комнату, обставленную с той же унылостью, что и предыдущая, — какие-то вокзальные часы на стенке, занавесок нет, столы, как в домоуправлении; но — и это меня даже рассмешило — два зеркальных шкафа, которым место лишь в каком-нибудь советском будуаре. В комнате толпилось несколько человек, и ничто не предвещало того интимного, обстоятельного допроса, что был в прошлый раз. Мне предложили лишь раздеться, и я повесила плащ и сумку на затрапезную вешалку. Вдруг Алексаночкин повернул ключ в дверце зеркального шкафа, вошел в него и исчез. За ним вошли и остальные, в том числе я. Шкаф представлял собой недлинный коридор, ведущий в просторную многооконную комнату, обставленную со всем бюрократическим шиком — гофрированные занавески, длинный полированный стол со стульями, а в стороне, довольно далеко от стола — одинокая маленькая табуреточка — для меня. Чтоб не за одним столом. И вот за этот стол уселось около двадцати солидных, весьма в возрасте, крупных, хорошо одетых мужчин и важными, суровыми голосами, с полным сознанием ответственности своей работы, стали задавать вопросы 20-летней, не очень умной и растерявшейся от «перекрестного метода» «контрабандистке». Руководил всем, как я потом прочла в стенограмме, — генерал-майор Чистяков. Спрашивали меня о том, что я собиралась делать в жизни.

— Вы неплохо обеспечены, учитесь в советском вузе. Чем объяснить ваше недовольство советской властью?

— Что вы собирались делать за границей, выйдя замуж за гражданина Ниву?

— Знали ли вы о том, что ваша мать занимается контрабандой? Привлекала ли она вас?

— Знал ли Пастернак о преступных действиях Ивинской?

Последний вопрос застал меня врасплох. Я чувствовала себя ответственной перед памятью Б. Л., нужно было не дать им возможность поливать его, лишь три месяца назад умершего, новой грязью, отвести от памяти его нависшую опасность разоблачения — за долларом-де тянулся… И все-таки: при обыске они взяли копии контрактов и писем, подписанных им, а может быть, даже получали через Гаритано и подлинники — правдоподобно ли было приписывать матери всю эту деятельность? Я сказала: «Знал, но не считал эти действия преступными».

— Тогда почему же он нелегально вел свою переписку?

— Легально, я сама отправляла на почтамте много писем…

— Зачитайте протокол.

Алексаночкин полистал лежавшие перед ним бумаги. «На допросе от 16 августа ваша мать показывает… на допросе от 20, 22, 27…» И пошло, пошло… Имена, даты… «Диппочта посольства ФРГ отправляется в четверг, в этот день Шеве…» «Жорж Нива, жених моей дочери…» Вопрос: знали ли ваши дети о ваших преступных действиях? Ответ: да, мои дети, Ирина и Дмитрий, знали о моих преступных действиях. Вопрос: знала ли А. С. Эфрон о ваших преступных действиях? Ответ: да, А. С. Эфрон знала о моих преступных действиях… И так далее… Бедная доверчивая мама!

Прошедшая Алину школу, я все-таки попросила: «Покажите мне протоколы». Алекса-ночкин с большой готовностью перелистал их под моим носом: в конце каждой страницы красовалась жалкая, беспомощная закорючка, сердце сжималось, глядя на нее, — «ОИ».

— Настаиваете ли вы теперь на своих первоначальных показаниях? Вы действительно не знали о преступных действиях своей матери?

Я машинально повторила: «Нет, не настаиваю. Знала, но не считала эти действия преступными».

Впрочем, что бы я ни сказала, это уже не имело никакого значения. На вокзальных часах было всего 11, когда меня — через тот же шкаф — привели обратно и посадили в клеенчатое черное кресло как раз под этими часами. «Обождите нас», — сказал мне Алексаночкин, и двадцать толстых, сытых, здоровых мужчин с деловым видом решительными шагами прошли мимо меня и захлопнули дверь. Я осталась наедине с дежурным, единственным встреченным мною в этих стенах за все время евреем. Ему время от времени звонили, он брал трубку: «Левенштейн слушает». Съежившись в кресле, прилипнув к его клеенке, я, как в полусне, следила за стрелкой на вокзальных часах: 12,1, 2… Я

пошевелилась, отлепляя от клеенки затекшую ногу, дежурный подхватился: «Вас сейчас отведут». Он куда-то выглянул, кого-то окликнул, и две дамы в джерси поманили меня, повели по коридору и буквально вместе со мной втиснулись в какую-то дверь: оказалось, уборная. На часах было 5, когда дверь — не шкаф, а входная, ведущая в коридор, распахнулась, и мужчины, беседовавшие со мной утром, почти строем вошли в комнату, и по улыбкам, одинаково расцветшим на их лицах, я поняла, что все — отсюда не выйти.

Алексаночкин весь лучился: «Решено вас арестовать. Прокурор подписал ордер, мы только что от него. Распишитесь, что он вам предъявлен. Да вы не волнуйтесь!..»

Я не сразу отлепилась от кресла и ошеломленно смотрела на услужливо подсунутую бумагу.

— Вот здесь, да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь!..

* * *

Столько лет прошло уже с того страшного августа, а я до сих пор не могу понять — почему все-таки нас арестовали? Аля Эфрон, старый лагерный волк, была категорична: «Хотели завладеть архивами». Ну, во-первых, у нее была, как известно, архивная мания — ей казалось, что нет ничего важнее, чем рукописи Цветаевой или Пастернака, ради них совершаются государственные перевороты. Во-вторых, разве не могли «они», припугнув нас, добиться выдачи архива, как удалось им сделать с рукописью пьесы? Ведь они знали, как растеряна и уязвима мама, оставшаяся одна. Может быть, наш дом продолжал оставаться у них бельмом в глазу — и после смерти Б. Л. — встречи, иностранцы — «клуб»? Деньги? Мама своими руками отнесла бы им этот чемодан и дала, какие угодно, подписки о прекращении всяких денежных поступлений. Хотели задним числом представить Б. Л. корыстолюбцем, вывалять в грязи, а то ведь — два года получал из-за границы деньги и остался безнаказанным? Но по тому, как «они» повели следствие, казалось, что они хотят выделить, отчленить Б. Л. от авантюристки Ивинской, водившей его старческой рукой и требовавшей миллионов.

На другой день мне уже в камеру принесли стенограмму моего вчерашнего допроса. И вдруг на вопрос: «Знал ли Пастернак о преступных действиях Ивинской?» я читаю такой свой ответ: «Нет, не знал, об этом надо открыто заявить». Я указала Алексаночкину на это место.

Он засуетился: «Перепутала стенографистка, сейчас

исправим». Если «они» действительно хотели рассчитаться за деньги, то почему же совершенно в стороне осталась семья — две семьи, жившие также на эти гонорары? С них даже не снимали допросов.

Значит, не очернить Б. Л. Значит, что-то другое. Иногда казалось, что это просто — месть. Месть ему. Как же так? Жил свободно, не покривил душой, даже когда занесли над ним опричный топор, говорил, что думал, и делал то, что считал своим долгом, «ни единой долькой не отступился от лица», и — умер в своей постели! Героем! Это уже ни на что не похоже. И вот, чтобы другим не повадно было, совершается расплата, расправа — над самыми беззащитными, как им казалось. Ведь это механизм не только уничтожения, но и унижения, растаптывания — мало убить, надо вдоволь поиздеваться, ошельмовать перед всем светом, добиться жалких признаний, ползания на животе…

Мы были беззащитны. Но далеко не настолько, насколько им казалось. И эту игру они проиграли. Волны сочувствия — через три месяца после смерти поэта арестовать ближайших его друзей, его любимых — прокатились и по Москве, и по всему свету. «Они» больше потеряли в общественном мнении, даже «левом», чем выиграли, сведя счеты над могилой. Б. Л. они «прохлопали», как выразился, кажется, Поликарпов. Он ускользнул из их лап, не уступив опричнине ни в чем. Так вдогонку ему — бросить ком грязи.

Размышлять обо всем этом мне пришлось уже во внутренней тюрьме Лубянки, в камере № 82. Времени у меня хватало — вызывали не каждый день, «работали со следователем» не больше двух часов подряд — дела-то никакого в сущности не было. «Ведь вы малю-ю-юсенькая уголовница», — приговаривал Коньков, мой следователь, полуграмотный тупица, во времена Андропова, кажется, поднявшийся до звания старшего следователя Московской области. Часами лежала я на железной койке либо выхаживала по тысяче шагов, повторяя все стихи, что знала наизусть, — выручало! В сумерки было тяжело. Я давала себе отдых от чтения — безумно болели глаза от никогда не выключавшейся тусклой лампочки. Шум огромного города доносился до моего восьмого этажа приглушенными волнами, куда вдруг иногда врывалось что-то, похожее на рычание львов. Не сразу я сообразила, что это тюремные голуби, облепившие окна со стороны внутреннего двора.

Что же там, дома? На что они живут, ведь все забрали (и грозят полной конфискацией нашего жалкого имущества). А Митя? Сегодня Коньков пригрозил, что на него собирают материал. Опять этот проклятый вопрос: «А знал ли ваш брат о

преступной деятельности вашей матери?» И тот же мой умный ответ: «Знал, но не считал…» А Полина Егоровна, родная наша рыжая ворчунья, ведь выселят ее, она же прописана временно. Тридцать лет в Москве, а не заслужила право жить в столице СССР. Может, уже выгнали? Нет, по передаче, которую сегодня получила, чувствую, что она еще дома, что она ее собирала, знает, что я люблю, — зефир, морковка чищеная, буженина. А маме что передали? Иногда вечером я слышу, как она плачет, иногда громко, тогда начинается суета, топот — наверное, вызывают врача.

А за другой стенкой кто-то бормочет, как будто молится. Знаю, что находятся здесь же два американских летчика: их захватили над нейтральной территорией и даже до суда дело не дошло, слишком уж было нагло, отпустили. Коньков иногда спрашивает меня, что я читаю, остается доволен — Гоголь, Пушкин. «А вот американцы, — он глумливо хихикает, — Библию попросили!»

В камере № 82 я просидела три месяца, до суда. Судили нас в ноябре, на Каланчовке. Статья 15, контрабанда. А у меня еще какая-то — «через 17» — соучастие в преступлении. Прокурор Прошляков потребовал для мамы восемь лет, а для меня — пять. Речь прокурора, адвокатов, дурацкие вопросы судьи, коверкающего иностранные фамилии, все это тонет в радости встречи с мамой, с друзьями, ждущими уже у ворот суда. В квадратике окошка воронка, чуть въехали в ворота, вижу две родные мордочки — Нанки и Саши Сумеркина. «Ребята, ребята, — в который, видимо, уже раз бросается Нанка к конвойным, — девочку Иру не видели? Беленькая такая!» На этот раз угадала, и мы бросаемся друг к другу. И на лестнице их много, родных, славных, стараются подбодрить нас. Инесса, моя бедная, всхлипывает, но кричит что-то ободряющее. Сергей Степанович — вот что значит офицерская выправка — прямой, в огромной старомодной шубе идет навстречу, даже конвоиры останавливаются — медленно берет мою руку, целует — как даме. А где же бабушка? Ее нет, не смогла на этот раз. (После суда она пришла к нам на свидание и опять поразила бодростью, красотой — даже в шляпе была! — и находчивостью. Именно ей в рукав мама сунула написанные в камере стихи, она ловко подхватила — все-таки старая школа!) А Полина Егоровна, бледная, торжественная, в парадном китайском платке, вызванная уже в зал, как свидетель обвинения, не ушла, однако, после слов судьи: «Свидетель Шмелева, оставьте помещение», а по очереди подошла к нам с мамой, поцеловала и перекрестила.

Никого, даже Митю, не пустили в зал, даже для слушания

приговора. А «Юманите» и прочие газеты писали — «открытый суд», и Сурков на своих пресс-конференциях распинался, как все было демократично, как мастерски доказано преступление, какой мягкий и справедливый приговор.

Итак, маме — восемь лет (ей было в ту пору 48 лет), мне — три, а не пять, как просил прокурор (молодость обвиняемой приняли во внимание).

— Ничего, весь срок сидеть не будешь, — утешают конвойные.

Промаявшиеся весь день у дверей друзья бросаются к нам. ВОСЕМЬ лет? Никто этого не ожидал.

После суда везут уже в Лефортово, где мы сразу оценили добротность царской застройки — высокие потолки, в камерах много воздуха, есть туалет. Светлее. И уже по-новому, изнутри, в который раз читаю про себя и даже вслух какой-то случайной соседке:

Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло спахтан!
Эти лица, и в толпе — свои!..

Через два с половиной месяца, в конце января, в самый мороз — наконец, этап. Куда? Не добьешься ни от кого. Трясемся в пульмановском вагоне в обществе воровок, лесбиянок, бродяг и — шестерых монашек, не захотевших подчиниться Антихристу. Конвой сует в зарешеченные отсеки воду в алюминиевых кружках. Пытаемся выспросить у наиболее молодых, не обозленных — ребята, куда нас? Мама угощает одного сигаретами, он берет, обещает посмотреть дело, возвращается. Мама приникла к решетке, поворачивает ко мне недоумевающее лицо: в какую-то Тайшетию… Ехать еще долго.

Первая пересылка. Выгружают из вагона ночью. По тому, как долго маневрирует поезд, догадываемся — город большой. Из отрывочных распоряжений конвойных уясняем: Свердловск.

— А раньше-то, до Антихриста, как назывался? — тревожатся монашки, ловко подбирая длинные свои полы и клубочками выкатываясь из вагона. Через их головы конвой футболит толстые их котомки (сухарики, сухое молоко — они «монашествующие», стало быть, даже тюремную кашу с маслом — весьма условным — есть не могут), деревенские узлы — больше дюжины — они деловито ведут им счет.

— Екатеринбург до Антихриста, — говорю я монашкам. Мать Наталья кланяется своим: «С прибытием в престольный град Екатеринбург, сестры».

Топчемся на полотне. Сменный конвой неуклюже держит в толстых рукавицах «дела», развязывает тесемки папок. Опять эта идиотская процедура: имя, фамилия, инициалы «полностью»… А мороз градусов 30. Я задираю голову и смотрю на удивительное по красоте сибирское небо — созвездия ослепительно яркие, какие-то ледяные, голова кружится от их непривычного расположения.

— Стройся! Разберись! Пошли!

Мы хватаем свои мешки и пытаемся тащить их по шпалам. Но мы очень устали, замерзли — уже скоро месяц этого пересыльного кошмара — и мы отстаем от колонны. Начальник конвоя начинает дико материться. Мать не выдерживает: «Помогите нам! Девочка только после болезни! Что это за издевательство!»

— Что-о-о? Как преступление совершать — жива-здорова, а как заслуженное наказание — больна? А ну, падла…

— Сволочи, — кричит мама. — Подлецы. Да вы слышали когда-нибудь про Пастернака? «Доктора Живаго» читали? Знаете, кто такая Лара?

Я умоляю ее замолчать: «Мамочка, бросим вещи! Черт с этими мешками, не унижайся…»

— Я сейчас тебе покажу Живагу, — зловеще обещает начальник. И, обратясь к солдату: «В кандей ее. Тряхани хорошенько».

Вот наконец где-то далеко за путями наша черная птичка — наш воронок. Впихивают, вталкивают, кому-то на ноги, на колени, на головы узлы, мешки — что-то колючее около уха — ага, монашеские сухари в вонючей котомке. Монашки запевают — тихо. но стройно, надтреснутыми ангельскими голосами, выводят что-то о Христе. Или к смерти готовятся, думают, не вырваться уж из этой душегубки, у открытой пасти которой, вывалив языки, переступают лапами заиндевевшие овчарки и завязывают тесемки «дел» красномордые охранники? Нет, пение светлое, ликующее… Да, ведь завтра — Крещенье! Охрана поднимается, еще уплотняемся, мать постанывает в своем «кандее» — она отдельно, в микрокарцере того же воронка, белеет ее платок за решеткой. Трогаемся! Сейчас нам покажут доктора Живаго».

Москва, 1965

Письма А. Эфрон

Это очень умная, пишущая страшно талантливые письма несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний.

Из письма Б. Пастернака О. Фрейденберг 31 июля 1954 г.

Выбранные письма охватывают период в десять лет. Начиная с первого — еще из Туруханска, «заочного» — и до нарядных поздравительных открыток из благополучия московской квартиры они пунктиром-стежками — прошивают долгие годы нашего знакомства, скрепляют ныне уже расползающуюся от времени ткань пережитого, и оно обретает костяк. Стежки то реже, то гуще — когда события пульсировали с лихорадочной частотой: смерть Б. Л„наш арест, этапы, лагеря, хлопоты о возвращении — Аля отзывалась с той же частотой и всегда сразу же. А когда пульс становился нормальным, ее голос долетал до меня лишь изредка: «Раз не пишешь. Малыш, значит, все в порядке».

Разумеется, сюда вошли не все ее письма мне. Всякий, кто дружил с Ариадной Сергеевной, знает, сколько она писала, — вся ее творческая энергия ушла в письма. И лишь переписка с Пастернаком заслуживает быть опубликованной целиком — это действительно единый вздох, монолит, откуда слова не вынешь. Для меня они так же пронзительны, как письма Ван Гога к брату Тео — свидетельство времени, опыт человеческой верности, образец превосходной прозы. В письмах, обращенных ко мне, разумеется, нет ни этого накала, ни блеска воображения и таланта, поражающих там. Много постных нравоучений, бытовых подробностей и однообразных описаний тарусских красот. Я выбрала те, что пришлись на «вершинные» минуты нашей дружбы — а их было немало — те, в которых и участие, и сострадание, и отзывчивость еще по большому цветаевскому счету, еще не иссяк сердечный запас, еще горел огонь, гревший многих около нее, и меня, почти ребенка…

Когда в мае I960 года умер Б. Л., Ариадна Сергеевна сказала, что он, словно индейский вождь, увел за собой на тот свет жен, детей, родичей. И не только их, конечно. Стали быстро уходить люди, одной своей сопричастностью, совпадением с ним в месте и

времени составлявшие тот последний воздух русской культуры, которым еще дышалось в пятидесятые годы. И хотя Аля прожила после смерти Б. Л. еще 15 лет, это была уже жизнь архивариуса, комментатора, переводчика. Росла замкнутость, отчужденность, своего рода «окукливание». В каком-то смысле Б. Л. «увел» за собой и ее. Как рано она умерла — всего 63 года! И «вовремя», — как горько сказала на похоронах ее ближайшая подруга, спутница и страшных, и спокойных лет — А. Шкодина.

В ней было что-то от «последней могиканши» — не для нее была однообразная повседневность, уют городской квартиры, хождение по поликлиникам… Пока такие люди живы, как бы явно и необъяснимо они ни заблуждались, — есть на кого оглянуться, есть человеческий масштаб. Рядом с ней хотелось быть лучше, чем ты есть, — добрее, остроумнее, красивее. В ней было важно не что, а как — не в чем она заблуждалась, а как и как расплатилась за это. По всем счетам жизни было заплачено сполна.

Казалось, такая жизнь не может пройти бесследно. Однако прошла. Что осталось? Письма, письма, письма… («Воспоминания» такие вымученные, лучше бы она их и не писала.) Талантливой, живой, сердечной, несправедливой, трагической встает она именно со страниц писем, именно от них падает на переживших ее та «большая тень», о которой так хорошо сказано в стихах Пастернака о другой женской судьбе («Памяти Рейснер»).

Наше знакомство насчитывало двадцать лет. В 1955 году появилась она у нас в Потаповском, в маленькой квартире на шестом этаже. И Аля, и Б. Л. часто вместо Потаповского говорили Большой Успенский, как назывался он, кажется, до 1939 года. Б. Л. и конверты так надписывал: Большой Успенский, что у Покровских ворот. Ничего, доходили. В те годы бывало у нас много интересных людей — часто их переадресовывал нам Пастернак. Образовался как бы маленький веселый филиал его главной «магистральной» жизни. Приходили без звонка — телефона не было, не предупреждая о приходе даже гудением лифта — его тоже долго не было. Просто трещал дверной звонок «Прошу повернуть», на входящего кидались собаки (всегда не меньше трех), выползали урчащие коты. В проходной комнате — столовой и «пересыльной» (там ночевали освободившиеся лагерники) — умещался громоздкий круглый стол, на котором всегда огромный неостывающий чайник, на красном крохотном диване всегда кто-то досыпает. И всегда узнаешь последние новости — что Б. Л., когда будет в Москве, как с романом?.. Мама почти каждый день ездила в Переделкино. И вот с этой волной

вернувшихся «оттуда» появилась у нас и Аля — красивая, обветренная, с удивительными глазами-озерами, тогда еще не потерявшими свою лучистую синь. Даже металлические зубы ее не портили — наоборот, они как бы освещали лицо.

Аля сразу вошла в нашу жизнь, выбрала наш дом, а не основной, официальный. За эти двадцать лет наша дружба, начавшись с такой высокой ноты — она ведь была «оттуда», «крестница» Б. Л., — прошла через разные этапы. В горе Аля была с нами. Но повседневность, старость, неизменно суживающая горизонт, какие-то внутренние процессы, происходившие в ее душе и не всегда понятные мне, впоследствии отдалили ее.

Редкие звонки, редкие открытки, как с того света. И последняя вспышка былого сострадания пришлась как раз на предсмертные месяцы ее — у меня опять случилась беда, и Аля опять рванулась на помощь, как когда-то, и показалось, что ниточка, связывающая нас, не порвалась, что мы снова сядем за круглый стол и скажем наконец друг другу самое важное, чего так и не успели. Как собрались в лавчонке капитана Катая уцелевшие герои «Домби и сына». Она ведь обещала это мне во время моих этапов, и именно такими словами.

Но этой последней встрече не суждено было состояться. В июле 1975 года она умерла, и со смертью ее окончилась для меня очень существенная часть жизни — словно вдруг перерубили дерево, и корни его остались в земле, внизу, с Б. Л„с Алей. Она была последним человеком, кто любил меня как «маленькую».

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА 101000 ПОТАПОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК 9/11 КВ. 18

26 07 75 1352 ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

АЛЯ УМЕРЛА СЕГОДНЯ ПОХОРОНЫ ТАРУСЕ ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ СООБЩИТЕ БЛИЗКИМ ЕЙ ЛЮДЯМ АДА

Я вертела в руках телеграмму, посланную А. А. Шкодиной, плакала, куда-то звонила, чтобы пристроить трехмесячного сынишку, а самой поехать в Тарусу, а в голове стучало: «Но кому, кому сообщить? Все близкие ее уже давно не здесь».

Выехав с первой серпуховской электричкой, все три часа пути я вспоминала, перебирала дни, годы нашего знакомства, за которые, как писала мне она, «столько мы с тобой съели. Малыш, и черствых корок, и сухих пряников!» Закрывая глаза, видела ее — и ослепительную, красивую, царственную, какой она была первые годы после Туруханска, и уже недавнюю, страшно постаревшую, больную, задыхающуюся, — но в той же позе, с тем же жестом, что пронесла через всю жизнь. В правой руке — «Прибой», она прикуривает в комнате, как на ветру, загородив спичку ладонями, затягивается, выпрямляет спину, откинув

гордую голову, выдыхает дым, полузакрыв глаза. Левая рука — в последнее время отекшая, лиловатая, а вначале — грубая, загорелая, деревенская, красивая — устало лежит на столе, барабанит пальцами… Аля кивает головой и как-то истово, словно не слушая другого, повторяет: «Да, милый, да, да, да, милый, да…»

Я изо всех сил стараюсь развлечь ее, пересказывая разные забавные истории из жизни живописного моего семейства, ради красного словца не жалея и отца, привольно плавая по тому морю мифов, которые созданы за многие годы. Я не разрушаю привычные образы, которые отнюдь не всегда соотносимы с реальными людьми, но пускай — Аля привыкла думать о них так, считать их такими, и я охотно подстраиваюсь, ибо вечный «милый лжец»… У нас есть свои персонажи — маски: морской волк, капиташка — мой брат; верный воробушек — Инна Малинкович, моя учительница и подруга; рыжий соавтор — Аня Саакянц; кривоногая Рекамье — Н. Я. Мандельштам; бесхребетная вечная женственность, «человек-плющ» — моя бедная мама… Персонажи кукольного театра.

Последний раз я была у нее дома осенью 1974 года, меньше чем за год до смерти. Все было вроде бы как обычно, но я сразу поняла, и сердце сжалось — смерть уже на пороге. Она очень изменилась, пожелтела, побурела как-то, все время задыхалась. Не было и кошки Шушы, многолетнего спутника жизни — она покоилась в Тарусе под маленьким камешком у крыльца. Обои свисали с одного угла, и было четкое ощущение, что их уже никогда не подклеят. Во всем было умирание, угасание большой, мучительной жизни, оно не было светлым и покойным, но оно было значительным, осознанным и неспешным (ведь целый год прошел до реальной смерти!). Нет, не могла Аля умереть впопыхах, в очереди на билет в «Современник», скоропостижно, не готовясь, во сне или на ходу. И все-таки смерть была неожиданной — ее день и час. За месяц я получила письмо от нее (увы, порвала почему-то письмо, видно, решила — еще поговорим!), которое кончалось: «Приеду в Москву, позвоню». И письмо было шутливое, попала, мол, в больничку, навроде твоего, вхожу в сельхозпроблемы района, а в больнице, построенной еще моим дедом, так несет в коридорах, что министерство обороны должно взять этот метод на вооружение. И в самый день смерти — о смерти не говорила. Компот велела отнести домой: «Выпьем, когда вернусь». «Скажи (это Аде Александровне Шкодиной, бывшей при ней неотлучно), чтоб много не навещали, а то мелькает перед глазами», «спасибо тебе <Аде> за все». «Как хорошо, что мы в Тарусе, и тебе не нужно тащиться на свой

Комсомольский».

Я вспоминала все, что говорила она мне в ответственные минуты о смерти. Говорила, что в смерть не верит, ибо не видела мертвыми никого из своих близких (мать, отца, брата, того, кого называла мужем, — С. Гуревича» Б. Л.), и они остались для нее живыми. Когда повесилась мать, она была в лагере (Коми) и узнала о случившемся из письма тетки с большим опозданием. Прочла, заплакала, а соседка по нарам сказала задумчиво: «Представляешь, какой там (она показала на небо) должен быть Союз писателей?»

В дни болезни Б. Л. была она с нами рядом каждый день, в полном смысле слова и телом и душой и сама верила, и нас обнадеживала до конца. А когда уже нельзя было верить, помню тревогу ее, скрыли ли от Бори опасность, сумели ли утаить, что болезнь смертельна, только бы он не догадался. Она взвалила на себя — а для нее это не метафора — отчаянье моей исстрадавшейся матери и вытаскивала на себе по-своему. Накануне похорон в поисках траурного платья для матери обошли они с десяток магазинов по жаре, наконец, купили красивое, с кружевами. Аля и у заведующего была, растолковав ему со своим, иногда смущавшим меня демократизмом, что за похороны, чьи. Этот отзывчивый еврей, кажется, даже в Переделкино поехал. Вернулись, и мать словно немного отошла, расслабилась… «Ты подумай, Алька даже к директору ходила!» — с тайным восхищением говорила мама. Но на похороны Ариадна Сергеевна не осталась и накануне, первого июня, уехала в Тарусу. Я провожала ее, на Курском вокзале было пусто, мы пришли задолго, она села в электричку с аккуратно увязанными для Тарусы припасами — жизнь продолжается! И вдруг, такая железная, энергичная, деловая все эти последние дни — сломалась, разрыдалась, слезы текли буквально в три ручья, она вытирала их как-то по-деревенски, вверх ладошками. Нет уж, не останется она, никого не видела в гробу, и Борю — не увидит. Не будет этих комьев о крышку гроба и смерти любимых — не будет.

И вот я в Тарусе 28 июля 1975 года, и 15 лет минуло со дня той электрички и тех похорон-праздника, тех незабываемых переделкинских сосен, того предгрозового послеполудня, когда вдруг слово прозвучало отчетливей, чем смерть, и повеяло на собравшихся, пусть на минуту, и загробным гулом корней и лон, и вседневным бессмертьем поэта. Вот и закончилась Алина горькая, страшная, одинокая, загубленная и все-таки такая цельная (ее любимое «По Сеньке шапка, по ж… колпак») и такая для меня, например, дорогая жизнь. Не жизнь — судьба живая.

Я мечусь по тарусской вокзальной площади, ищу хоть какое-

нибудь знакомое лицо, где кладбище, как его найти? Кладбищ в городе два. Вижу больницу, бегу туда. Говорят, у ворот должен быть автобус. Никакого автобуса нет. Площадь пыльная, обглоданные палисадники, цветов не купишь, а ведь июль, господи! Наконец натыкаюсь на «рыжего соавтора», тоже блуждающего по площади. Замечаем где-то вдалеке автобус, бежим к нему, он пуст, шофер курит в кабине. — Это городское кладбище? — Да. — А хоронят кого? — Да знакомую какую-то Бондаренки. (Бондаренко — скульптор, член тарусского райсовета.) Бежим через кладбище в направлении, указанном шофером. Ах, Алинька, бедный ты наш Грибоед! Вот и кучка людей, могила на краю кладбища, на высоком крутом берегу Таруски. Как далеко видно отсюда, даже беленькую беховскую церковь, куда мы 15 лет назад ходили цветущими июльскими лугами, можно разглядеть. Какое прекрасное место, не хуже переделкинских трех сосен. Мало кому выпадет лежать на таком. Может, и вела Алю судьба коварными своими путями из Парижа в красную Москву, а потом через Коми, Мордовию, Туруханск сюда, в Тарусу, может, потому так непреодолимо тянуло ее этой весной в свой приокский домишко — а заболей она в Москве, ведь и спасли бы, кто знает? — чтобы успокоиться здесь, на этом берегу, чтобы наконец отдохнула… Внезапно поражает мысль: а ведь она одна из этой семьи имеет могилу — одну на всех. за всех — за мать, отца, брата, любимого… Да, все образовалось как будто — была и квартира, и пенсия, и архив собирался, и книга Цветаевой вышла… Но что проживала она внутренне эти последние, такие уединенные годы, что передумала она за них, изменилось ли ее отношение к тому, чему принесла она такую жертву? Я не знаю. Ведь время еще до перестройки само распутывало многие человеческие клубки, оно уже потянуло за страшную нить, ведущую и к парижской шигалевщине, и в Испанию, и в Женеву. Были еще живы свидетели, участники, жертвы. Открылись ли у нее глаза? Подруга ее рассказывала: за год до смерти, по какому-то звонку, поехала она, уже с трудом, на другой конец Москвы, а вернувшись, без единого слова сняла и спрятала портрет загорелого смеющегося человека, все годы висевший у ее изголовья. Как бы там ни было — она предпочла глаза закрыть. Сначала запереться на своем «маяке» («Живу теперь, — писала мне она, — как сторож маяка, людей не вижу, новостей не слышу»), а скоро и совсем их закрыть, навеки.

Как больно, непоправимо, что никогда не говорили мы с ней всерьез о смысле жизни, о ее идеалах. Все шуточки, и как-то разумелось само собой, что испивший такую чашу страданий — да не один, а с миллионами — не может оправдать

большевистскую холокосту. Не может человек ее сердца произнести: «Лес рубят, щепки летят», «Не в белых перчатках делают революцию». А ведь произносила. Что думала она, например, стоя на туруханской мерзлой земле, выгруженная с набитого ссыльными теплохода, когда мозглявый лейтенантик НКВД объявлял вновь прибывшим, что привезли их «на вымирание». Что окружавшие ее полумертвецы или за неделю до их прибытия расстрелянные ссыльные священники — агенты, преступники, вредители, а она — случайно попала, по ошибке? Не знаю, никогда не спрашивала ее. А ведь она сама рассказывала мне о своем туруханском этапе. Местному населению было приказано на жилье ссыльных не пускать, местным организациям — работы им никакой не предоставлять.

— Ну и что же ты? — спрашивала я, затаив дыхание.

— Был у меня с собой чемоданишко да денег рублей тридцать. Пошла на почту и на все деньги (это нынче три рубля) дала Боре телеграмму.

— Ну и..?

— На другой день получила телеграфом сто рублей от него. Сняла угол. Пошла в школу мыть полы.

Боря… Он и ее судьбу хранил в своей скудельнице, она не переставала быть для него мученицей (так он и писал ей, так и нам о ней рассказывал), перемолотой вместе с другими в погостный перегной его души. А она писала ему в ответ о «красных» праздниках, которые она так любит вообще, а особенно хороши они здесь, в Туруханске, о встрече депутата с красными, ею написанными лозунгами. Он — и, наверное, тысячу раз был прав! — этого не замечал. Что значат «убеждения» в сравнении с мученической судьбой? «Не хочется разбираться, хочется плакать», — как сказал он по другому, сходному поводу. Очевидец трагедии, он все более отторгался от системы, Аля же, агнец этой холокосты, искала ей оправданий. С цветаевским упрямством отворачивалась она и от антибольшевизма матери. «Не для меня ваш хоровод вкруг древа майского», — писала Марина Ивановна. А Аля и в туруханских снегах бежала в этом хороводе встречать красного депутата райсовета, среди едва прикрытых мерзлотою безымянных могил. Как все это увязать? Не знаю.

Ведь это же он, тот же красный депутат, отправлял ее на трое суток в карцер с допроса во время первого ареста. «Карцер маленький, лечь нельзя, но сесть можно. Сажусь. Через секунду — щелк в глазок! Сидеть не разрешается! Так трое суток и простояла. Утром приводят опять на допрос, уж и сидеть не могу. Представляешь, видик? Сижу я перед ним в расстегнутом платье,

волосы к лицу прилипли, век поднять не могу, а он чистенький, выспавшийся. Смотрит на меня так сочувственно: «Ах, Ариадна Сергеевна, до чего вы себя доводите! Ведь молодая красивая женщина!»

Она рассказывала об этом (надо сказать, рассказывала о «недозволенных методах ведения допроса» редко, а потом и вовсе перестала) со своим всегдашним смешком, а мне хотелось закричать словами Алеши Карамазова: «Так что же, его простить? Нет, для удовлетворения нравственного чувства — расстрелять!» Но перед ее всегдашней усмешкой так неуместен казался этот пафос! И — ничего не говорилось.

От родителей шла ее нелюбовь к богатым, неприятие «буржуазности». Презирала и советских нуворишей, видя в них повторение тех, ненавидимых, настоящих — во Франции. Дома, где «спотыкалась о хрусталь», высмеивала, хотя и помогали ей там, и «носились» даже одно время. И не всегда была в этом справедлива. Да и была ли она справедлива вообще?

О Франции, эмиграции говорила всегда горько, недобро. А ведь Цветаевы приехали в страну, только что пережившую войну, со своими калеками, вдовами, своей разрухой — а тут они, со своим горем. И выделяло же правительство Масарика стипендию для них, по сути, нахлебников, да еще живших в другой стране, и хватало же ее на кое-какую, но жизнь для всей семьи! Вправе ли тут сетовать, что уборная во дворе или комнатушка около вокзала? Но нет — «Всю жизнь в чужих обносках», «первое платье сшили перед отъездом в СССР», «с шести лет с метлой»…

— Ты знаешь. Малыш, первого голодного человека я увидела в Париже по приезде. Стоял перед витриной, за которой вращались на шомполах жареные индейки. Руки в карманах, страшные голодные глаза-Господа, — думала я. — Господи! Что за несправедливая вещь — человеческая память! Ведь у нее в Москве сестра умерла в приюте от голода! Да и сама еле осталась жива. О том, что и как ела цветаевская семья, да и вся Москва, да и вся Россия, — ей ли не знать! Но почему-то первый голодный — в Париже. Никогда ничего о тех годах — смешного, доброго, теплого. Только: «ни одного своего платья», «конские котлеты», перед концом месяца страх — «терм[7] платить…» А ведь именно на эти годы пришлась и ее молодость, и дружба, и ученье у Натальи Гончаровой. Всегда «ютились», «комнатенка», и в Париже (в Кламаре) — всегда чердаки, дымящие печки, казалось, что лета — а ведь это не Сибирь! — вообще не было. А ведь после «комнатенок» и «чердачков» была верандочка в Болшеве, уже на родине, шестиметровый чулан у теток в Мерзляковском и угол между обледенелой дверью и дымящей печкой у пьяной старухи в

Туруханске, не побоявшейся сдать «врагам народа» это жилье все за те же Борины сто рублей… О нарах и камерах уж не говорю. Однако парижские комнатенки вспоминались горше.

Вся дружба наша с ней, разговоры, воспоминания, все проходило под знаком Бори, Б. Л. Нас сближала эта общая любовь, и, как казалось нам, мы обе понимали и знали его, «чувствовали». Все Алины рассказы настолько были заполнены им, они всегда сводились к нему, описывая круги, чтобы в конце концов кончить им, что мне казалось, будто они знали друг друга давно, близко, «домами». Однако до того дня, когда Аля впервые пришла к нам в Потаповский, они встречались всего три раза. «Не три свечи горели, а три встречи». Три встречи, три вехи, три огонька, на которые она оглядывалась в полярных ночах Коми и Туруханска. «Из всех наших встреч, — пишет она Б. Л., — каждая — моя самая любимая». И вот эта первая, в Париже, в номере гостиницы на рю де Бюси, где на камине лежат неразрезанные книги, и пахнет апельсинами. Б. Л. приехал на Конгресс в защиту культуры. Как он сам рассказывал спустя много лет, он тогда был на грани нервного срыва. Его подкосило увиденное в Сибири, где он еще совсем недавно пробыл несколько месяцев: сорванная со своих мест, гибнущая, замерзающая на полустанках раскулаченная Россия. По ночам просили подаяния (днем боялись). Масштаб трагедии потряс его, он заболел, почти год не спал, и в таком состоянии, с таким отношением к большевикам, в Париж, на конгресс, в составе советской делегации.

Напряженная встреча с Мариной, о которой та напишет впоследствии: «Это была невстреча». И вспыхнувшая симпатия к пришедшей вместе с матерью ласковой веселой девушке. И симпатия к отцу. «Милый бедный Сергей Яковлевич!» — так говорил о нем Б. Л… Тему их разговоров он так описал в своем очерке «Люди и положения»: «Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию… Я не знал, что ей посоветовать, слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения».

В 1937 году Ариадна, первая из членов «замечательного семейства», возвращается на родину. Далеко не сразу происходит ее вторая встреча с Пастернаком. Конец июля 1939 года. Скверик возле «Жургаза», где она работала. Возле клумбы с астрами играют дети. В Москву уже приехала Марина Цветаева с сыном. Накануне арестован Мейерхольд. «Все кончено, — говорит Б. Л. — Завтра это случится и со мной. Ну что же, я готов». «Но милый мой, — добавляла Аля с такой нежностью, что слезы наворачивались, — как же он был не готов, бедненький, как же

этого не хотел!»

Не знаю, была ли она готова к «этому», однако «это» происходит с ней через несколько дней и на восемь страшных лет она выпадает из жизни. За эти годы гибнут мать и отец, пропадает на фронте брат. Она сама несколько раз находится на грани смерти, попадает в Коми, в тяжелые условия Крайнего Севера. Издеваются в лагере над «парижанкой», как могут. Так, за отказ сотрудничать с опером сокращают норму питания, сажают в карцер. Ей удается сообщить о своем положении в Москву, и тогда еще влиятельный С. Гуревич добивается ее перевода в Мордовию. Веселая «страна березового ситца» показалась Але после Коми раем. Она работает там в деревообрабатывающем цехе. Спустя много лет Ариадна Сергеевна подарила мне как-то на день рождения ярко раскрашенную деревянную ложку, «сувенир», вроде вымпелов и матрешек. «Эта ложка, — сказала она, — спасла меня во время войны в лагере. Не будь ее, не хлебали бы мы с тобой сейчас этот великолепный грибной суп». Ложки не только посылались на выставку народных изделий в Саранск, но, главное, лакировались. Лак разводили олифой, и эту олифу, содержащую растительное масло, пили заключенные.

В 1947 году, после восьмилетнего заключения, Аля поселяется в Рязани. Нищенское жалованье, угол в общежитии, работа с утра до вечера, робкие поездки в Москву… Во время одной из них — третья встреча с Б. Л. Она приходит в его квартиру в Лаврушинском переулке, которая встречает ее целым миром забытых вещей — книжными полками, роялем, картинами на стенах. В этот мир ей не скоро суждено вернуться. Как «повторницу» в начале 1949 ее снова арестовывают и отправляют на вечное поселение, на «вымирание» в Туруханск. Мы знали о ней по рассказам Б. Л… Он приносил и читал ее великолепные письма оттуда. Он гордился ею, ее умом, талантом. В 1954 году, готовя нас к встрече с ней, говорил с веселым лукавством: «Скоро вы ее увидите! Только учтите, это будет советская республика в нашей федерации!» И смеялся, довольный, нашему недоумению. Говорил, готовя нас, и вовсе нелепости: «Только не пугайтесь, она такая некрасивая!»

После возвращения из Туруханска Б. Л. и Аля видятся и в Переделкино, и у нас в Потаповском, но совсем не часто. Б. Л. болезненно оберегал в последние годы свое время, да и побаивался идущих от нее волн непреклонности, прямолинейности, «правоты». «Ведь жизнь, — помню, сказал он мне, — богаче правды, интереснее ее». Да, он был совсем, совсем из «другого теста», нежели Аля. Его жизнь — счастливая, осуществившаяся — «все, до мельчайшей доли сотой в ней

оправдалось и сбылось…». Мало кто так мог сказать о себе. И старость могучая, евангельская — даже старостью не назовешь; последние годы жизни — щедрые, открытые, полные до краев. По интенсивности проживаемых дней — разве что с Толстым можно сравнить. И Алино усыхание, «окукливание», мелочность фетишей, которым продолжала служить до конца, это сидение на сундуках с рукописями, так не идущая ей скаредность, подозрительность, недоверчивость. А ведь ей было дано так много — и Россия с ее «простором сырой русской совести» стояла у ее изголовья, и великодушие судьбы, проведшей ее по всем кругам и подарившей под конец спокойные годы, и талант, и сердце. А жизнь вся прошла как «за тридевять земель», даже если и жила около метро «Аэропорт». «И жизнь твоя пройдет незрима в краю безлюдном, безымянном, как исчезает облак дыма на небе тусклом и туманном».

Восхищаясь ее одаренностью, ее умением по-особому смотреть на вещи и описывать их, Б. Л. писал: «Радуйся, Аля, что ты такая. Человек, который так видит и так чувствует, может во всех обстоятельствах жизни положиться на самого себя». Он писал о ее даре магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств, о том, что она «как заговоренная», прошла через все несчастья. И может быть, нам сейчас лучше не знать, какие именно силы ее «заговорили», лучше не растравлять себя. Иногда, чтобы судить вернее, лучше не знать.

Москва, 1975

* * *

Москва, Потаповский пер., д. 9-11,
кв. 18, Ивинской Ольге Всеволодовне
Туруханск, 23 февраля 1955

Милый друг, Ольга Всеволодовна! Мне ужасно жаль, что не удалось встретиться с Вами, но иначе и быть не могло, забежать к Вам на минуточку мне показалось немыслимым, т. к. все то, что хотелось Вам сказать и от Вас услышать, требует времени и покоя. Мы с Вами еще встретимся по-настоящему. А сейчас мне просто хочется Вам сказать, что я безмерно рада Вашему возвращенью, Вашему воскресенью. Вы умница, именно так и нужно. Ибо, воскреснув слишком поздно. Вы оказались бы никому не нужной Эвридикой, раздвоенной между жизнью и царством теней, слишком глубоко знающей ту, внечеловеческую правду, с которой потом трудно жить. Все хорошо вовремя, даже особенно — чудо! У меня в жизни все иначе — ну и Бог с ним! Я о Вас знаю

и очень много, и очень мало, так же, вероятно, как и Вы обо мне, т. е. так, как умеет рассказать Б. Л.

Поэтому и пишу Вам, как написала бы его воплощенному стихотворению.

А какая Вы на самом деле — не знаю, да и не думала об этом. Несомненно такая, какой Вам нужно быть!

Желаю Вам счастья, и чтобы чудо — длилось, и чтобы все, все, все было хорошо!

Целую Вас

Ваша АЭ

Обр. адрес: Красноярский край, с. Туруханск, почта, до востребования Эфрон А. С.

* * *

Письмо написано после возвращения Ариадны Сергеевны в Туруханск из короткого отпуска, когда она побывала в Москве, встретилась с Б. Л., который дал наш адрес (телефона еще не было). «Живьем» появилась Аля у нас в Потаповском в 1955 году, уже поселившись в Москве, и, как она говорила, «сразу выбрала наш дом, потому что в нем веселее». С тех пор бывала у нас очень часто, участвовала во всех наших семейных перипетиях.

По просьбе Б. Л. в Гослитиздате (директором тоща был А. К. Котов, главным редактором Пузиков) Ариадне Сергеевне и матери давали переводные работы. Тут же в Потаповском они с мамой обсуждали своих «персов», «китайцев», «арабов», в основном по редакции восточной литературы. Приходил редактор А. А. Горбовский с подстрочниками Р. Тагора, которого переводили втроем, и Б. Л. также — знаменитый седьмой том собрания сочинений Р. Тагора.

«Воскресение» матери было уже давно позади — она вернулась в Москву в первую послесталинскую амнистию в апреле 1953 года, пробыв в Мордовских лагерях четыре года.

* * *

Дата по штампу: 17.11.58

Оля милая, не появляюсь, т. к. гоню в хвост и в гриву свои запоздалые переводы. Не обижайся. Как только распростаюсь — приеду, и дам знать, когда это будет, чтобы мы могли повидаться. Пожалуйста, не ной и держи свои нервочки в узде, а главное — слушайся Иришку, она самая умная «на данном этапе», и,

главное, обладает чувством меры. А что на тебя ругается, так это ничего, обойдется.

Главное, будьте все здоровы, а остальное приложится. Все утрясется, все успокоится, ибо каждая сенсация проходит — о том еще царь Соломон говорил. Постарайся войти в рабочую колею — это самое верное средство для того, чтобы не иметь времени расстраиваться! Целую вас всех, будьте здоровы.

Твоя Аля

* * *

В этом письме все очень знаменательно. 17 ноября 1958 года — всего две недели прошло после «нобелевских дней», исключения Б. Л. из ССП, клеймящих заседаний, писем Хрущеву, газетной кампании… Аля, как и во все наши трудные времена, каждый день была у нас. Позиция ее, насколько помню, была самая уступчивая — «кланяться в ножки», любые письма писать. Она боялась и ожидала самого худшего.

Была она у нас и в тот день, когда Б. Л., решив «устроить им сюрприз», послал телеграмму об отказе от премии и прямо с телеграфа заехал в Потаповский. Он как-то торжествовал, что вот, мол, они уже и не ждут, а тут он такой номер и отколет. Мы с матерью оторопели. Теперь, когда столько выстрадано уже за эту премию, когда кампанию не остановишь, так хоть знаешь, за что страдаешь…

Аля решительно подошла к нему — он сидел на стуле у стола, «парадный», оживленный, — крепко поцеловала: «Вот и умница, Боренька, вот и молодец!»

После того как письмо к Хрущеву было передано по радио и телевидению, казалось, что кампания пошла на убыль. Но маму продолжали теребить, требовать нового письма. Да и слежка продолжалась, отсюда и «нервочкн».

* * *

10 мая 1960

Милая Оленька, получили твою весточку, очень огорчена Бориной болезнью. Это, вернее всего, болевой отголосок всего пережитого — и опять проклятая «промблема», что тебе до него никак не добраться, и это его еще больше выбивает из колеи. Он ведь, при всей своей безбрежности, человек привычек, и нарушение привычного ему уклада должно еще хуже влиять на

болезнь. Конечно, нет худа без добра, хорошо, что кардиограмма приличная и нет непосредственной опасности для жизни; однако и боль, и тревога, и тоска — тоже опасности, хоть и не непосредственные.

Я устала ужасно, все время совмещая труд умственный с физическим. Последний, кстати, удается мне куда лучше. Ада сейчас в Москве, так что «ворочаю» одна. По пятам ходит кошка, которой вот-вот котиться, и она никак не может решить где, на моей постели или на Адиной.

В Москве я буду в 23–25 числах мая, привезу твою книжку, буду тебе звонить.

Целую вас всех крепко. Боренька начнет поправляться, как только потеплеет. Эти соли почему-то особенно болезненно реагируют на весенние холода. Поцелуй его от меня письменно пока что. До доброго свидания!

Твоя Аля

* * *

17 апреля, в Светлое Воскресенье, Б. Л. последний раз был в Москве и последний раз — у нас в Потаповском. В конце апреля в одно из своих посещений нашего деревенского дома он принес маме рукопись неоконченной пьесы «Слепая красавица». Выглядел уже плохо, серый, и — «Пусть все ценное будет у тебя». Маму охватили страшные предчувствия. Сначала опасались инфаркта. Врачи же находили лишь невралгию. Везти в город было нельзя, рентгена не делали, и оставалась мучительная неизвестность. Вот и родилась мысль — вызвать Алю, чтобы она, «наш человек», прошла на дачу, узнала все и поговорила о возможном посещении мамы. По-моему, в двадцатых числах мая я послала Але телеграмму в Тарусу. Она сейчас же приехала.

* * *

5 июня 1960

Дорогие Ольга и Аришка, приезжайте-ка к нам погостить дня на 3–4, чтоб отдохнуть, отвлечься, подышать чистым воздухом, переменить хоть ненадолго обстановку, побывать без людей. Здесь сейчас уже очень хорошо — начинают зацветать луга, в лесу полным-полно ландышей, и как-то необычайно тихо и просторно кругом. Ничто так не помогает и не исцеляет, как природа. Посмотрите, наконец, наш домик и наши владенья, погуляете по

новым местам, увидите места, где мама моя провела детство и отрочество, и Оку, и леса, и луга. Я эти несколько дней еще свободна, а потом опять начнет крутиться колесо. Дорогие мои, приезжайте, не медлите, потом не соберетесь, что-нибудь помешает. Поездка вас не разочарует, а немного отдыха вне суеты вам необходимо. Оленька, как получишь письмо, сразу дай телеграмму с ответом, он мне необходим, чтобы так или иначе «спланировать» свое время. Я думаю, что сейчас вы обе сумеете выкроить эти несколько дней на отдых, и мне очень, очень хочется, чтобы вы это сделали. Я думаю, Оля, что, передав рукопись на прочтение, ты будешь располагать свободным временем, а хворая Аришка, конечно, сможет получить бюллетень по состоянию здоровья.

Кроме всех прочих соображений мне хочется чтобы ты, Оля, приехала, чтобы в покое и тишине, без советов и советчиков, спокойно подумать о разных своих делах. Я очень опасаюсь твоей опрометчивости, теперь тебе с особой серьезностью надо относиться к деловой стороне жизни и к окружающим тебя людям, и к их советам… И еще: мне хочется услышать о Бориных похоронах именно от вас и именно здесь — в этой дивной природе, дивной, несказанной, сказанной только им. Люди говорят, что похороны были изумительные.

Вы обе умницы, вы обе поразительно хорошо, с таким достоинством держались все эти невыразимо трудные дни. Глубоко уважаю вас за вашу выдержку, за ваше достоинство во имя Бори.

Приезжайте же! Вас ждет чудесная комнатка с видом на Окские дали, красота, покой. Отдохнете, отоспитесь, подумаете кое о чем, и — будем жить дальше!

Привезите с собой белого хлеба и масла, которое я, конечно, забыла купить впопыхах. Тут есть и творог, и сметана, и яйца, и редиска поспевает, и салат — поживем по-деревенски.

Итак, Оля, жду твоей телеграммы, надеюсь, что она будет о приезде. Не мешкайте. Я еще раз поняла, что жизнь не ждет, и ничего нельзя откладывать. Приехала ли Вера? Если да, то с ней я повидаюсь попозже, только не сейчас. Сейчас мне никого не хочется видеть, а ее особенно, после всего этого ее ажиотажа и всех этих опротивевших звонков. Встреча с ней — это как раз то, что сама жизнь велит откладывать, а вот со мной — нет. Как видите, в отношении «благородства и деликатности» я приближаюсь к известному вам эталону.

Крепко, крепко целую вас, мои дорогие. Мы все — Ада, я. Ока, Таруса, леса, луга, просторы, ландыши, близи и дали, ждем вас. Отложите дела и приезжайте.

Жду телеграммы!
Ваша Аля

* * *

«Передав рукопись на прочтение…» — что имела в виду Аля? Она ведь еще не знала, что 3 июня 1960 года, когда мы вернулись после похорон в Москву из Переделкина, дома нас ждала «засада», и работниками КГБ рукопись пьесы «Слепая красавица» была у нас изъята. Может быть, до нее дошли об этом какие-то слухи? Едва ли так быстро. Скорее всего, после смерти Б. Л. Аля вела с мамой разговоры о передаче архива в ЦГАЛИ по своей доброй воле, с чем мама соглашалась.

Вера — Вера Александровна Трейл (Гучкова), Алина подруга детства по Франции, жившая в Лондоне и приезжавшая в СССР несколько раз туристкой.

* * *

31 мая 1960 года Аля утром пришла в Потаповский. Я уже знала о смерти Б. Л. — часов в 7 из Переделкина позвонил В. Бугаевский. Мама, Митя, медсестра Марина, наша «связная», ночевали на даче. Когда пришла Аля, я все еще была в одной рубашке и бегала по квартире. Аля велела мне остановиться и одеться. Потом пошли искать такси, чтобы ехать в Переделкино. В дверях столкнулись с мамой и остальными, уже все знающими. Пили кофе. Мама все время тихо плакала. Аля говорила, обращаясь к медсестре, девочке лет 16: «Вам повезло. Вы присутствовали при последних днях великого поэта». Она достала с полки книгу и прочла «Баллады». Все три дня похорон была с нами, «взяла на себя» мать. Но на похороны Аля не осталась.

Во мне, что называется, в чем душа держалась, и Аля взяла с меня слово, что приеду в Тарусу на поправку и мать привезу.

Я приехала в июне числа 12, а потом и мама. Гуляли, говорили без конца, вспоминали Б. Л. Я поклялась Але написать, что помню, но не сделала этого — было не до того. Я жила в ослепительной красноситцевой мансарде, утром меня ждал плотнейший завтрак: овсянка, треска, гренки — ребенка витали, и я действительно окрепла.

12.2.61 <открытка>

Милый Малыш, пока пишу два слова, т. к. не очень уверена в вашем адресе. Хочется знать, как вы и что, что нужно из

необходимого, т. к. баловать вас раньше лета не смогу — все время сидела без дела и, соответственно, без денег. Есть ли у вас ларек? Что нужнее — продукты или деньги, или «оба нужнее»? Есть ли постельн. принадлежности? Что делаете? Как отдыхаете? (есть ли самодеятельность, кино, книги?) Главное — как здоровье? Обязательно напиши, если есть такая возможность. Как-то была у Митьки, он молодец — очень гостеприимен был, а Поля угощала по старой памяти грибным супом с картошкой и картошкой с грибным соусом. Живу в Тарусе совсем одна с кошкой, я работаю, она ловит мышей. Никого не вижу, только в каникулы приезжали знакомые, а так — тишина. Голова седеет, глаза болят — одним словом, «прощай, молодость!». Крепко обнимаю, целую, помню. Пиши.

Аля

* * *

16 августа I960 года арестовали маму. Стали вызывать свидетелей — меня, Митю, Алю. «Знали ли вы о преступной деятельности Ивинской?» Выяснилось, что все знали. Лепилось «дело» о контрабанде, и пытались от него как-то отчленить Б. Л., свалить получение гонораров за роман на нас. Аля часто к нам приходила в эти дни, когда в Потаповском «работали» оперативники — много плотных мужчин. Описывали книги (в том числе «Прозу Цветковой»), старые кофты, посуду. Каждое утро снимали печати, составляли «акт о снятии печати». Мы расписывались на протоколах, давали объяснения кофтам и книгам. В одно такое «рабочее утро», когда она была у нас, следователь Алексаночкин вдруг окликнул: «Ариадна Сергеевна! Не узнаете меня?» Оказывается, он вел дело по реабилитации ее отца в 1956 (?) году. Однако после допроса с Лубянки Аля вернулась сама не своя — Алексаночкин как бы сетовал на необходимость арестовать и меня, жаловался Але и просил его понять: «Что он может поделать?» Ожидаемое и произошло 6 сентября того же года.

В ноябре был суд, в январе — этап, а в феврале 1961 года мы отправили из Сибири, со станции Невельская свои первые письма, заполненные, видимо, просьбами, может быть и пустяшными. Письма адресовались брату, но отклик на них у друзей был самый горячий.

Я не помню, была ли Аля в Потаповском в то утро, когда я, покушав овсяной каши, отправилась к десяти часам на очередной допрос на Лубянку, а вернулась с него через два года. Конечно, не

через семнадцать (или 18?) лет, как та же Аля в свое Болшево. Помню, я замешкалась на пороге, какое-то чувство удерживало, сказала вдруг Мите и Полине Егоровне: «Не поминайте лихом!» И была еще одна мысль: последовать ли Алиному совету, который так и звучал у меня в ушах, одна из ее десяти заповедей: «Идя на допрос, надевай побольше штанов и бери побольше денег». Нет, не буду. И как же я ее вспоминала через сутки, очутившись в нетопленой камере сырой Лубянки с рублем (!!!) в сумке. А приходили и предлагали купить еды в «сороковом» Гастрономе. Скоро, правда, пошли передачи и деньги.

* * *

24.2.61

Милый Малыш — сегодня первый раз тебя видела с того лета, правда, только во сне. Хотя бы написала словечко, я даже не знала, верный ли адрес. Сижу в Тарусе безвыездно и работаю без передышки, совсем одурела. Голова становится все хуже, наверно, к твоему возвращению стану вовсе старой дурой. Я тут совсем одна-одинешенька, единственная компания — соседская шавка, преподлая собака, и собственная киса Муська, которая, несмотря на миниатюрность, орет неимоверным голосом (очевидно, по случаю марта, к <отор>ый уже на носу) и ей вторят все коты округи. Как видишь, развлечений у меня немного. На днях должна быть в городе по поводу маминой книжки (пересоставленной Орловым ленинградским — он же пишет предисловие). Если успею — пошлю маленькую посылочку, если нет, отдам деньги Инке для той посылки, что будет посылать она. Летом буду готовить тебе к зиме теплые вещи, свяжу носки, рукавицы, свитерок. Хорошо, что эта зима уже идет к концу. Обнимаю вас, жду весточки.

Твоя Аля

3.3.61

Милый Малыш, я в Москве на 4 дня по делам маминой книжки (очередной. Орловский вариант в 6 печ. лист.) — изменен и ухудшен, ослаблен состав, перевес старых стихов над новыми, но — лиха беда начало, хоть бы так издать. Я устала, отупела, болит голова, болят глаза — все приходится делать чересчур скоро, значит — недостаточно хорошо и продуманно. Москва сейчас серенькая, мокрые тротуары, талый снег, все это вижу в окно, т. к. и носу высунуть некогда. Единственный человек, к<оторо>го видела, помимо редакторши, с которой сличала тексты и даты, — Инка, трогательная, трепетная — одна душа да

очки: кринолинов больше не носит, а так, юбчонка да кофтенка на куриных косточках. Она похудела и постарела даже. Митька прислал твои письмишки почитать, т. ч. я теперь более или менее в курсе вашего житья-бытия. Посоветовались насчет того, что и как лучше послать, я посоветовала твоим ящики д/посылок купить заранее и поставить дома на шкаф, чтобы подсохли, а то ведь на одну тару уходит чуть ли не четверть всего веса. Решили послать сухого молока вместо сгущенки, т. к. опять же тару лишнюю посылать ни к чему, а его разводят теплой водой (сперва стирают с неб. кол. воды, а потом доливают до нужной консистенции — от сливок и до молока) — это и дешевле, т. ч. за те же деньги можно прислать больше. Какао, сало, сух. фрукты, масло пока холодно. Копч. колбасы сейчас нет в продаже. Хорошо, что я сама не послала посылки, т. к. сорвала бы Митькин график посылочный, т. ч. буду им давать деньги, а они уж будут посылать, что потребуется. Я послала с Инкой, верней, передала ей для тебя шарфик хорошенький, яркий, ты его сошьешь капорчиком и будешь носить весной. Да еще меду решили вам послать густого — это ведь целебная вещь (терпеть его не могу!!) и пойдет и с хлебцем, и с кашкой, чтобы ты у нас крепла, а мать не отощала. Деньжат этот раз смогла дать немножко, т. к. сейчас у меня туго, очень долго сидела без работы, а та, что сейчас делаю, еще не скоро превратится в звонкую монету. Главное, я убеждена, что все будет хорошо. Всегда за тяжелой полосой следует радостная, ибо жизнь есть животная полосатая, как зебра. Это очень хорошо. Малыш, что ты видишь (не только смотришь на, но и видишь) — небо, звезды, природу. Они всегда помогают в беде — еще иной раз лучше, чем люди; прикасаются к душе, не причиняя боли, утоляют горести бывшие и настоящие, анестезируют боль, ведь правда? Они — настоящие, и не изменяют, как люди. И даже — не изменяются.

Будь поласковей с матерью. Малыш, — но оставайся самой собою — не слушай ничьих советов, кроме собственной совести. Прости меня за назидательный тон — сейчас тебе нужней сало и мед, но будут и они, и вообще все будет в порядке. Спишь ли ты, или еще мучит бессонница? Думаю, что когда маленько войдешь в колею, наладится и это, что нас беспокоит больше всего. Я тоже плохо сплю, чуть только малейшее изменение в привычном распорядке, но у меня это, верно, уже от старости! За комаров пусть мать не беспокоится, будут обязательно, но Инка уже купила всякие средства, чтоб они вас не слишком донимали. (Т. е. комары.) Прости за бестолочь, тороплюсь. Обнимаю вас. Будьте здоровы!

Твоя Аля

Адрес на конверте: Иркутская обл., г. Тайшет, ст. Невельск, а/я ЖШ 410/14 Ирине Ивановне Емельяновой.

* * *

Инка — И. З. Малинкович, преподавательница английского языка в школе, где я училась, ставшая моей подругой и самоотверженно помогавшая нам в годы нашего заключения. (См. «Дудочник с Фурманного переулка»). Посылок в первое время заключения мы получали очень много, и все — вкусные, такие, что и на воле не едали. (Помню — клубничный компот, например! Бекон — из Литвы, от моей подруги Дальки, шоколадное печенье…) Нас слишком баловали, это порождало в лагере и зависть, и сплетни, тут Аля оказалась совершенно права.

В Тайшете (ст. Невельская), куда адресовано это письмо, бытовые условия были в общем-то неплохие — баня, например, теплые бараки, свободно письма, посылки. Только работа первоначально оказалась тяжелой. После мучительного этапа я быстро поправилась — морально я не страдала — контингент «корректный» (сектантки, в основном), были и «свои», несколько человек, интеллигентных. Но в конце марта нас почему-то снова повезли в Европу (Мордовия), снова месяц, страшный, пересылок.

* * *

9.3.61

Милый Малыш, пробыла я 5 дней в Москве, от к<отор>ой, как тебе уже сообщила, не видела ровным счетом ничего, кроме собственного носа, склоненного над рукописями. Опять восседаю в Тарусе с тем же носом над теми же рукописями, и т. к. вдохновение заставляет себя ждать, решила написать тебе словечко, чтобы было веселее и тебе, и мне… Предполагая, что ничто земное тебе не чуждо, спешу сказать, что дамские головные уборы типа «колпачки» отживают свой век, ибо в них начали щеголять даже в Тарусе; московские же модницы носят шляпки жанра «ночной горшок» — идеальная форма сосуда сохраняется незыблемой, минус ручка, меняется лишь материал (фетр) и содержимое. Последнее не всегда. Общий силуэт модницы напоминает по-прежнему бутылку — длинная романтическая шея, отсутствие плеч, талии и прочих шармов. Поверх бутылки — вышеназванный горшок. Несмотря на все это некоторым девушкам удается оставаться миловидными. Да, прическа!

Прическа поднимается вверх, как у маркиз XVIII века. Наряду с московскими гранд-дамами волосяными сооружениями особенно увлекаются продавщицы магазинов синтетических товаров и галантереи. Это несколько сказывается на производительности их труда — такую башку нелегко поворачивать к покупателям, поэтому помпадурши — сами по себе, а покупатели — обратно сами по себе. А товары — как хотят. Но все это — суета сует и всяческая суета. Сейчас меня особенно волнуют Митькины и Полины квартирные дела, ибо не меньше, чем вам, хотелось бы, чтобы они остались (Поля с Митей!) вместе. Пока Поля надзирает за Митькой, я вполне спокойна, что мальчишка сыт, обстиран, носки заштопаны и — не одинок, т. к. нет ужасней одиночества, чем у неухоженного подростка-переростка. Пока что все мы довольны митькиным поведением, особенно учитывая, что все эти тяготы ему не по разуму и не по возрасту. Делимся с ним, чем можем, — и разумом (?), и возрастом, и немного деньжатами. Мать все волнуется, как к ней относятся, — я, например, как прежде — за что ругала, за то и ругаю, за что хвалила, за то и продолжаю — ведь ничто не изменилось, кроме чисто внешних обстоятельств. А они меняются постоянно и у всех. Живу по-прежнему уединенно, даже одиноко, и рада этому, т. к. легче работается и думается. А я старею. Малыш, и чувствую это именно по ухудшению трудоспособности, все то, что еще недавно приходило само, — заменяется сплошной усидчивостью. Жаль.

Читаю мало — болят глаза; слушаю радио — иногда бывают хорошие концерты — впрочем, теперь и этим развлекаюсь реже. Главное — работа. Идет весна — в этом году рада бы ее задержать, чтобы возможно позже начать всякие садово-огородные дела, ибо они у меня плохо совмещаются с так называемым умственным трудом. Боюсь просрочить договорные сроки — нужны деньги, семья большая.

Напиши, как у вас с обувью, верно, нужны будут резиновые сапожки, напиши об этом Митьке заранее, чтобы прислать вовремя. Не забудь, что нужно размером больше обычного, чтобы носить с теплыми носками, портянками, т. к. резина холодит ноги. Целую тебя. Малыш, будь здоров, главное — спи крепче, и не вешай носа. Обнимаю вас.

Ваша Аля

* * *

«Митькины и Полины квартирные дела…» — Мы были приговорены к заключению с полной конфискацией имущества.

Но на воле оставался брат, кое-что удалось отхлопотать для него, ну самую мелочь, не холодильник, и не телевизор, и не мебель, так, пустяки. У нас была маленькая трехкомнатная квартирка (вся — 34 квадратных метра), наш ЖЭК немедленно подал в суд на оставшегося брата (и временно прописанную у нас домработницу П. Е. Шмелеву) в целях «уплотнения». Таковы были «квартирные дела».

* * *

20.3.61

Милый Малышок, у меня все то же, вгрызаюсь в перевод — а он в меня, тороплюсь использовать каждый час, пока я совсем одна и не мешают мне ни люди, ни весна. (Совсем стихи!) А она вот-вот нагрянет. — 11.3 прилетели грачи, а вчера — жаворонки, а сегодня — скворцы выбирают себе скворешники. Помнишь, как мы с тобой в прошлом году поздней весной слушали соловьев? Ничего, милый, скоро опять будем слушать, я очень надеюсь, что твои печали скоро кончатся.

Крепко целую, будьте здоровы.

Твоя Аля

* * *

21.3.61

Милый Малышок, рада была получить от тебя привет. «Волшебная гора» — одна из моих любимейших книг. Недавно перечитывала. Правда ведь, настоящая книга — не та, что глотаешь залпом, а та, что все время откладываешь, хватаешься за голову, раздумываешь, вспоминаешь… Так сейчас перечитываю Хемингуэя. Что бы ни читала, ни видела, ни думала хорошего, всегда ты со мной. Малыш, знай это, когда грустно. И тем более когда весело. Я очень надеюсь на хорошие перемены в вашей судьбе. Только всегда будь умницей, хорошо себя веди, и все будет хорошо. Видишь, сколько раз подряд «хорошо» написано! У нас уже реки вскрылись, грачи прилетели, а вчера жаворонок запел. По ночам заморозки, днем солнечно, но еще не очень тепло. Из смешных новостей та, что Зинка получила перс. пенсию 1500 (старыми деньгами, конечно!), так что старость ее обеспечена, от чего никому не холодно и не жарко. Себе бы так! Работаю до одури и, по-моему, плохо получается, устала, как пес. Обнимаю вас, будьте здоровы. Пишу часто.

Аля

Адрес на конверте: Иркутская обл., г. Тайшет, ст. Невельск, а/я ЖШ 410/14 Ирине Ивановне Емельяновой.

* * *

«Волшебная гора» — роман Т. Манна.

Зинка — Зинаида Николаевна Нейгауз — вдова Б. Л. Пастернака. Аля ошиблась. Пенсии Зинаида Николаевна так и не получила.

* * *

10 июня 1961

Милый Аришь, получила твое письмишко от 4.6. — спасибо, дорогой, что находишь время для меня — а оно там (впрочем, везде) дорого. Рада, что твои письма стали совсем хорошие — правда, м.б., если это и так, тоже хорошо: значит, хоть таким путем отвлекаешься от своих обид.

Мордовский пейзаж и мне нравился, хоть и приходилось им любоваться, так сказать, не вплотную, а скорее издалека, а особенно запомнились соловьи. Кажется, именно там я как следует «осознала» их. О Мордовии я знаю мало — только что мордвины состоят из двух племен — «эрзя» и «мокша». Мокша есть река, а Эрзя есть скульптор. Племена древнейшие, одежда их национальная напоминает одежду древних славян — при мне еще носили удивительные домотканые рубахи, длинные до пят, с длинными рукавами, под мышками красные (почему?) ластовицы, подол вышит тончайшей полоской мельчайшего, черного с коричневым, узора. Поверх рубахи надевалась тоже домотканая, туго подпоясанная, юбка, а рубаха вытягивалась напуском на животе на манер блузы. Всякую всячину — разные там покупки мордовки клали за пазуху, иной раз помногу, все это держалось поясом юбки, фигуры получались причудливые. При мне деревенские еще не знали обуви иной, кроме лапотков и онуч, девушки, под нашим мудрым руководством освоившие тапочки, стеснялись в них вернуться домой — засмеют, как «стиляг»! Онучи — сказка. Они наворачивались на ноги таким образом, чтобы вся нога, от колена до пят, была ровной, как столбик, а это — большая работа. Бедные девчонки вставали за час до всех остальных, чтобы обуться, как положено, вечно возились со своими онучами, стирали их и всячески лелеяли — девушка, у

к<отор>ой они не в порядке, — неряха, замуж не возьмут. Села в Мордовии были еще недавно половина русские, половина татарские, т. е. одно село разделено пополам — одна половина «крещеные», другая — мусульмане; жили рядом, не соприкасаясь. Были темные, отсталые деревушки, и зажиточные, передовые. Встречала я много культурных, интересных людей среди мордвинов. Одна знакомая преподавала в Саранском муз. училище — не могла нахвалиться своими учениками — одаренными и трудолюбивыми. Вообще-то была республика сплошных контрастов — сейчас они, верно, сгладились. Мордовия соприкасается с Рязанщиной, и природа та же, и леса, леса мещорские; из этих лесов, верно, лешие в последнюю очередь ушли!

11 июня. На этом месте этнографического очерка я вчера уснула — такова неоспоримая и необоримая сила художественного слова. Стоит ужасная жара, настоящее пекло, до 30° в тени, а уж на солнце!.. Ни одного дождя, кроме как по радио, и я с головой ушла в поливку, довольно бесполезную, т. к. вода прямо на глазах испаряется с грядок, а я все ее таскаю и таскаю, обливаясь потом. Жару переношу плохо, и, как в тропиках, ненадолго оживаю лишь после заката солнца. А тут одолевают гости — едут косяками, не хватает ни простынь, ни жратвы, ни терпения. Гость идет в основном интеллигентный, картошку не чистит, воды не таскает, зато «за поэзию» разговаривает, не закрывая рта. И уже в первый день хочется убивать его на корню.

Самое трудное в моей жизни то, что время постоянно обгоняет меня, я целыми днями кручусь-верчусь и ничего не успеваю, и виню в этом обстоятельства, хотя явно дело тут во мне самой. Когда разменяваешься на мелочи — плохо получается, до основного уже не доходишь, руки коротки! Очевидно, совмещать в себе (или пытаться) — Марфу и Марию — нельзя, ибо Марфа, «пекущаяся о земном», сильнее, она — быт, а быт — душит.

Бедный Малыш, если и у вас такая же жара, представляю себе, как тяжело работать, особенно на поле, в открытом месте. В холод — работа греет, а от жары не укрыться. Впрочем, м. б., именно на вас и проливаются те «кратковременные дожди и грозы», к<отор>ые старательно обходят нас стороной? Очень сочувствую тебе по поводу радио, я тоже не перевариваю, когда оно включено целый день, и никак не умею от него «отрешаться», как другие, особенно от больших порций песен, романсов и арий из опер. Зато — нет худа без добра — ты «образовываешься» волей-неволей и постигаешь тысячу разнообразнейших вещей, которыми иной раз и блеснуть можно в непринужденном

разговоре. Помню, как приезжавшая Вера была потрясена моей эрудицией в целом ряде областей, о к<ото>рых она и не слыхивала; ей все хотелось поговорить о литературе, а я ее уводила к беспривязному содержанию скота, скоростным плавкам металла и передовым агроприемам возделывания сельскохозяйственных культур.

Не представляю себе, что Инесса находит сказать тебе обо мне: мы видимся чрезвычайно редко и обычно я ее жестоко накачиваю насчет количества, качества и стоимости отправляемых вам посылок, ибо ваши немыслимые багажи — результат ее беспардонной деятельности на этой ниве; уговариваю ее беречь и растягивать на подольше наши немудрящие «средства». Инка смотрит на меня выразительными глазами, но делает по-своему, и на каждый ваш писк реагирует так, как будто вы горите ярким пламенем, и тушит его своими слезами и, как писала мне бабка, «посылает им самую дорогую колбасу, от к<отор>ой Ирочка болеет». А вообще, таких друзей, как Инка, нет на белом свете, это последний представитель вымершей породы бронтозавров от дружбы. Прелесть, что за человек. Бабка ее обглодала начисто, остались одни фижмочки из упаковочной марли, да страдальческие, полные слез очки; спотыкается она, кстати сказать, по-прежнему на своем тернистом пути. Будь с ней поласковей.

Будь умницей, веди себя хорошо, это так важно!

Обнимаю вас, будьте здоровы!

Ваша Аля

* * *

Алины описания мордовок и их нарядов не устарели и в наше время. Еще были там деревни без электричества, с «черными» печками. Пожалуй, из нарядов исчезла живописность — вышивок уже давно нет, но онучи и лапти, блузки с напуском — все это осталось. Многие надзирательницы, да и начальники лагерей были из мордвы, агрономы, «профобучение». Жизнь в деревнях — очень бедная — мы часто видели, работая в лесу, как пешком шли со станции укутанные мордовочки, в онучах и лаптях, и тащили домой мешки с буханками хлеба — значит, ни магазинов, ни муки в деревнях не было, — а это не один десяток километров, да по снегу. Мордовская природа, так называемая «среднерусская» (рядом — Рязань), меня пленила; после тяжелых сибирских кедров — веселые березочьи хороводы, «страна березового ситца», вся щебечущая непуганными птицами, соловьиные ночи, белые

лилии в заболоченных речках…

И май, и июнь были невыносимо жаркими и у нас, в Мордовии. Но времена были относительно гуманными — мы работали из-за жары с шести утра до десяти, а потом еще вечером, с четырех до восьми. Так что от жары страдали меньше Али. Но без привычки в поле было тяжело.

* * *

30 июля 1961

Милый Малыш, получила сегодня от тебя открытку типа «Как вы поживаете». Мы поживаем ничего себе, мерси. После прохладной «переменной облачности» наступили жаркие дни — 30° в тени, а мы к тому же стараемся загорать на солнце, я в ущерб работе, девочки в ущерб здравому смыслу. А. А. сейчас нет, она лечит зубы в столице нашей Родины, и поэтому я свела на нет всяческую готовку — пью черный кофе холодный прямо из носика кофейника и поджариваю хлеб на сковородке. Варенье сварено. Инна и Нана снимали пробу — Инка деликатно изъявляла восторги, Нанка выразительно молчала. С вареньем у меня вечно то недо-, то пере-, в результате чего оно среди зимы или засахаривается, или скисает. Таруса стала филиалом Переделкина, бомонд сидит на бомонде и бомондом погоняет, уел. Мих. салон, у Мандельштамихи салон и они друг перед другом выхваляются знаменитостями — прошлыми, настоящими и будущими. Последнее достижение Мандельштамши — дирижер Лео Гинзбург, к<отор>ый открыл и вывез из Ташкента пианиста Керера. Он (дирижер т. е.) заикается, у него толстая дочка и «Победа», прошли слухи, что он вдовец, и мы с Инкой зашевелились, но оказалось — ложная тревога. Боюсь, что солнце, воздух и вода — главное, чем пробавляются девочки, а харч совсем неважный. Инке, правда, в некотором роде подходит чай с молоком и молоко с чаем, она говорит, что почки не беспокоят, но Нанке не мешало бы иногда и мясного поесть. Хозяйка у них незаботливая и готовит плохо, а главное — редко, и к тому же задумала замуж выходить, сегодня была свадьба, — он вдовый, а она аж трижды вдова, на свадьбе Инка пела (не Баха, больше светскую музыку!), а Нанка плясала и имела большой успех. Пирогов не было, зато спиртного в достатке. После свадьбы учитель с учеником на бровях пришли мне помогать воду таскать, наносили полную бочку, вот какие тимуровцы! — Инка тоже аттракцион в здешнем обществе — благодаря Баху, конечно. Ел. Мих., Фрида, Мандельштамша и прочие меломаны млеют, внимая

сладким звукам; Инку эти успехи, по-моему, не радуют. У нее обычно спрашивают, что Ирка пишет, а потом просят спеть — дальше интерес не вдет, напрасно — она по-настоящему хороший человек, даже без прилагательного: по-настоящему человек. У нас покос (государственный) окончен, а сейчас частники косят для своих персональных коров, погода для сена хорошая, а вот для косарей и прочих сгребальщиков — по-моему, тяжелая. Очень, очень жарко. Очень ли устаешь. Малыш? Я очень уставала косить и сгребать, страдала и от жары, и от комаров и гнуса. Всегда предпочитала огородные работы полевым и сенокосу. Впрочем, все нелегко. Истинную цену хлебу и овощам знаю на всю жизнь. Теперь знаешь и ты.

Крепко тебя, мордочка, целую, обнимаю вас.

Ваша Аля

Белля тебе послали, понравится ли? Мне чрезвычайно.

* * *

Работали мы в поле, и работа была скорее приятная. Пропалывали свеклу, окучивали картошку, сгребали сено. На поле привозили в бачках обед, иногда жгли костер и жарили «свое» — хлеб с колбасой, нанизывая на прутики. Норм не было, жару я любила. От покоса меня отстранили, так как не умела обращаться с косой, а были и настоящие косари — верующие, из украинских деревень, умевшие и любившие. Я шла следом и «ворошила». Так что не знаю, узнала ли я «истинную цену хлеба»?

* * *

А. А. — Ада Александровна Шкодина (Федерольф).

Инка и Нана — И. З. Малинкович и Марианна Фрейдина.

Фрида — Фрида Абрамовна Вигдорова, много помогавшая нам. Кажется, именно благодаря ее хлопотам через Б. Полевого (с которым она работала в «Юности») удалось в 1964 году «выйти», как говорят сейчас, на Брежнева — с ним разговаривал на приеме в Кремле Полевой, он, по словам того же Полевого, «выслушал сердечно». Маму освободили 14 октября 1964 г.

Ел. Мих. — Голышева, переводчица, соседка Ариадны Эфрон в Тарусе.

* * *

26. X.61

Иришь-Малыш, как жив? Получили ли книжечки — Борину и мамину? Обе нельзя достать ни за какие деньги, вообще полный фурор. Жаль, что Борина так нелепо составлена. А главное, не пойму, как это в «Марбурге» недостает 16 строк или это Боря сам выбросил в последнее время? Ты что-нибудь об этом помнишь? Как понравилась мамина книжечка? Там, к сожаленью, есть опечатки (у семи нянек…) и дурацкое «вегетарианское» оформление, уж никак не связанное с содержанием. Надеюсь, что следите за материалами съезда, как все интересно. Счастливая ты, будешь жить в светлом здании коммунизма. А мне не дожить — помру в вестибюле. Пиши. Обнимаю. Будьте здоровы!

Аля

* * *

Обе книжки мы получили. Но книжицу Б. Л. было больно держать в руках — как это? Выходят книги, а мы, его самые близкие, здесь, в лагерях? Книжка вышла, а мы — нет? Значит, нас совсем хотят от него оторвать? Да и новые редакции раздражали. Чему можно было уступать при жизни, после смерти должно было отступить. А вот цветаевская книжка ездила с мамой даже на какое-то внутрилагерное следствие в Саранск, по Рузаевкам, в тюрьме саранской с ней была, и в больнице лагерной потом — и очень помогла и поддержала…

Речь идет о XXII съезде. Его транслировали по всем репродукторам поселка и зон, мы и обедали, и выходили на поверку под эти «материалы». Надежды на пересмотр были лишь у «военных преступников» — ни верующие, ни мы ни на что не рассчитывали. И ведь именно после XXII съезда кончилась лагерная легкая жизнь — в декабре 1961-го пришли новые инструкции о строгом режиме, запрещающие посылки, ограничивающие свидания, переписку, насчитывающие какие-то странные калории (без сахара и животных жиров)… Нам с мамой, как «бырговичкам», полагалась одна посылка, кажется, и два месяца весом 5 килограмм. Другим и того меньше. Из ларька изымался сахар, молоко. Оставшиеся там конверты, мыло и повидло можно было покупать лишь на заработанные деньги (мой заработок в месяц равнялся 20 копейкам). Ухудшился режим, озлобились надзиратели, отбирали у вахты принесенную тайком картошку, выкидывая свиньям в канаву. И карцеры пошли.

* * *

13 ноября 1961

Милый Малышок, у нас второй день мороз и солнце, но не весело, п. ч. снега совсем нет и земля зябнет голая. На праздники приезжала Ада, побыла дней десять, поучаствовала в деревенском быту, а сегодня вновь уехала к цивилизации поближе, а я осталась в обществе кошки — ибо в ином обществе совершенно не в состоянии работать — отвлекаюсь. Вообще-то и кошка мало помогает. По слухам. Инка с детсадом ездила на праздники в Ленинград и правильно сделала. Она совершенно чумеет от работы и в первые же две недели ухитряется израсходовать без остатка все здоровьишко, накопленное за отпуск. А я за время твоего отсутствия "превратилась в какого-то сторожа маяка, в Москве совсем почти не бываю, а когда бываю, то до такой степени бегом, что потом в Тарусе никак не могу отдышаться. Все работаю, и сама себе надоела, ибо сработанного-то и нет ничего.

Как гусыня на гнезде, а цыплята все не вылупляются. Не умею я хватать время под уздцы, оно первое меня хватает под это самое и тащит к старости поближе — больше никакими достижениями похвастаться не могу, а жаль.

И все же люблю я свои одинокие тарусские месяцы, особенно, если погода не дождливая, как у каждого психа, она, погода, действует на настроение, и из серого низкого неба уж никакое решительно вдохновение не нисходит на мою победную головушку. Недавно получила в подарок вышедший толстый безобразно изданный однотомник Бунина. Я его очень люблю — все, за исключением той прозы, что была у тебя, или почти все. И теперь перечитывала «Жизнь Арсеньева», «Деревню», пожалуй, с неменьшим удовольствием, чем ты своего Манна. Какое богатство, неистощимость и — ничего приблизительного, рядом стоящего. Вспоминаю его глаза, светлые, чуть не до белизны, пронзительный и недобрый взгляд. Думаю, так же и Толстой смотрел, и в светлости глаз была не русская созерцательность, а какая-то холодная раскаленность добела. По крайней мере у Бунина было именно так.

На мамину книжечку многое — знакомые и незнакомые — отзываются письмами. Выход ее в свет оказался настоящим событием, многое ведь впервые столкнулись с этим явлением. Наташа Ст. достала мне две книжечки Бориса, одну для меня, одну для моей подруги детства, к<отор>ая замужем за испанцем-антифашистом и живет в Мексике с ним и дочкой — на каком языке они говорят в семье, она никогда не смогла мне объяснить! Там нет русских книг, поэтому я с особым чувством отправила ей и маму, и Борю. Наташа пишет, что Борю купила в магазине, что на ул. Горького, где трое суток дежурила

полуторатысячная армия книголюбов, большинство которых разошлись ни с чем: тиражи небольшие и рассылаются по всей стране и в Москве мало что оседает.

Получила ли ты «Тарусские страницы» и понравилось ли тебе там что-нибудь? Маминым разделом я недовольна, составлено как бог на душу положил Оттену, — на этот раз он, господь т. е., не очень-то расщедрился, хоть и много стихов, но пестро, случайно, нестройно. Но я ко всему, что касается мамы, лезу со своей дочерней меркой, пора бы отвыкнуть, хотя, сказать по правде, неплоха и не тесна моя дочерняя мерка… Идет речь о перенесении праха из Елабуги — если удастся отыскать среди безымянных могил ту самую. Вопрос будет решаться весной, и, в случае, если квадрат поисков невелик, то Союз пис. получит разрешение на раскопки. Поеду опознавать, если что и осталось за 20 лет, то косточки одни, и опознавать придется по росту, форме черепа, состоянию зубов, размеру рук, ног, и, верно, по изменению шейных позвонков (причина смерти). Трудной будет последняя встреча — но дай Бог, чтобы состоялась.

Обнимаю тебя — вас обеих — рада, что мать лучше себя чувствует. Пиши, дружок.

Твоя Аля

* * *

«За исключением той прозы, что была у тебя…» — У меня были «Воспоминания» и «Окаянные дни» И. А. Бунина.

Наташа Ст. — Наталья Ивановна Столярова, секретарь И. Г. Эренбурга, знакомая А. С. Эфрон еще по Парижу.

«Подруга детства, к<отор>ая… живет в Мексике…» — И. Лебедева.

«Тарусские страницы», посланные мне Голышевой Е. М., я получила, и мы в лагере ими зачитывались. Там была повесть Б. Ш. Окуджавы, очень нравившаяся маме и многом молодым лагерницам. На сборник была очередь.

«Последняя встреча…» — Она не состоялась. Почему? Я не знаю.

* * *

20 ноября 1961

Милый Малыш, все-то наспех, да на скорую руку приходится писать тебе — не взыщи, а только представь себе, всю

бесконечность несказанного и несказанного, остающегося за пределами почти всех на свете писем… Сегодня получила твое от 7 ноября, живо представила себе твой отдых — отдых, во вкус которого обычно только-только начинаешь входить к концу выходного… Всю-то войну проработали мы без выходных и по 12 ч. в день, и «харч» можно себе представить, и вот, когда опять появились выходные — сперва 2 в месяц — то долго не могли привыкнуть к необычности состояния покоя. — Очень рада, если перекрасишь кофточку, а еще больше обрадуюсь, если это сделает для тебя кто-нибудь, т. к. тут требуется определенная сноровка. Мне не нравился ее линялый цвет, но девчонки уговорили, что «модно». По-моему, темный всегда лучше, когда не до модничанья. Получила ли «Тарусские стр.», к<отор>ые тебе собственными белыми ручками послала Ел. Мих.? Вокруг этого альманаха начинается — пока еще подспудная полемика, а потом, верно, и бить будут — за поэму «Шофер» и еще за что-то. Уж я читала-читала этого «шофера» и с руля, и с тормозов, всякоразно, и ничегошеньки не усмотрела. Как ни парадоксально, но в стихах современных неважно разбираюсь, я воспитывалась в то время, когда несколько поэтических вершин высилось над нижайшим болотом «общего уровня» — который теперь настолько вырос, что я, за несомненным профессиональным мастерством многих «молодых» не в состоянии разглядеть поэзию, к<отор>ая, как нам известно, не только мастерство. — Я даже не представляю себе, что у тебя еще нет Бориного сборника, если дети до сих пор не достали, то пошлю тебе я, у меня есть один в резерве, и я мечтала послать его своей подруге детства, у которой действительно нет никаких шансов его достать, ибо там наши книги совсем не продают. Я спишусь с Инкой, и, в зависимости от их «наличия», пошлю тебе или нет. Говорят, что с «Марбургом» спроизвольничал все тот же Алеша — вот уж действительно «смоленщина»! Я знаю непреложный закон о литер. наследии: можно «выкинуть» целое произведение, но видоизменять, хотя бы не оговорив в примечаниях, нельзя. А там ни примечаний, ни портрета, ни… вступ. статьи. В общем, без всего этого обойтись можно, а вот без самих текстов — труднее. А я иногда приоткрываю книжечку, читаю оба «Вальса», скажем, или еще что-нибудь одно — и отставляю. Все еще слишком грустно, и — как ожог, вроде бы не болит, а чуть приблизишь к источнику тепла — и нестерпимо. Тот мамин портрет, что тебе нравится — в «Страницах», но искажен безбожно, какая-то комячка (pardon) с флюсом. А глаза у мамы были не раскосенькие, как у некоторых, и личико ровненькое — красивый овал. Как ты себя чувствуешь? Мне кажется, что должна окрепнуть — и физицки и умственно. К

концу срока разберешься, кто сказал «мяу» («ей-богу не я, господин учитель!»). Ел. Мих. спрашивает, получила ли антологию фр. поэзии, посланную через Инку?

Обнимаю вас, будьте здоровы!

Твоя Аля

* * *

Выходные у нас были еженедельно, а по субботам мы работали.

«Шофер» — поэма В. Корнилова.

«Подруга детства» — Ируся, дочка друзей Марины Цветаевой Лебедевых, уехавшая в Мексику.

«Алеша» — А. Сурков, составитель (?) сборника Б. Л. 1961 года. Но новую редакцию «Марбурга» подготовил сам Б. Л. к изданию 1957 года. Она и вошла в это издание.

* * *

27 января 1962

Мой Малышок, милый, опять два слова наспех — сегодня запаздываю со своей «нормой», а отозваться на твое письмишко хочется. На днях напишу поподробней. Во-первых, твое письмо от 11-го еще — или уже не дошло до меня, а от 17-го пришло очень быстро, и то хорошо. Как встретили Н. год? Наверно, по-своему очень славно, дружно. Праздники в трудных условиях — действительно праздники, и многое из них мне запомнились больше, глубже, сердечнее, чем многие и многие «фестивали», вроде недавнего голышевского. Не огорчайтесь тем, что сократили посылки. Мама помнит, каково бывало без всяких посылок вообще, и каков харч был «при культе».

Как-нибудь вытянем (пишу, будто бы я с вами, но я действительно с вами больше, чем сама с собой!), и все будет хорошо. Сперва ты выйдешь, потом дуру-мамку будем вытягивать, и вытянем, уверена. Лишь бы она сама себя не гробила и не устраивала себе «режим» сверх существующего. Я как-то очень верю, испытав на себе, в приливы-отливы судьбы, и знаю, что за плохой всегда идет хорошая, высокая волна. От нас же зависит и требуется доживать до нее и не убивать самих себя — тоской, бессонницей, нервами. Их надо держать в узде, а что они поддаются ей, я живой свидетель!

Что еще очень важно — есть у вас верные друзья, вроде Инки,

например, а это громадный, неисчерпаемый, единственный в жизни капитал. В этом отношении — вы редкие «капиталисты», потому что есть люди, к<отор>ые вас любят и поддерживают. То, что отсеялось, — черт с ним. Не надо лишнего в жизни — болтовни, пустомельства, парадности, «богатства». Многие отошли и от меня — не отошли, сама отстранила; корректно и вежливо. Всех и всяческих сенсационеров в первую очередь, тех, кто показал свою человеческую несостоятельность в человеческой беде. Мамина беда — одна из ее бед! Что она по существу своему хаотична, господь так и не отделил в ней «свет от тьмы» в первый день творения! И потому она органически не разбирается в плохом и хорошем, в людях и в явлениях, путает хлеб насущный с птифуром, блага материальные с духовными, и ужасно страдает в этой неразберихе — и другие страдают, за нее и из-за нее… Нет, я не хотела «замиряться» с ней посредством коробочки печенья. Я с ней и не ссорилась и никогда не хотела обидеть, что об этом говорить! Печенье же есть печенье (было!), и мне просто хотелось доставить ей к празднику весьма скромное удовольствие.

А жить надо по правде. Жить надо (материально) не лучше других. Живущих хуже — жаль, но им можно помочь. А вот богатым, нашим теперешним помочь ничем нельзя. Как невыносимы мне советские «нувориши», хотя бы наши, тарусские хапуги-переводчики, писатели, акулы — с Бахами и фестивалями, а главное — с сенсациями. У меня к ним — классовое чувство — забавно! И как для них по сути дела закрыто все то, о чем они толкуют и рассуждают. Ибо прекрасное — и в первую очередь искусство — дается чистыми руками и в чистые руки… Пусть все эти бессвязности наспех не покажутся тебе пресными «евангельскими» проповедями. Пойми меня правильно…

У нас пока зима теплая, часто оттепель, жаль, что девчонки не успели прислать тебе вовремя сапоги. М.б., имеет смысл (если не удастся прислать по одному бандеролями) попросить разрешение у начальника на внеочередную посылку, ибо это — явно не съедобное и нужное для работы — сапоги то есть! В марте надеюсь побывать в Москве недели на три, тогда пришлю тебе и маме сладкого, а здесь вроде ничего подходящего для бандеролей не водится, однако посмотрю. Весной, к лету поближе, надеюсь получить какие-нибудь деньги. Весь 1961 не заработала ни гроша, хотя работала много. Но «Искусство» неплатежное издательство — ждать приходится годы. Так что больше даю советы Инке, как распоряжаться тем, чего не вкладывала в общую копилку! Инкины болезни не столько простудные, сколько от несоблюдения строгой диеты, к<отор>ая ей необходима. Ест что, когда и где попало. Дом у них не семейный, никто за этим не следит, а она не

такова, чтобы сама за собой ухаживать.

Обнимаю. Пиши.

Твоя Аля

* * *

23 мая 1962

Милый Ребенок, всегда-то пишу тебе через пень-колоду, чаще всего ночью (которой ты-то бодрствуешь, а мне отчасти спать положено!), и, будь то ночью или днем, упуская что-то главное, ради чего и за перо бралась. Так и на этот раз. Мне хочется сказать тебе лишь одно, для того, чтобы жить «образцово и просто», мне кажется, вовсе не обязательно проводить «свои юнаи года» в испр. — труд. лагерях. Такая твоя «концепция» простоты, pardon, хуже воровства! Взять в руки метлу и вымести к чертовой матери суету из своей жизни можно (и должно) именно в так называемых вольных условиях. Ужасно мне грустно, кстати, что в сущности (?) твоей заложено и непротивление потоку, при всей супротивности твоей натуры. Вот складывались обстоятельства далеко не просто и далеко не образцово, ты и жила по обстоятельствам, изменились они — и ты подчинилась в какой-то мере «образцовости и простоте». Но мыслимо ли брать извне это самое «образцово и просто»? Зачем? Выпусти их наружу ты, из своей собственной глубины, и сразу все станет на свои места, и суета, и суетное — сами уйдут. Да, милый, конечно, вернуться — трудно. К прошлому не возвращаются, а будущее неясно даже цыганкам. Но трудно будет только самое первое время, «чистилищный» промежуток его между двумя эпохами твоей жизни. Всякое «между» — трудно, это — смутное время, когда особенно важно держаться правильно, ибо от этого «держаться» и зависит дальнейшее «так держать». Это раз. А потом трудно — и самолюбиво больно — устраивать свою жизнь среди большого количества ложных друзей и малого — истинных, — мало ли, что еще больно и трудно! Но все перемелется — и быстро. Все пойдет на лад. Если ты дашь волю своему «образцово и просто»… А сейчас все вокруг как и два года тому назад. Наконец пришла весна и все расцвело — от черемухи до соловьев, и приближается конец мая, и опять мы в июле собираемся в Латвию, а вновь ты будешь меня провожать на Рижском вокзале. Что дальше? Увидим.

Твоя Аля

* * *

«Образцово и просто» — из стихотворения М. И. Цветаевой: «Я счастлива жить образцово и просто…» Удивительно, как сбылось пророчество Али, как любящее ее сердце наворожило: в июле я вместе с Инной действительно провожала ее в Латвию, и как два года назад, она долго не отходила от окна… Как в рамке вижу ее в окне — постаревшую за два года, пожелтевшую, но с теми же (в эту минуту!) смеющимися глазами.

Я вернулась из лагеря 14 июня 1962 года, через 3 недели после этого письма.

* * *

27 апреля 1964

Дорогой Аришик, вот и Пасха приближается, навсегда в нашей памяти связанная с болезнью и уходом Б. Л. — с его Страстной неделей (и с воскресеньем, раз он в него верил!). Посылаю тебе переписанное его письмо, чудесное; только, прошу тебя, не пополняй им ничьих коллекций, ладно?

14 июня (1952 г.)

Дорогая Аля!

Я еще по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанном и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей весной из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег, и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти, и т. д.

Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал нескольким друзьям большой новый кусок прозы, еще непереписанный. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад.

Я здоров, я живу незаслуженно хорошо, Аля, с блажью и фанабериями (проза, чтение), которые позволяю себе.

Мы завтра переезжаем на дачу, и я тебе пишу эти поспешные строки в обстановке подведенных итогов и валяющихся на полу обрывков веревки и оберточной бумаги.

Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутливо спокоен. Я не остыл к жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Мне нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю

чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что, м. б. совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно.

Вот моя открытка тебе, между переводом и огородом. Я летом хочу кончить роман так, как он был начат, для себя самого.

Tout a'toi Б.

(авиаписьмо, в Туруханск)

Целую тебя, Аришик, поздравляю с приближающимися весенними праздниками, с самой весной. Пусть она будет доброй и щедрой к вам обоим.

Твоя Аля

* * *

2 сентября 1966

Милый мой Аришик, каждый раз, когда вижу твой почерк на конверте (еще не вскрытом) — что не часто бывает! — столько сразу всколыхивается, вспоминается, поднимается из запечатленных и не будничных, не на каждый день — глубин! И в первую очередь — всегда! — Борис Леонидович; я-то знаю, что именно ты — дитя его души, больше знаю, чем знал он сам и чем знаешь ты. Из всех, его окружавших (впрочем, ты — не «окружала», ты — частица его сердцевины!), для меня осталась, пребыла, ты одна; «все прочее — словесность», как сказано у мамы. Дивное дело: ушел он, и как индейский вождь, или индийский гость — увел с собой на тот свет (условный) толпу жен, рабов, виночерпиев и бог знает еще кого еще; право же — увел; с его уходом именно они превратились в тени, исказились, сместились, растворились, и время уже насыпало над ними свой курган. И только ты осталась тайным Борисовым ростком, той свечой, что горела на окне, свеча горела. И горит в черном окне маленькое сердечко света. — Не смейся над этим «лирическим» вступлением, милый мой пересмешник! Ты ведь умеешь и писать, и читать между строк…

А нынче в твоем конверте роскошный, пристальный и пасмурный Бобка! Как он вырос и какую шевелюру отрастил! И похож не только на папу с мамой, но еще и на Наполеона. В чем немалую роль сыграл знаменитый «шумел-горел пожар московский, стоял он в сером сюртуке». Итак, евонная бабка получает наследство, а евонный папка размышляет над маршрутом Потьма — Москва — Лондон! Это очень хорошо, когда подумаешь, что еще недавно были возможны маршруты только в обратном порядке; причем не обязательно из Лондона. В общем, дай Бог, чтобы все было хорошо, чего и себе желаю.

Пока что ничем похвастаться не могу. Лето было из ряда вон нелепое и утомительное; я не увидела, как оно прошло — такое солнечное и великолепное! Сидела, как пришитая, над переводом «предпенсионной» пьесы Тирсо де Молина, спешила, тупела и, по-моему, перевела отвратительно. Главное — спешила к жесткому-прежесткому, последнему-препоследнему сроку, а когда закончила и отослала — получила премилую записочку от редактрисы: мол, можно не спешить, по разным там причинам срок сдачи сборника откладывается до октября; о чем им-то было известно еще в июне…

— Сверх работы — все время приезжали и уезжали гости, приходили и уходили… туристы, оптом и в розницу интересовавшиеся — кто жизнью и творчеством МЦ, а кто — моим лично отношением к, извините, Синявскому и Даниэлю. Сколько же праздных людей шаталось нынче по Тарусе! — 17 августа умерла Валерия Ивановна Цветаева; это была последняя глава «Дома у Старого Пимена». Похоронили ее здесь, в Тарусе. Умерла, говорят, во сне; был при ней только старик-сторож, пьяница и жулик, но, впрочем, сплошное «чего изволите»; единственный человек, чье присутствие ее не раздражало; а мне вспоминается голубой плюшевый альбом, в котором она — в институтской пелеринке — гордая загадочная красавица — из-под темных турецких век ясные ледяные глаза.

Гроб везли на телеге под звуки духового оркестра тарусского дома культуры; вот так. А веку ее было 84 года.

После нескольких дней относительной передышки вновь сажусь за переводы. Устала от всех и вся.

Твоя Аля

Жизнь моя поделилась
на две классические части —
стихи и действительность.
Несколько моих жизней

Варлам Шаламов

У Варлама Тихоновича есть такие стихи: «Сотый раз иду на почту за твоим письмом. Мне теперь не спится ночью, не живется днем». Стихотворение это не имеет посвящения, под ним нет даты (однако я вполне допускаю мысль, что посвящены они тому же адресату, что и публикуемые ниже письма). Но от кого бы он их ни ждал, важна тут сама роль письма в его жизни, как и жизни тысяч других, на десятилетия отрезанных от нормального мира. Пожалуй, лагеря и ссылки дали нашей культуре последнюю вспышку русского эпистолярного гения. Письма оттуда — не только обмен сигналами, не только заявка, что «до сих пор еще живой», но прежде всего потребность докричаться до своих, покончить со звериным одиночеством.

Весной 1956 года Шаламов живет и работает агентом по снабжению на торфопредприятии в поселке «Туркмен» Тверской области. Это уже не подземный мир Колымы, но еще и не настоящая земля, не приисковый барак, но и не Москва.

Это — временная передышка, остановка, канун возвращения в жизнь. Это своего рода Болдинская осень, когда накопленный опыт не удержать, он жаждет стремительной переплавки в слово. И тут, при свете тусклой барачной лампочки, в тех же самодельных тетрадках, в которых он пишет и свои письма, творит он свою Колымскую эпопею: рождаются шедевры, страдание кристаллизуется в куски прозы самой высокой пробы — «Сентенция», «Артист лопаты», «Прокуратор Иудеи», «Дождь»… Даже теперь, в конце века, они потрясают не только ужасами описываемого, но прежде всего — тем, как это сделано, мастерством. Одновременно происходит и заживление колымских ран, восстановление душевной ткани, попытки первых шагов «туземца планеты на новой планиде»…

В это время он ведет обширную переписку. Она интересна не только как феномен возвращения в мир привычных ценностей человека из подземелья, но и сама по себе — оригинальными оценками, вкусами, «шаламовской» позицией. Большинство из этих писем опубликовано, и, разумеется, по своей значимости они не идут в сравнение с теми, что найдены и публикуются здесь. Я нашла их недавно в старом шкафу, разбирая коробки с надписью «лагерные письма». Они очень личные, «молодые», но в совокупности представляют собой важный этап на пути возвращения. Тому, кому дорого творчество В. Шаламова, будет интересен и душевный контекст этой послеколымской Болдинской осени, вернее — весны.

Они адресованы моей матери. В начале 30-х годов, после первой отсидки, он был редактором журнала «ЗОТ» («За овладение техникой»), где и она, молоденькая совсем, работала литературным сотрудником, а может, просто стажером — во всяком случае очерки ее в журнале публиковались. Там они встретились в первый раз. От этого знакомства до первых писем из «Туркмена» — дистанция в двадцать лет. Но ни ее адреса, ни этих встреч он не забыл. И вот, в 1956 году, весной, из «полусвободы» — первое, почти официальное, робкое письмо.

Туркмен, 20 марта 1956 г.

Дорогая Ольга Всеволодовна. Если Вы помните меня и если Вы сохранили интерес к стихам, — то прошу Вас мне написать. Я мог бы показать Вам кое-что, заслуживающее, как мне кажется, внимания. В Вас же я всегда видел человека, который чувствует правду поэзии.

Много, более 20 лет, мы не видались. Я не бросил стихов и вот — хотел бы показать Вам, что пишется сейчас. Но — и без стихов и без рассказов — я хотел бы видеть Вас.

Я не живу в Москве, но бываю там 2 раза в месяц по воскресеньям. Если Вы хотите меня видеть, — напишите, и я приеду в один из субботних вечеров или в одно из воскресных утр. Все сейчас приобретает свою подлинную, естественную окраску, и хотелось бы верить, что это уже навсегда.

Если же (по любой причине) Вы сочтете нашу встречу ненужной — не отвечайте вовсе без всяких угрызений совести.

Ув. Вас В. Шаламов

Шаламов Варлам Тихонович, ст. Решетниково Окт. ж. д., Калининск. обл., п/о «Туркмен», до востребования.

Туркмен, 30 марта 1956 г.

Дорогая Люся. Бесконечно счастлив был получить Ваше милое сердечное письмо. Я бы давно написал Вам, но не решался, чувствуя, какую скрытую тревогу год-полтора назад вызывали мои посещения Москвы даже у моих родных и знакомых.

Боязнь доставить огорчение именно тем людям, которым отведено значительное место в моей душе (и Вы — из них), удерживала меня до последнего времени. Справедливо ли было такое суждение или оно было ложно и излишне щепетильно — об этом было трудно судить, не видя Вас двадцать лет. Ну, подробно при личной встрече. С легким и просветленным сердцем прошу прощения за оговорку в конце первого письма — я считал ее морально обязательной.

Письма к нам в «Туркмен» (это — торфяные разработки) идут 3–4 дня. Ваше письмо от 26 марта получил я только сегодня. Этот срок следует Вам иметь в виду на будущее.

Я приеду в Москву в субботу 7 апреля и буду в Потаповском в 9 часов вечера. Если, паче чаяния, я задержусь и попаду в Москву позднее, чем намечено сейчас, то буду у Вас в 10 часов утра в воскресенье, 8 апреля.

Привет Вашей дочери.

Взволнован я вовсе необычно, прошу простить за путаное письмо.

Сердечно Вас приветствую.

Ваш В. Шаламов

Туркмен, 31 марта 1956 г.

Дорогая Люся.

Ждать до 7-го апреля слишком долго, я приехал бы сегодня, но ведь Вы не получите моего письма заранее. Поэтому все остается так, как я писал: 7-го в 9 часов вечера или утром в воскресенье.

Я легко разгадаю Вашу загадку о нашем общем друге (вариантов всего два).

Желаю Вам счастья, бодрости, удач. Сберегите для меня какую-то часть Вашего времени и на будущее. Мне о многом хотелось Вам рассказать и еще больше — услышать. Я написал это короткое письмо потому, как Вы понимаете, что мне хочется говорить с Вами раньше, чем пройдет эта последняя неделя.

Ваш В. Шаламов

<Без даты>

<ТЕЛЕГРАММА> БУДУ ВЕЧЕРОМ ВОСЬМОГО — ВАРЛАМ —

* * *

Шестого, седьмого, нет, сегодня, наконец, восьмого… Каким молодым нетерпением веет от этих пожелтевших телеграмм, от выгоревших фиолетовых чернил, от школьных листков в линеечку! Увлечение двадцатилетней давности, образ красавицы, нежной и отзывчивой, вдруг обретает плоть. Неужели не напрасно в аду Колымы береглись двадцать адовых лет не только стихи — слово — но и воспоминания, тени когда-то любимых и прекрасных? Не об этом ли: «На склоне гор, на склоне лет я выбил в камне твой портрет…» И склон лет — уже не склон, а, наоборот, — подъем, который надо взять. Всего каких-то два варианта? Им найдется что противопоставить — мощнейший аккумулятор неизрасходованной за двадцать лет нежности, потребности в любви и понимании. Право же, заряд смертельный — годы, возраст (да и она не молода!) — ничтожные подробности рядом с возможностью счастья.

Варламу Тихоновичу было в то время 49 лет.

Как поразительно молодеют фотографии наших семейных альбомов по мере нашего собственного старения! Вот маленькая, — кажется, с первого «вольного» паспорта — фотография Шаламова — я с изумлением смотрю на нее сейчас: куда делись глубокие морщины, скорбно запавшие щеки, эти борозды на лбу, видевшиеся моим шестнадцати годам? Конечно же, их проводило воображение, подавленное Колымой, забоями, шоковой терапией, множило на двадцать полярных лет и получало раздавленного старика, на которого и взглянуть-то страшно. И который ожидается восьмого, в один из субботних вечеров…

В этом году кончалась моя школьная жизнь, и предчувствие свободы окрашивало эти апрельские вечера особой, никогда уже не повторившейся легкостью и ожиданием чудес. Эти тонкие, тающие, тянущиеся апрельские сумерки, как хороши были они тогда в Москве! В притихшей вечерней квартире необычно пусто, мы вдвоем с мамой, мы ждем, она волнуется. Начинает накрапывать мелкий дождь, потом припускает сильнее, темнеет, зажигаем лампу. Но не дождю остановить нетерпеливого гостя.

В мокром брезентовом дождевике с грубым тяжелым рюкзаком за спиной, который он не знает куда пристроить в маленькой передней, гость с первого взгляда, шага, слова, рукопожатия опрокидывает представление, сложившееся в полудетской голове. Мощен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джеклондоновский золотоискатель — клетчатая ковбойка и короткая стрижка дополняют портрет. Огромная заскорузлая рука сдавливает наши немощные пальчики с ненужной несоразмерной силой. Несоразмерен квартире и голос — резкий, напряженный (он уже тогда плохо слышал, начиналась глухота, перешедшая потом в болезнь Меньера), рубленая отрывистая речь, железобетонная рука-метроном отбивает в воздухе ее ритм, и куски фраз падают на наши головы, как куски породы, отваливаемой кайлом. Он читает стихи. «Я двадцать лет дробил каменья не гордым ямбом, а кайлом, я жил позором преступленья и вечной правды торжеством…» Об этом, как раз об этом сказано в романе «Доктор Живаго»: «…когда Блок писал — мы, дети страшных лет России, — это был образ, метафора, а теперь и дети — дети, и страхи — страшны…» Что знал лермонтовский Демон о позоре преступленья? Блок — о кайле, дробящем камни? И вот передо мной поэт, который знает все о том, о чем не нужно знать людям, и который выжил все-таки благодаря им, незнавшим…

За весь вечер он ни разу не засмеялся. Даже тень улыбки не

коснулась темного, навсегда обветренного — больше всего меня поразил цвет его кожи, такой же был и у Али Эфрон — как бы опаленного лица. А ведь это был счастливый и свободный вечер в его новой жизни. Более того, жизнь тоща манила надеждами, обещала полное возвращение — и к читателям, и в Москву, сулила многое. Однако — как поется в современной песне — «всего на жизнь свобода опоздала» — она опоздала на его третью жизнь.

В этот вечер тайна «двух вариантов» осталась нераскрытой. Об этом не говорили — не только потому, что я мешала, но и из-за совершенно «нежитейского» тона этой встречи. Но была еще одна суббота, и еще одна, и выяснилось, что его предположения неверны, а есть третий, единственный вариант, и этот вариант — его любимый поэт.

* * *

Туркмен, 23 апреля 1956 г.

Дорогая Люся.

Вот я и съездил в субботу в Москву и вернулся, и очень сиротливо мне там показалось в этот раз. Как всегда в таких случаях, замечаешь погоду и апрель становится только апрелем, не больше.

Все это, конечно, пустяки, на это не надо обращать внимания. Это — просто кусочек дневника человека, которому второй раз в жизни судьба показывает его счастье, показывает в поистине необычайном, фантастическом сплетении обстоятельств, которых никакому прославленному фабулисту не выдумать и которые, тем не менее, ежедневно, повсечасно выдумывает и создает жизнь. Дело ведь вовсе не в том, что «мир мал» и не только в сюжетных талантах жизни.

Дело в том (и это главное), что существует, реально существует некий идеал, вяжущийся с душой, творчеством и жизнью поэта.

Он может проявляться в идеях, вкусах, склонностях, в персонификации любви и ненависти и т. п. И каждый своей, своеобразной дорогой движется к этому идеалу. Он может подойти к нему из обобщенного опыта человеческой жизни — из гордого и опасного мира книг, выбирая (и этот процесс интуитивен) то, что отвечает этому идеалу, с которым он рожден на свет.

Он может подойти и в личном опыте, вся житейская незавидность которого оказывается в этом случае освещенной

блеском драгоценных камней, и понимаешь до перехвата дыхания, как все это жизненно нужно, как все единственно. И этот идеал реально существует, воплощается в реально существующей женщине. Это чрезвычайно важно. Эта женщина принадлежит к той редчайшей породе, которая и делает из поэта — поэта, из художника — художника. Она — закваска тех пяти хлебов, которыми кормят пять тысяч человек. Эта живая женщина и есть свидетельство верности пути.

Я, по понятным причинам, отказываюсь от попытки даже частичной характеристики этого реально существующего идеала, хотя и могу это сделать.

Именно это олицетворение, именно это воплощение и есть доказательство правоты. Это лишний раз убеждающая проба подлинности поэтического металла, всей совершенности его при строжайшей требовательности чувств. (Это — о стихах и идеале Б. Л.)

Я по-новому перечел рад стихов Б. Л. и с новой силой почувствовал то, что он говорил мне когда-то о честности поэтического чувства. За этот фантастический узор, который жизнь вышила на моей судьбе 14 апреля, я бесконечно ей благодарен. Бесконечно. Я рад также и тому, что она подняла на новую высоту человека, жизнь, идеи и творчество которого столько лет мне дороги.

Вот это и есть, вероятно, мой ответ на то, что Б. Л. просил тебя мне передать при нашей с тобой встрече, этот ответ о моем отношении к нему, больше чем уважение, больше чем симпатия. Это — утверждение жизни, формула ее.

29-го я приеду и доскажу недописанное.

В.

* * *

Итак, «узор» или удар судьбы, связавший любимого поэта и любимую женщину, был пережит. Остались — драгоценная дружба, уют вечернего дома, куда спешил он из торфяных разработок (кажется, работал там в конторе учетчиком) в субботних электричках, возможность отогреться, оттаять, довериться. Он занялся моим образованием. Экспромтом он читал мне что-то вроде лекций по литературе, и оригинальный его подход освежил и встряхнул для меня пропыленные хрестоматийные тексты. Он обожал «Госпожу Бовари», прозу Флобера. Увлекался Хемингуэем, только появившейся тогда повестью «Старик и море». Более того, он написал за меня

вступительный разбор этой вещи, который я подала на конкурс в литературный институт, и заслужила всяческие похвалы. Оказалось, что он любит футбол, кино.

* * *

Туркмен, 3 мая 1956 г.

Дорогая Люся.

Я хочу сказать насчет Ирины. Ей будет очень много почтальонного беспокойства — мне очень трудно не писать тебе. Вот и сейчас — пишу, а перед Ириной немножко совестно — это ведь не предупреждение о приезде.

Так вот об Ирине. Она хочет учиться в киноинституте, а это ведь плохо. И не потому, что там «среда» и т. д. Я в «среду» не очень верю, я больше вейсманист, чем мичуринец. Но, кроме наследственности, я верю в детство. В раннем детстве записываются черты характера, чертятся главные линии, высекается навсегда то, что в последующие годы лишь шлифуется, приглушается или углубляется. Вот потому-то я придаю большое значение второму (по меньшей мере) поколению интеллигентов и т. д. Вся человеческая борьба, судьба — есть утверждение детства, борьба за детство. У кого сколько хватит сил.

Душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой «средой». Я — о другом.

Тебе не казалось ли, что кино — штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, а все свои мерки заимствующее то из литературы, то из театра, то из живописи, то из скульптуры. Что Ирина в любом другом искусстве встретится с подлинниками единственно бессмертного, что есть в жизни, что даже общение потребительское отметит жизнь особой метой. В кино же этих великих подлинников нет. Учеба в худ. институте всегда приобщение к чему-то бесконечно важному, уравнивающему счастье и несчастье. В кино таких вещей нет, как бы ни старались Чаплин и Дисней.

«Интервенция» Славина была единственно хорошей пьесой нашей за 40 лет (кроме, конечно, пьес Булгакова — это дело другого масштаба). Славин написал хорошую повесть «Наследник» и превосходный рассказ «Женщина», столь мало замеченный у нас. Не помнишь? Фабула имеет отношение к кино. А потом Славин погиб в кино, как и Габрилович. Киноинститут обеднит Ирину. Я могу развить это и подробней, но письмо ведь не трактат.

Идешь вот по улице и думаешь: вот и этого не сказал, и того не договорил, и тоже к слову (при твоем рассказе О. И. о нашем знакомстве) не прибавил, что ты была первым человеком на свете, который увидел в моих стихах — стихи. Все говорили совсем не то, не так, не о том, и только ты говорила то, так и о том, показывая на ростки настоящего (редко) и на ненастоящее, чужое, манерное, фальшивое (часто). Я не люблю литературной среды и я — не оттуда, как ты знаешь.

Вот Цветаева написала в хорошем волнении две хороших статьи о Б. Л. («Эпос и лирика» — эту я видел раньше и «Световой ливень».) Она хвалила, казалось бы, предельно, большего пленения, кажется, и представить нельзя, но ведь это — мизерно, ничтожно по сравнению с тем, кто он такой и что он такое. Что он в миллион раз богаче, нужней (и не туда нужней), чем думает Цветаева при всей своей восхищенности и преклонении. Ясно, что русская поэзия XX века готовит два имени — Блока и Пастернака. Я-то и сравнивать их не могу — ибо то, что встало и что надо было разрешить Пастернаку, не идет ни в какое сравнение с нехитрой по сути дела (по тому грозному и наивному времени) коллизией Блока с жизнью. Совсем другие задачи, другие масштабы даны, другая воля, другие душевные силы нужны.

Для меня предсмертная просьба Пришвина о личном свидании с Б. Л. больше значит, чем эти две цветаевские статьи.

Пастернак давно перестал быть просто поэтом, гениальным поэтом (а м. б., никогда им и не был). От него ждут откровений, а не стихов. И их получают. И ими живут.

Легко объяснимо, почему Б. Л. не любит стихов Мартынова. На серьезный счет у Мартынова нет ни одной выстраданной строки, важной для его жизни. При несомненной одаренности он поэт искусственный, нарочитый. Он ходит по жизни и видит, что он задумал с утра увидеть. Он отправился наблюдать и зарифмовывать. Он ищет — а надо отбрасывать — лезущий на бумагу мир, оставляя то, что на бумаге может уместиться. И вообще — мне кажется, что художник ничего не «наблюдает». Он слышит, видит, но ничего нарочито не сберегает. Он думает не для стихов, а для своей души. А когда душа и жизнь помимо него оказываются стихами, музыкой, картиной, это не зависит от его воли, это — воля мира, какой-то части мира, захотевшей говорить его языком.

Стихи Мартынова — это не его жизнь, это его профессия. И мне думается также, что есть стихи и не-стихи. И все! Что нет никаких «квалифицированных стихов», ни «хороших», ни «плохих», и сам я пользуюсь этими определениями по привычке. Мне нравятся Мартыновские «Любовь», «Тоска», «Надпись на

камне», но не потому, что они волнуют меня, как не может волновать какой-нибудь Асеевский «Черный принц». Это — мерки пригорода поэзии. А вот я читаю Анненского, скажем (не говоря уже о каждой строке Пастернака), и каждый стих волнует меня по-особому. Баратынского, Тютчева. Мне нравится Бальзак, но не могу ведь я его ставить на одну доску со Стендалем или Толстым, не говоря уже о Шекспире и Достоевском. Я не хочу этим сказать, что Мартынов находится на таком же расстоянии от Анненского, как Бальзак от Шекспира, расстояние неизмеримо, бесконечно дальше. Бальзак-то ведь не в пригороде. Что касается пригорода, то я вот романсы всякие когда-то переписывал и много знал наизусть (а Евгения Онегина никогда не знал наизусть), и очень стыдился этого (что переписывал), и перестал стыдиться только тогда, когда в дневнике Блока увидел целый сборник романсов и песен, начиная с «Дышала ночь восторгом сладострастья».

О первом варианте. Первый вариант, конечно, почти всегда — лучший и уж во всяком случае всегда — самый честный. Первый вариант исправляется потому, что чувством жертвуешь ради мысли, а еще потому, что соблазняет звуковое, а еще потому, что настроенность сегодняшняя иная, чем настроенность завтрашняя или вчерашняя. Стихотворений оконченных, наверное, ни у кого не бывает.

Ты не сердишься на такое длинное письмо? Не сердись — мне очень, очень трудно. Не что-либо житейское, личное решать мне трудно. Это — другое. Завтра я уеду в Тулу, а возвращаясь из Тулы, пошлю телеграмму на Потаповский, и, м. б., ты сумеешь выбраться. Крепко целую.

В.

Письмо бросаю в Москве.

* * *

Я представляла, как в своем «Туркмене» на торфяных разработках (что-то вроде Баскервильских болот) он строчит мелким аккуратным почерком, без помарок, макая перо в «непроливайку», эти длинные письма, спеша выговориться, поделиться, бесконечно радуясь обретенному собеседнику. Быть может, эти скороговоркой сыплющиеся имена — Бальзак, Стендаль, Толстой, Мартынов — напоминают ухаживание начитанного гимназиста: «А из Гоголя вы что любите?» Но дело не в глубине и тонкости литературных оценок. В свете его судьбы эта потребность обменяться, перекликнуться драгоценными именами имела другой, человеческий смысл. Это было

возвращение на «факультет ненужных вещей», в знакомый мир, о чем так хорошо сказано в его рассказе «Сентенция».

* * *

Туркмен, 24 мая 1956

Дорогая Люся.

Второе письмо за сегодняшний вечер. Я, право, уже полтора месяца только и делаю, что пишу тебе письма — отправляю и не отправляю — всякие. Первое сегодняшнее чуть-чуть не вошло в разряд неотправленных — но до каких же пор мы будем молчать?

«Лит<ературная> М<осква>» закончил<а> сегодня пьесой Розова. Плохая пьеса. Пьесы, наверное, писать очень трудно — трудней, чем, скажем, повесть или роман, и всякому большому писателю хочется, наверное, написать хорошую пьесу. В этих несвободных, заданных рамках жанра попробовать свои силы, освободив себя от заботы закрепления пейзажа, интерьера. Соблазняет прямота обращения к зрителю, упрощенность воздействия, новизна задач. Страшная ответственность диалога, музыкальный ключ его.

Толстой упорно хотел быть драматургом — и не получилось театра Толстого. Горький же и сам понимал беспомощность своих пьес. Даже Салтыков и Чернышевский не удержались от подобных проб. Знал, что такое пьеса, — Чехов — впрочем, чего он не знал? Знал и Андреев — только у него было больше таланта, чем сердца и ума. Но тот, кто владел диалогом, как никто на свете, у кого речь героя — не только душевный, но и физический его портрет, у кого романы так похожи на первый взгляд на пьесы, — Достоевский — пьес не писал. И больше того, любой роман прямо просится на переделку в драму. Но все переделки были бледнее и в сотни раз хуже, чем роман. И не потому, что это «вторичность», и не потому, что за переделки брались бездарные люди — были и не бездарные. Почему? В чем тут дело? В каком-то необъяснимом совершенстве прозы, в неслучайности предложения, в необходимости каждого слова. О периодах Достоевского, о якобы небрежности, торопливости его пера писалось много — но попробуйте вынуть хоть одно слово — ткань будет зиять.

«Портрет» Шкловского — обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, по мнению нынешней критики, рассказ, повесть, драма должны прежде всего, иметь познавательное значение, а подтексты — это дело десятое. Если уж это верно, то лучше моих плохих «безвыходных» рассказов им не найти — достоверность и бытовая и психологическая имеется в избытке.

Лучшее, несравненное в сборнике — это заметки о Шекспире, несмотря на их беглость. Некрасивые воспоминания Чуковского о Блоке — см. его же воспоминания о Блоке в «Записках мечтателей» в 1921 (№ 6).

Когда-то, года два с лишним назад, я говорил Б. Л. о том особом значении, которое его стихи имели для многих людей на севере — когда поэзия, которую обвиняли в изощренной и нарочитой туманности, вдруг оказалась единственной реальной поэтической силой, выступившей прямо, да еще в таких условиях, где никто и насильно-то не мог бы, кажется, вспомнить каких-либо стихов представителей «гражданской поэзии». Мне показалось во время этого разговора, что Б. Л. отнесся с некоторым недоверием к моим словам (дескать, в лучшем случае на Шаламова они так действовали). Но это ведь совсем не так. Это — не только лично мое. Я помню ледяные камеры карцеров, выдолбленных в промороженных скалах, где люди, раздетые «до белья», согревались в объятиях друг друга, сплетаясь в клубок почище Лаокооновского клубка, около остывшей железной печки, безнадежно упрямо трогая ее острые ребра, ухе утратившие тепло, и читали «Лейтенанта Шмидта»: «Недра шахт вдоль Нерчинского тракта…» Это не я читал эти стихи. Я их слушал. Их читал Александров, какой-то московский экономист. Цветаева пренебрежительно изволила высказаться о «Л. Ш.» — это неверно, как неверны и ее замечания о «1905 годе», где море в «Морском мятеже», — м. б.» лучшее в поэзии море.

Я помню больничные койки, где матрасы были набиты сучьями стланика (вместо сена, которого и лошадям-то не хватало), костлявых людей на этих костлявых матрасах, где пролежни образовывались за сутки, людей с грязной шероховатой кожей, поблескивающей, как рыбья чешуя, людей, собравших последние силы, чтобы отключиться, оторваться от всего, что их окружает, чтобы эту дальность отрыва увеличить до предела, читая строки «Высокой болезни». Не знаю, м. б., они помнили и другие стихи — они их не вспоминали. Я помню Миру Варшавскую, медицинскую сестру, которая годами, пряча от бесконечных обысков, возила с собой «Второе рождение» и которая прямо говорила, что только стихи дали ей душевные силы все пережить.

И я думал позже — много позже — вот счастье поэта, вот где реальная сила его искусства, вот измерение подлинности его, вот к каким поэтическим истокам обращается человек, который не имел недостатка в Асеевых и Маяковских. Вот что в поэзии оказалось для него самым дорогим в то время, когда и думать-то о стихах нельзя было. И что такое «изощренность» и «роскошь» и

что такое черный хлеб искусства. Стихи эти пришли к людям не там, а гораздо раньше. Стихи эти были давно вложены, сохранены и к их помощи обратились в трудный час, доказывая этим их удивительную животворящую силу. Вот это-то и есть то самое чудотворство, о котором написано в «Августе». И все это происходит не потому, что это интеллигенты вспоминают — дескать, Пастернак их поэт. Хотя и это суждение, как бы оно ни было одноруко, ничего не заключает в себе малого. Для меня же ясно, что тут дело в той единственной нужности для человека, которая сказалась в его стихах. Что на подлинность выдержан особый экзамен. Что ни одно поэтическое имя современника не заслужило уважения и памяти. А ведь стихи прошлого — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Баратынского — таким образом, и для этого хранить в памяти нельзя. Необходимо, чтобы это был мир реальности, знакомых деталей, мир, достающийся нам без перевода, без аналогии (как при чтении Данте, Сервантеса, где мы должны подставить сегодняшнюю арифметику в их формулы). Не благодаря формальным достоинствам держится все, а потому, что это — подлинность единственного видения, осветившего жизнь с нужной стороны.

И еще вот что: когда начинает теряться понемногу мир — исчезают привычные интересы, убегают из памяти понятия, суживается словарь, прошлая жизнь кажется небывшей (голод, холод) — это процесс постепенный, медленный, и если человек не умирает, а выздоравливает — он также медленно возвращает себе кое-что (не все, конечно) из потерянного. В выздоровлении крепость физических сил опережает в возвращении крепость сил духовных, а у многих они (духовные силы) совсем не возвращаются. Так вот, в этом процессе таянья человека — стихи держатся дольше, чем проза — я это проверял на людях и на самом себе. Даже Гумилевские «Мореплаватели» (это «даже» для тебя — я ведь не поклонник Гумилева как поэта) крепче, оказывается, сидят в человеке, чем хотя бы «Война и мир». Понимаю это, веря в стремление человека к высокому, в то, что правда поэзии выше правды художественной прозы — и особенностями стихосложения — его мнемоническими качествами, укрепленными звучанием.

Ну, кое-как заканчиваю это письмо. «Золотая роза» Паустовского понравилась мне бы больше, если бы он не врал бессовестно о Мультатули, которого и о котором я хорошо знаю, и если бы не писал он этой раздражительной короткой фразой — эта штука вовсе не в духе русского языка, точнее, русской прозы.

Письмо сегодняшнее я так и не отправил. Ну, оно от тебя не

уйдет. Привет Ирине, Дмитрию и Мар. Ник.

Крепко целую.

В.

* * *

О том, что значил для Шалимова Пастернак, с не меньшей силой сказано и в его стихотворении «Поэту». Оно имеет и второе название — «Молитва». Мне же через несколько лет предстояло проверить справедливость слов о «роскоши» и «черном хлебе искусства» — на своем, маленьком, несоизмеримом тюремном опыте — и она подтвердилась. После смерти Б. Л., когда нас с мамой арестовали, мы, встретившись с ней после полугодового следствия и лубянской одиночки на суде, читали друг другу «Лейтенанта Шмидта», и мама говорила: «Господи, ну откуда он (Боря) мог все это знать, ведь он никогда не сидел, как же можно было это увидеть — «Это небо, пахнущее как-то так, как будто день, как масло, спахтан! Эти лица — а в толпе — свои!» И дело не в знакомых деталях — тут Шаламов не совсем прав. Что — по деталям — может быть дальше от вонючей трехметровой камеры с парашей и намордником, чем красивая жизнь господина Свана? Но я никогда не забуду своего упоения Прустом именно там, на Лубянке, Прустом, отложенным в свое время в уюте нормальной жизни, как скучный, изысканный буржуа, и тут вдруг открывшимся в своей пронзительной человечности, и это был тот самый «черный хлеб искусства», как оказалось.

Наступило лето, и мы все переехали на дачу, в деревню Измалково, около Переделкина. Б. Л. бывал у нас почти каждый день. В те годы еще чистый пруд с лодками и купаньем, живописные деревенские дачки с мостками, старый, сырой, безнадежно запущенный самаринский парк на другом берегу — все это стало новой рамкой, летним фоном для встреч и переживаний. А их было в то лето немало. Вокруг мамы образовалась колония подруг и приятелей — были и вернувшиеся «оттуда». Жил в Измалкове в то лето только что вернувшийся из лагеря художник Кирилл Зданевич. По субботам стал приезжать туда и Шаламов. Вечером, спасаясь от комаров, разжигали на берегу костер. Иногда после дождя сырые ветки долго не разгорались — и только Шаламов, мама и Кирилл умели в любую погоду раздуть пламя — сказывался лагерный опыт. Читали стихи. Шаламов — всегда стоя, у самого огня, отбивая ритм «чугунной» рукой, раскачиваясь, все в той же ковбойке, и тот же рюкзак всегда был рядом. Надо ли говорить, каким сочувствием

горели женские лица, обращенные к нему, какой отклик находил он в наших сердцах?

Переночевав на даче, в воскресенье он шел в писательский городок, на дачу к Б. Л.

* * *

Шатура, 12 июня 1956 г.

Люся, хорошая, дорогая моя — ни черта у меня не выходит — машины нет до сих пор, я вторые сутки торчу в какой-то дурацкой гостинице и, конечно, завтра не уеду и не смогу тебя повидать в среду в Москве.

То, что чуть не заставило меня разреветься на асфальтовой дорожке в Переделкине, становится с каждым часом все неотложней и острей. И Шатура мне не в Шатуру, и Туркмен не в Туркмен.

Для Ирининой библиотеки купил я сегодня однотомник Багрицкого (есть, кажется, все, кроме пресловутых троцкистских стихов «о поэте и романтике»). Привезу в субботу (или в воскресенье). Стихов Мартынова и «Контики» здесь нет. Диалог при покупке Багрицкого в книжном магазине:

Я: Снимите, пожалуйста, с полки вот эту книжку серенькую. Да-да, Багрицкого… Сколько она стоит?

Продавщица: Семь шестьдесят.

Я: Деньги платить вам или в кассу?

Продавщица (деликатно): Только, товарищ, это ведь стихи…

Я: Ну, ничего, пусть стихи.

В номере со мной живут два молоденьких студента-электрика (на практике) — оба маленькие, худенькие, оба в очках, оба привязывают к кровати гимнастические пружины, оба жмут в карманах резиновые мячи — копят силу, подражая юности Теодора Рузвельта, кто, как известно, сделал из себя, щупленького, подслеповатого юноши — знаменитого охотника на львов. О Рузвельте я еще с ними побеседую. Четвертая койка была свободна с вечера, но в середине ночи на нее рухнуло какое-то тяжелое тело, зазвенели пружины и «номерная» девушка, увидев, что я открыл глаза, попросила прочесть ей вслух (она — неграмотная) документы нового соседа: главный инженер котлонадзора по Московской области. Утром он исчез и я так и не мог рассмотреть эту пьяную рожу при дневном свете.

Люся, милая, думай обо мне побольше. Крепко тебя целую, желаю счастья, здоровья, покоя.

В.

Передай сердечный мой привет, особенно добрый и теплый Ольге Сергеевне. Пусть она поймет меня хорошо и увидит мою глубочайшую привязанность, уважение и доверие, которые прочно утвердились во мне, несмотря на краткое наше знакомство. Евгении Николаевне, которая очень, очень, очень мне понравилась, лучшие приветы. Ее любезной запиской я, конечно, не могу воспользоваться — я просто не читал тогда текста, да и не об этом просил. Ну, объясню при личной встрече. К тому же и в четверг, по-видимому, я не смогу быть в Москве.

Нине не забудь передать мои приветы, особым образом для меня важные.

Всем твоим — всегдашние лучшие пожелания. Я приеду в Измалково или в субботу вечером или в воскресенье утром (при любой погоде).

Еще раз — целую.

В.

На поезд я успел попасть — минут за 10 приехал. С заездом в Потаповский.

Самое главное: Если Б. Л. захочет меня видеть, то все перестроить применительно к времени, назначенному им. Если 22-го он видеть меня не сможет, то расширить время моей работы (если Женя не возражает, я хотел бы именно у нее). Пора уже всем этим начать заниматься, «откинув незабудки, здесь помещенные для шутки».

Всем привет

В.

Видала ли Алигер? Ей можно просто выбрать десятка два из более «нейтральных».

В.

Туркмен, 3 июля 1956 г.

Дорогая Люся.

Счел я за благо в Измалково больше не ездить…

* * *

Далее следуют последние страницы этого короткого, воистину весеннего романа, такого молодого, несмотря на возраст и опыт участников, такого светлого. Их я не привожу. И живы еще поминаемые там лица, и не нужны житейские подробности. По недоразумению ли, по логике ли «сюжета» — Варлам Тихонович ушел из нашей жизни. И уже не мы, а другие люди, другая женщина, помогли ему и вернуться в Москву, и обрести дом, и начать путь к читателю — о чем он, судя по

приписке насчет Алигер и о конце «незабудок», уже начинал поделовому хлопотать. (Речь шла об альманахе «Литературная Москва».) Только вот — «всего на жизнь свобода опоздала», и надежды 1956 остались бледными картофельными ростками, и не увидел он у себя на родине — ни своих настоящих книг, ни лиц своих миллионных читателей. В узком кругу, в самиздате распространялись Колымские рассказы — а сейчас в московском метро через плечо семнадцатилетней девушки я читаю «Сентенцию»… Он не дожил до этого.

Последние двадцать лет его жизни мы почти не виделись. Доходили слухи о его утяжелявшейся болезни, невыносимом характере, вспышках бешенства, растущей нетерпимости. Он стал резко судить и Б. Л. Не только к роману «Доктор Живаго», к которому он всегда относился скрыто неприязненно, предъявлял он несправедливый счет, но и к позиции самого Б. Л. в нобелевские дни — что не стал тот монолитом неуязвимости, не сумел навязать событиям свою волю — пресловутые «покаянные» письма. Он не написал нам в лагерь, не интересовался нашей судьбой.

Он умер в доме для престарелых, где, как говорят очевидцы, припадки безумия чередовались с периодами ясности ума и суждений. Он, за которым двадцать лет «смерть ходила по пятам», сроднившийся с ней в Колымском аду, как принял он ее, когда она стала реальностью в грязной палате для душевнобольных стариков? Сын священника, он не терпел разговоров о Боге, подчеркивал свое неверие. Поэтому так странны показались мне его похороны — и панихида, и молитва на лбу, и крест. Разве что погода была шаламовская — мороз, кайлом выбитая могила, нахохлившиеся вороны на разрушенной часовне Кунцевского кладбища. Но мог ли он, познавший до самого дна, чего стоит наш материальный мир, не верить в возможность выхода из него? Так веривший в слово — не верить в чудо? Чем жил он в последние часы просветления? Вот его стихи о соснах — о строевом лесе, который валил он в тайге, пресловутые таежные кубометры, бывшие соснами:

Чем живут в такой вот час смертельный
Эти сосны испокон веков? —
Лишь мечтой стать мачтой корабельной,
Чтобы вновь коснуться облаков.

Париж, 1990

Это было при нас…

Он залетел довольно далеко, наш воронок. Свердловск, Новосибирск, Красноярск… Сквозь его зарешеченные дверцы видны заметенные снегом улицы, горожане в валенках, с кошелками, хмурые, спешащие, привычные к воронкам. Мама вздыхает со своим обычным юморком: «Ох, как же мне надоел этот пейзаж в клеточку…» Потом — Тайшет с его знаменитой пересылкой, и наконец — последний этап до станции Невельская, откуда уже пешком, по настоящей тайге — в политический женский лагерь, единственный тогда на весь Союз. Кто же они, эти «политики»? Шли по тайге ночью, я в каком-то кургузом синем пальтишке, конвойный на лошади вез наши чемоданы и мешки, и был февраль… Когда я, уже на ступеньках вахты, переминалась, руки в карманах, ожидая надзирателя, по зоне пронесся слух: «Бытовиков привезли!» — статья-то у нас была бытовая. Но скоро — и каким образом все узналось? — этот слух перекрылся другим. «Скажите, — бежала ко мне по снегу черноволосая молодая женщина, — правда, что вы родственники Пастернака? Что вы за роман «Доктор Живаго»?»

Интеллигенции в лагере была горсточка. Основную же массу «политиков» составляли верующие женщины, больше всего с Западной Украины. В лагере я впервые столкнулась с теми, кого принято называть простым народом. И, надо сказать, это был вполне счастливый опыт. Наряду с очевидными повседневными обязанностями, эти женщины имели тайную духовную жизнь — она проявлялась в молитвах, секретных «семинарах» в сумерках за бараками, пении. Я стала записывать их песни, накопилась целая тетрадь, которую мне удалось вывезти при освобождении.

Через 20 лет я наткнулась на эти порыжевшие странички, стала перечитывать, зазвучали их голоса, ожили забытые круглые лица, повалил снег, загремели раздаточные миски… Захотелось облечь в плоть спутниц моего двухлетнего лагерного бытия, замуровать тайшетскую мушку в янтарную смолу, «реинкарнивать», как говорила Параня-иеговистка, знавшая много ученых слов. Я написала полуочерк, полурассказ (ведь многое забылось!) — «Дочери света», который является хронологическим продолжением предыдущего опыта, следующим курсом «моих университетов». В этом рассказе много стихов. Это и подлинные песни пятидесятников и иеговистов, и «Погорельщина» Н. Клюева, которая потрясла меня своим пафосом конца мистической крестьянской культуры. Героинями «Погорельщины» увиделись мне соседки по нарам, заплатившие такую цену за верность своему преданию.

Лагерная тема роднит этот очерк и с другими частями книги — с воспоминаниями об А. Эфрон и В. Шаламове. Страшный опыт этих двух не идет ни в какое сравнение с моими довольно беззаботными двумя годами. И, однако, не побоюсь сказать, есть и общее в нашей судьбе — и им, и мне, и малообразованным сектанткам помогло устоять то, что так мало ценится в суете повседневности — Слово: кому поэзия, кому молитва.

Дочери Света

Неопалимая Купина —
В чем народная вина?
Н. Клюев. «Погорельщина».

Мне часто хочется прийти в нашу — такую розовую, такую красивую — церковь в Телеграфном переулке и помолиться за них. А может быть, пора и панихиду отслужить? Ведь видела я их последний раз лет двадцать тому назад, и были они тогда уже не молоды. И многие из них, наверное, за эти годы пришли крутыми своими тропками к стопам своего Господа. Я подхожу к кануну, в любое время дня и года трепетным рождественским пирогом переливающемуся в левом приделе Меньшиковской уютной и ухоженной церкви, беру из стопки аккуратно нарезанных четвертушек листок бумаги и поднимаю обгрызенный карандаш на веревочке. Тепло, пахнет яблоками и воском, из начищенных окладов спокойно и понимающе смотрят отнюдь не закопченные лики святых. Красивый священник плавными движениями, вздымая волны черного маркизета, благословляет склоненные головы верующих, поздравляет с Христовым воскресением — сегодня суббота, — смотрит ласковыми загадочными восточными глазами Отец Нифон из Дамаска. Старушки прихожанки, ровесницы, наверное, моих тайшетских подруг, шаркая, тянутся прикладываться к кресту, целуют батюшке смуглую руку, надламывают просфору, аккуратно распределяют мелочь: «на хор», «на ремонт храма», «на новую ризу»… Я опускаю карандаш на стол. Нет, нельзя их здесь поминать. Ведь они не принимали все это — кануны, обедни, маркизет… Ведь они жизнь положили, чтобы не отступать от своего пре дания, и поминать их по-чужому — не значит ли это их, столько вынесших за свою истину, обидеть еще раз? Нет, лучше я просто помолюсь за них, просто вспомню их словами, которые так же широки, как и объятия рук, раскинутых по краям креста, их — вместят.

Под изумительнейшую «Херувимскую» (как же земны и прозрачны их песни по сравнению с нашим древним преданием!) я шепчу, вспоминая их обветренные деревенские лица: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное…». Да, это подходит, если расшифровать это темное место как «блаженны не взыскующие много мудрости». Куда там. И невежественны, и упрямы, и фанатичны. «Блаженны кроткие…» Нет, это не про них — умеют отстоять свое мнение, и за словом в карман не полезут, и агрессивны в спорах, и сопротивляться — умеют. «Блаженны алчущие и жаждущие правды…» Нет, тоже не про них. У них —

чувство превосходства, они уже «в правде», воистину сектантское высокомерие, даже у лучших: «Я-то спасусь, а вот ты…» «Блаженны миротворцы…» Нет, и эти слова не идут у меня с языка. Они жаждут возмездия, в их наивной эсхатологии расправам над гонителями уделено слишком много места. Так неужели же на горе не нашлось для них доброго слова, для них, принесших в жертву женское свое предназначение, оставивших детей и клетушки с ухоженными поросятами и годами мыкающих горе по лагерям? Нет. есть для них слова. Вот они:

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и злословить на Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда в небесах».

Да, темные, равнодушные к «светским» знаниям, сварливые, вздорные порой, такие приземленные, такие, на мой взгляд, «бездуховные» — и все-таки не отрекшиеся. Ни от Бога своего, ни от предания, каким бы неглубоким оно нам ни казалось. И был каждой из них дарован свой звездный час, когда, искушал ее сатана — спокойной старостью, «садком вишневым коло хатки…» Вот как нашу дневальную барака, худую высокую старуху Стасю с вечно больными зубами и вечными валенками на ногах… Было же договорено со следователем, что осудит она свое религиозное прошлое, выступит публично на открытом суде, где соберется вся общественность города Станислава, ныне Ивано-Франковска, и из области приедут ведущие атеисты, и по радио будут транслировать этот показательный процесс, и возьмет ее на поруки коллектив детского сада, где работала она (а как они все умели работать!) нянечкой и плакали по ней ребятишки. И ведь два срока были уже позади — ну, те, правда, при культе. И ждала ее дочка, то же самое проделавшая и живущая уже который год без своей «истины» спокойно, и внуки любимые. И радио приехало, и из Львова телевидение, но заплакала Стася и сказала (это при прямой-то передаче!) в последнем слове: «Не, не можу, не можу. Е Бо, и е дьявол, и е их слуги, и гореть вам в геенне огненной, отродья антихристовы». Много ли это? Много, наверное, для нашего времени.

Здесь так поздно светает, что непонятно, утро или вечер.

С трудом открываю глаза, которые еще слепит от вчерашнего перехода по сибирскому снегу. И таким же куском этой сверкающей зимы кажутся мне и чистенький платочек-хусточка, — и румяные, до блеска отмытые щеки, и приветливые голубые глазки сидящей рядом на нарах женщины. Она улыбнулась и заговорила. вернее, запела высоким-высоким голосом — господи, почему у украинских деревенских женщин такие голоса-колокольчики, от которых в ушах звенит, а когда их

несколько соберется да еще слов не понимаешь — ну птички присели у лужицы поплескаться…

— Яка дитына маленька, яка поганенька, яка зэлененька, — ласково пела эта ну прямо гоголевская хохлушечка — ей бы венок да ленты, а она в телогрейке и чудовищных рукавицах.

— А вы за что сюда попали? — спрашиваю я.

— Та за Бога.

Но от меня так легко уже не отделаться. Чем ближе подъезжали мы к Тайшету, где находился наш будущий «политический» лагерь, тем чаще на просьбу что-нибудь почитать дежурный совал в кормушку вместе с «Как закалялась сталь» и трепаные брошюрки с пауками, черными крестами и наганами на обложках: «Под сенью черного креста», «Кого охраняет Башня Стражи», «ЦРУ и «воинство Христово» и тому подобное. На воле я таких не видывала — ясно было, что мы приближаемся к местам, где эти брошюрки — необходимое орудие политработы. Я их прочитала. И теперь могла выяснить убеждения собеседника более точно.

— А в бессмертие души вы верите? Тося (так звали хохлушечку) вздохнула и сказала просто:

— За це сижу.

— А в воскресение мертвых?

— А як же ж!

— И в вечную жизнь на новой земле?

— И в новом Израиле все будем!

— Итак, Тося была пятидесятницей.

— А какой у вас срок?

— Десять рокив.

Ох эти десять рокив, щедрой рукой рассыпаемые нашей властью на головы Тосям и Параням за их бессмертные души! Сколько раз слышала я в ответ: «Десять рокив, та за Бога».

Тося (в лагере она работала возчицей) и отвезла нас на санях в зону. И новым продолжением скрипящего снега и праздничной голубизны неба было барачное убранство — горы накрахмаленных подушек, подсиненных простынь, добела оттертого деревянного стола, веселых вышивок на рушничках «Бог есть любовь» по-украински, по-немецки.

Пятидесятниц в лагере было немного. Они все умещались в кружок вокруг самой вымытой, самой вышитой, самой белоснежно-подсиненной постели своей негласной руководительницы — красивой Вали, бывшей трактористки. Румяные щеки Вали и ее всегда звенящий в бараке смех, умение отбрить и как-то властно приласкать, ее жизнелюбие долго вводили меня в заблуждение, и я не могла понять, почему эта

цветущая женщина остается все время в бараке, не ходит на работу, а ей, словно пчелиной матке, несут эти беленькие рабочие пчелки и вышитые рубашки, и масло из посылок и жужжат около нее, вернее, тонюсенько щебечут до самого отбоя. Но у Вали не было ног. Уже здесь, в Сибири, она попала под сенокосилку. А из больницы — нет. не домой, «сактировать» такого врага народа кто позволит? — обратно в лагерь и вместе с лагерем по этапам, вот уже шестой год так, а срок — «десять рокив» и "статья актировке не подлежит". Но не унывает. Охи мои и возмущения прерывает, у них на все ведь готов ответ: «Значит, велика моя мера у Господа». И читает — из их поэтической хрестоматии:

Тебе на долю выпал лишь арест,
А ты твердишь, что крест тебе достался лютый.
Л если бы тебе голгофский выпал крест
И чаша с горькою цикутой?

Когда в бараке нет немок-бригадирш, латышских полицаек, деятельниц КВЧ, они поют свои песнопения, иногда очень красивые. Мелодически они напоминают старинные романсы, а словарь — странен и современен. Тут и «сломанные струны гитары», и «знамя истины», и «горнило страданья». Кажется, это самодеятельные переводы с английского — секта ведь американского происхождения, и в ее поэзии как-то преломился образный строй песен спиричуэлс. А вот их лучшая певица, Наташа К., со станции Оловянная Восточно-Сибирской железной дороги. На этих страницах, полустанках, поселках Восточной Сибири еще хранились островочки «веры отцов»; обычно это несколько семей, окруженные стеной вражды в основном пришлого, завербованного, всегда пьяного рабочего люда. Скрывались, таились, старались и детей воспитывать в своей вере… Но не скроешься нынче, не те времена! Наташа работала приемщицей в фотографии. а ее муж, он же брат по вере, — заведующим этой же фотографией. Была лаборатория, где не только проявляли пленки, — тушили спет, по условному стуку впускали своих, пели, обсуждали наступление Нового Израиля и… Накатывало ли на них? Пророчествовали ли? «Ходили в слове», как хлысты? Глядя на Наташу, я готова была в это поверить: она была, конечно, нездорова, одутловата, бледна даже летом, а глаза — черные, всегда блестящие, такие странные на русском курносом лице. Когда она запевала, она бледнела еще больше, а глаза начинали светиться в темноте — становилось жутковато, наивные слова песен искупались напряжением, страстью, самозабвением поющих:

Гаснет ли пламя в борьбе испытанья,
Труден ли станет тернистый твой путь —
Выше и выше держи свое знамя,
Стойким всегда ты за истину будь.
Встретишь ли ненависть сердца жестокого,
Будет ли зависть следить за тобой…—

в этом месте такая мучительная пауза, звук такой высоты, бедные пчелки закатывают глаза — и как вздох облегчения:

Бог не оставит тебя, одинокого,
Если к нему ты прибегнешь с мольбой.
Если ты будешь доволен судьбою,
Счастье польется широкой рекой.
Все же молись, дверь закрыв за собою,
Бог неотступно следит за тобой.
Если ты верен, молись за остывших,
Знай, что, когда ты счастливей других —
Близких, далеких, о Боге забывших,—
Встань на колени, молись и о них.

Тайшетская метель метит белыми крестами пристанище последних страдалиц за веру нашего века, сквозь чисто промытые окна видны «ангелы в небе снежном», на тумбочке около Вали на вышитом рушнике — яйца, белый хлеб, квас, все простое, но аппетитное. Угощают сердечно, ласково. Меня привлекает их уют, милые простые лица, но не только — у них уважение к тайне, притаившаяся мистическая одаренность, они все-таки в гостях на земле, они лишены рационализма и прагматизма сестер по гонениям — более земных, уверенных в себе свидетельниц Иеговы, которых в бараке большинство. Да и по-человечески они ярче, с ними интереснее — проблемы их гораздо больше в области нравственной, чем у поборниц теории «электрических колец» и Армагеддона как результат термоядерной реакции урана.

С Наташей мы приятельствовали — она была полугородская и как-то ближе мне, да и не такая сноровистая в работе, как сельские жительницы, и не развивала у меня комплексов. Мы часто философствовали с ней на грядках, сидя на теплых кучах свекольной ботвы, не обращая внимания на далеко ушедших вперед ловких пололок. Мы не спешили. Во многих вопросах мы совпадали. Но потом, увы, она да и остальные сестры отвернулись от меня. Причиной, как ни смешно, послужило искусство кино.

Фильмы в основном показывали историко-революционные, строго следили за оставшимися в бараке, приходилось чуть ли не зубную боль изображать, чтобы не смотреть лишний раз шедевр мирового киноискусства «Броненосец «Потемкин». Верующие в кино не ходили твердо. Но когда привезли по спецнаряду фильм «Тучи над Борском» (о пятидесятниках), экран установили прямо в нашем бараке, хочешь не хочешь — смотри. Я была знакома с создателями фильма. Мои друзья участвовали в обсуждении сценария. Мне казалось, что фильм тактичный, что, насколько возможно в подцензурных условиях, он выявляет привлекательность религии, особенно в ее гонимых, еретических формах. Там исполнялись подлинные гимны пятидесятников, не скрывалась их своеобразная сила и красота, да и сам сюжет — приход в секту обиженной в миру девушки — был трогательно и, насколько возможно, правдиво изображен. Это был типичный фильм периода «оттепели», когда для человека, понимающего все привходящие условия, за сказанным вставал и второй, недосказанный авторами план. Конечно, так бы фильм не прошел — в конце его пятидесятники пытаются девушку распять, ее спасают, она покидает секту. Но ведь ясно, что это — для цензуры! Одним словом, я уговорила Наташу не отворачиваться, как остальные сестры, а посмотреть, и фильм защищала. Она была возмущена. Она ничего не знала про «оттепель», про подцензурные условия, не понимала, что все-таки что-то «либеральное» в фильм протащили. Она твердила только одно: «Значит, ты думаешь, что у нас распинают людей? Если ты так думаешь, зачем ты к нам приходишь? Тут все ложь!»

Я перестала к ним приходить. Конечно, они не сравняли меня с бригадиршей Лайс и, когда я была в бараке, пели и щебетали по-прежнему. Но Наташа уже не заливалась надтреснутым колокольчиком на грядках со свекольной ботвой, а старалась не отставать в прополке. А у меня в голове укоризной моей ущербности все время звучала их самая «непримиримая» песня:

Я не хочу полуправды,
Жалких, слепых объяснений,
Я не хочу полутайных
В сердце погасших стремлений.
Я не хочу полуверы,
Я не хочу полуцели,
Пусть разбиваются струны—
Лишь бы недаром звенели.
Я не хочу полужизни,
Жалкой, бесцельной, послушной,

Я не хочу полусмерти,
Тяжкой, несмелой и душной…
И припев:
Если любить — то навеки,
Если принять — то всецело,
Так, чтобы пламенем ярким
Сердце победно горело!

Сугробы намного выше головы, а над головой «в холодной яме января надмирно высадятся» непривычные созвездья. Тропка плотно утоптана от барака к цеху, идти даже безветренно, так высока стена снега. Иду на «блатную работенку» в инвалидную бригаду, на слюду.

В цехе, небольшой выбеленной комнате, тепло, потрескивает под ножами расщепляемая слюда, воркует репродуктор: «На внеочередном заседании Совета Безопасности обсуждался проект резолюции, внесенный…» Тихий шелест проносится по склонившимся над работой белым, аккуратно повязанным головкам, каждая, вздыхая, шепчет про себя: «Блажен муж, не идущий на совет нечестивых…» Это свидетельницы Иеговы. Три их главных врага, три чудовища Апокалипсиса — «Религия, Политика и Коммерция». Они ненавидят папу римского, ООН, президентов, председателей райисполкомов, ну и, конечно, Маммону. Они — за всемирное теократическое государство. В лагере их большинство. Ночами (смены ночные), заваленные сугробами, на краю света, они обсуждают, прорабатывают различные пункты своего учения, укрепляясь в вере и разбирая все более явные признаки конца мира. Кроме меня, есть еще одна чужая — субботница Фрося, презираемая ими за «темноту». Идет что-то вроде семинара. В сущности, они закоренелые материалистки, никаких тайн, чудес, пророчеств для них не существует, это все — невежество. Библию знают хорошо, вся она у них разобрана по полочкам на «10 правил». Апокалипсис объяснен «научно»: первая печать— это комета, вторая — электрические кольца, последняя — атомная бомба. И наконец Армагеддон — третья мировая война, где спасутся лишь те, кто в «истине», то есть одни. Удивительно, как такая бездуховная вера, лишенная, в сущности, Бога, может и укреплять и вдохновлять на подвиг. А ведь Гитлер преследовал их почти как евреев (они антигосударственны, за что и большевики их гонят), и гноил по лагерям, и топил на баржах (есть такой страшный рассказ об их «святом корабле»), Вот Марийка Т., наш бригадир, пережившая Бухенвальд; вот сморщенная, по годам еще не старая немка Женя

Ш. — она спаслась из Треблинки. И пели там, и гибли в камерах газовых, но не отрекались. А потом, уже после войны, — по советским лагерям за то же самое. Заглушая радио, тихо поют:

Ликует верный наш народ,
Настал уж юбилейный год…
Это — год Армагеддона.
И потом — уже совсем весело:
Уже я слышу — Страшный суд
Над грешною землей,
И праведников души
Он уносит за собой!
……
Наш царь уж к нам пришел!

Доклад Парани Т. из деревни Хмельницкой области (щеки — печеные яблоки, а всегда смеется, хотя ни одного зуба) подходит к концу. Сегодня обсуждали «Правило второе» — «Жертва Авраама и возможность искупления». Начинается свободный обмен мнениями.

— Параню, Параню, я тоби спитаю… — подхватывает молоденькая круглоголовая Марийка из молдавского села бывшей Бессарабии. — Сказано в пятой главе послания, что поняли ангелы, когда Господь послал их свидетельствовать, что дочери человеческие прекрасны, и вошли к ним… Як же це? Вони ж были ангелы…

— Ох, Марийка, яка ты тэмна… Вони вже ж сматерилизовались.

Параня знает много ученых слов. Она сидит третий срок — первый при немцах, второй в сорок восьмом году, когда прочищали Западную Украину, а поскольку была она в Германии (пусть даже в Бухенвальде!) да брат мужа — бендеровец, мужу — расстрел, ей — двадцать пять лет. В пятьдесят шестом, однако, реабилитировали, но в пятьдесят седьмом пришло ей в голову на деревенском базаре проповедовать Армагеддон — и вот новый срок, десятка. Параня человек бывалый, находчивый, за долгую лагерную жизнь она потерлась среди самых разных людей — может и по-немецки отбрить (хотя не любит этот язык) и по-румынски. За словом в карман не полезет.

— А почему вы Хрущева не признаете? — ехидно вмешивается «темная» Фрося. — Он же тоже миротворец.

Параня, не оборачиваясь:

— Вин синспирирован сатаною. Вся земная власть от сатаны. А папа римский — сам живой сатана.

Спрашиваю и я:

— А что станет с нами после смерти? Параня взглядывает на меня поверх круглых смешных очков.

— Ничего.

— Как ничего? А душа?

— Как душа? Жизнь — это же кровь. Вытекает кровь — умрешь.

Фрося не выдерживает:

— Вы что малой голову дурите? Воскреснем, когда Господь сподобит.

— Не воскреснем, а сматерилизуемся. После нигилизации.

— Что? Что? — возмущается Фрося. — Сама ты коллективизация, темнота немецкая, неуч нерусский.

Последние известия кончились. Теперь передают «Онегина». Читает Виктор Балашов. Любознательная Марийка интересуется шепотом судьбой Пушкина. Я начинаю рассказывать, мямлю что-то про дуэль, про Дантеса, про дуэльные правила. Параня решительно перебивает меня:

— Ну, в общем, он только ружье поднял, как тот, другой, выстрелил.

— Кто другой-то?

— Да Крылов.

Незаметно и неизбежно беседа переходит на столь любимые всеми хозяйственные темы. Ух, сколько рецептов мамалыг и настоек, особенно же — засаливания «огирков»! И тут снова властно выделяется Параня — она решительно настаивает, что по-настоящему рассол надо сливать три раза. От абсурдности происходящего меня начинает поташнивать, потихоньку щиплю себя, чтобы прийти в чувство. На каком я свете? Может, уже после Армагеддона? Когда Параня солила свои огирки в последний раз? Да и вообще — успела ли она их засолить хоть раз в жизни? Спала ли она хоть раз на своей постели, под своим одеялом, про которое она так здорово рассказывает, как его лучше сметать? И так толково, любовно, с таким знанием дела! Какой добротный человеческий материал — уживчивый, работящий, сноровистый, основательный во всем, порядочный, честнейший… Потеряешь в зоне шпильку или платок носовой — найдут, постирают и положат на нары (никогда не скажут кто, чтобы не думала, что заискивают). Кажется, Толстой сказал, что, чтобы вырастить такой цветок, как настоящий крестьянин, нужно не одно столетие и культурный грунт многих поколений… А вот передо мной перемолотые в бессмысленной лагерной мясорубке последние «грунтовые» всходы. Они и через тридцать лет лагерей еще помнят, что коноплю надо сеять раньше льна. Золотые руки.

Последние золотые руки.

На другой день слюду не привозят, и мы идем расчищать снег. У нас с моей напарницей Настуней, также свидетельницей, на двоих одна деревянная лопата. Мы не спешим, несмотря на окрики бригадирши — они никогда не бывают из верующих, всегда либо «лесные сестры; как наша грубая, но добродушная литовка Аницета, либо из полицаек. Аницету мы не боимся. Настуня из Днепропетровска, ей лет сорок, щуплая, как мальчик или старичок, лицо длинное, старообразное, жидкий пучок на макушке. Но сидит все на ней ладно — жилет из портянок подогнан, теплые шапочки из них же, набор рукавичек для разных работ — она бывшая портниха. (Вопрос службы для них, внегосударственных, очень важен — возможно, он в Бруклине, где их центр, и решается. Знаю, что портнихами, нянечками, в каких-то домашних артелях они работали.) Но сколько времени могла Настуня быть портнихой? У нее тоже третий срок, если считать первым трудовой лагерь в Германии, куда угнали их немцы. Там и «пришла к истине». Выжила, хотя давали им по две миски жидкого шпината в день. Там у нее был и «роман» — на той же фабрике работали пленные французы.

— У нас было по одному черному платью, — рассказывает Настуня. — Поэтому я каждый день меняла прически — еще ведь не в истине была, суетилась. И если, когда нас проводили по двору, Жером не успевал подбежать к окну, ему другие передавали, как я сегодня причесана.

Освободили их американцы. Среди них было два негра-«брата». Пели они с ними «Юбилейный год» и праздновали вместе Пасху, единственный у них, кажется, праздник. И, вернувшись в Днепропетровск, получила Настуня десять лет за «измену родине», была на Колыме, па лесоповале. И нормы были страшные, но успевала! Бог не оставил, и выжила. И освободили ее по комиссии пятьдесят шестого года, ей оставался год. И освобождавший ее полковник, как рассказывает Настуня, полистал ее дело, голову опустил и покраснел. А потом уже и вызывать для собеседования перестали, просто по репродуктору в зоне передавали — освобождаются с такой-то по такую-то букву, и так каждый день. Из всего колымского многотысячного Настуниного «подразделения» остались неосвобожденными всего четырнадцать человек. И среди них наша нынешняя председательница совета коллектива.

Но прожила она с мамой в Днепропетровске только год. Снова Господь послал испытание. Собирались с сестрами и пели, толковали, начались хрущевские гонения на верующих, и снова десять лет. «За принадлежность к изуверской секте». Тайно от

сестер Настя учит французский. Они вообще к новой жизни готовятся — очень по-деловому. Во-первых, Армагеддон вот-вот, уже есть математически точные признаки — и сумма цифр года, поделенная на что-то, дает то, что нужно, и затмения, и Генеральная Ассамблея ООН, и имя нынешнего папы. И особенно исступленная нынешняя миролюбивая пропаганда, которая есть маска Антихриста. Во-вторых, «там» ты будешь тем же, что и здесь. Как же без ремесла, без знаний? Пропадешь. Настуня не верит, как Наташа, что Господь позаботится обо всем, и найдет па нее сверху дух, и поймет она братьев своих из Нью-Орлеана, не уча английский. Нет, Настуня хочет наверняка после Армагеддона понять своего Жерома. Поистине на Бога надейся…

Свернувшись клубочком, лежит она па нарах с маленьким словариком, шевелит губами. Сердце щемит, глядя на нее. Кто ответит за то, что лучшими днями ее жизни остались дни на немецкой фабрике, когда она меняла прически и радовалась, что это кто-то замечает? А ведь она с ее терпением, добросовестностью, ловкостью могла бы быть хорошим врачом, учительницей, духовной настоятельницей. Но она довольна своей судьбой. Бывало и хуже. Она спокойно спит па вышитой наволочке, не голодна, во сне видит своего Жерома. Она — в истине.

Не стало кружевницы Прони,
С колюшек ускакали кони…
Н. Клюев. "Погорельщина"

Умирает румяная Валя. Нет, это не загар деревенский расцветал на ее щеках, а жар лихорадки, который она долго скрывала, — не хотела в больницу, хотела умереть со своими. Не только ноги перебила ей проклятая сенокосилка — что-то внутри отбила, и уже в прошлом году было ей видение Богородицы, поцеловала ее и сказала: «Приду в Успение». Одно Успение прошло, и целый год звучали Валины песни в бараке, но в эту осень вот уже три дня она не приходила в себя.

Ухаживают за ней белые пчелки, несут правдами и неправдами добытые молоко, масло, мед. Но она толь-до квас пьет, который настаивают они на печке из черных корок, а потом охлаждают в специально вырытых в земле скрыницах. Валя бредит, говорит что-то непонятное. Приходит надзирательница — надо забрать ее в санчасть, а завтра, может быть, будет машина, отвезут на больничный пункт. «Господь не допустит», — уверенно говорит Валя. Ее собирают, укутывают, несут на досках — она очень тяжелая, располневшая от многолетнего лежания. Белым хлыстовским кораблем зияет ее опустевшая кровать, островок, вокруг которого кипела столько лет жизнь маленькой

пятидесятной общины — ее кружки и хусточки, молитвы, рукоделье… Пчелки остаются дежурить в санчасти. Но Господь не попустил — и рано утром пришедшая со смены заключенная фельдшерица шепнула мне, что ночью Валя умерла. Я выхожу во двор. Осеннее сырое утро, еще не было подъема. «Грызет лесной иконостас октябрь — поджарая волчица…» Листьями и лиственничной хвоей заметено все вокруг. А вот, у крыльца санчасти, белеет осиротевший кружок. Лица у них сухие, спокойные, торжественные…

Вечером, возвращаясь с работы, у вахты видим двух приезжих — старуху и мальчика лет двенадцати, они испуганно всматриваются в темную приближающуюся колонну. Это мать и сын Вали. Как успели они приехать из-под Георгиевска, кто сообщил им? Уж конечно не начальство. У Вали есть и муж, но он ее подельник, отсиживает спой срок на Вихоревке — каменный карьер неподалеку от нашей зоны. Его-то не допустят с ней проститься. Выносят Валин гроб — он обит белым, белый корабль хлыстовский. Сколотили его мужчины с соседнего лагпункта, братья, и обили белой бязью, из которой шьют на фабрике солдатское белье. И уплывает он в разверстые лагерные ворота, уходит за осенний расписной иконостас, все меньше, меньше, уже не белым, но синим пером Алконоста. Поют вслед сестры самую свою экстатическую песню, которую слышала только раз, на Валиных проводах:

Ниже склонись в мольбе,
Ближе Господь к тебе,
Выше твоя колыбель—
Ближе Господь к тебе.

А поминали Валю не блинами и не кутьей. Не успели закрыться за ней ворота — в зоне объявилось ЧП. Забегали красномордые надзиратели, подъехал на «газике» из «района» начальник отдела, засел в КВЧ, вызывают пчелок, а потом и свидетельниц, а потом и монашек. Ну, те сами не идут, их несут за руки и за ноги. Оказалось — впопыхах, когда уносили ночью Валю в санчасть, не убрали сестры ее вещей, и пришедшая уже после смерти ее наутро надзирательница нашла "в ее матраце не только переписанные гимны, но и — о ужас! — Библию американского издания. И началось!

Совещались, допытывались, приезжали уже и из «области» — бесшеие, короткопалые, в толстых шинелях (переход на зимнюю форму одежды уже объявлен). И постановили — в воскресенье произвести повальный шмон под названием инвентаризация. Всех

обитателей с пожитками выгнать в зону, а в зоне все перерыть, перетрясти матрацы, подушки, перещупать нары, тумбочки, столы. И впускать в зону только после тщательного личного обыска.

Сонные, злые, толпимся со своими жалкими котомками на обочине дороги за запреткой. Овчарки разлеглись, перекрывают дорогу к лесу. Конвоиры тоже злые — это сверхиаряд, а они хотели в воскресенье в футбол погонять. Лагерная верхушка — бригадирши, нарядчицы дымят без передышки, матерят «богомолок», из-за которых пропало воскресенье, заваривают в американских термосах швейцарский кофе (Красный Крест). Присели на сырое бревно Валины сестры — спокойные, привычные к инвентаризациям, вяжут, времени не теряют. Последними выгоняют монашек, некоторые— Христовы воительницы, православные Патриарха Тихона — идут сами. Они давно не были на улице — в черном, прогнившем и провонявшем своем бараке, куда и надзиратели-то редко заглядывают, проводят они дни и ночи, не выходя ни в столовую, ни в баню, лишь ночью — некоторые — крадутся в уборную. Их белые отекшие лица стекленеют на морозном легком воздухе. Они толпятся черной стайкой, с черными узелками, пересчитывают их, крестятся на небо, на лес. Вот они, мои православные сестры, за которых могу я свободно помолиться на Меньшиковской церкви вместе с архимандритом Нифоном. Хранительницы русского предания. Теперь начинается самое страшное; есть в этом черном бараке и монашенки высшего пострига, которые не могут повиноваться Антихристу. Это их — спеленатых черных куколок — привозили на подводах и за руки и за ноги, раскачав, бросали на муравьиные кучи, чтобы работали, а они так и лежали до конца смены, и муравьи почти не касались их высохших желтых косточек. Это было когда-то, при культе. Сейчас же я вижу, как раз в месяц их на таких же подводах отвозят в баню, заносят в предбанник, где они и лежат черными мумиями, пока другие моются. На тех же подводах и везут обратно в зону. И на этапы и на поверки сами они не выходят. Не выходят и на инвентаризацию. Солдаты складывают их — они легкие, перышки — вповалку у запретки. Высохшие их личики кажутся мертвыми. Так и лежат, не шевелясь, как Антихрист положил.

Прекрасное обезнадеживает. Безнадежно прекрасна русская осень с тоской запрокинутых осиновых листочков, этим сизым дымком, сиреневатым паром от стволов и земли. Это не пальмы юга. От этой красоты хочется плакать. Успение. Положение во гроб. Вот лежат они, спеленатые черными пеленами, мои сестры, под сиротливым и каким-то детски простодушным небом.

Темнеет фиолетовое нутро леса. «Видение Лица богомазы берут то с хвойных потемок, где теплится трут… Успение — с перышек горлиц в дупле, когда молотьба и покой на селе…»

Прошло время обеда. Охрана разожгла костер, нас тоже ласкает его тепло. Искры падают на лоснящуюся шерсть овчарок. Проходит еще час. По красным раздраженным липам надзирателей понимаем, что ничего не нашли. В открытые ворота видны приземистые силуэты снующих около бараков: выбрасывают матрацы, подушки. Работы-то потом будет! Кого-то осенила мысль воспользоваться минным щупом. Как черти с кочергами бродят они по зоне, отыскивая «слово Божье». Черноглазая монашка Надя, с которой мы вместе ехали из Тайшета, недавняя ташкентская комсомолочка, обращается ко мне:

— Видела? Они же все в перчатках! Знаешь почему? У них вместо рук копыта! И у Хрущева тоже! Он ведь перчаток никогда не снимает.

Становится веселее. Действительно, раз минным щупом разыскивают, гонят, травят — что? Да Библию, «слово Божье»! Раз бегут, как черти от ладана — и впрямь похожи на чертей! — так, значит, не может не быть, что гонят они. Они ведь — материалисты. Не Господь ли смотрит с этого неба на действо пещное и на гонимых за имя свое? И вдруг — как молния пробежала! Нашли, нашли щупом железную банку, зарытую около бани, несут, открывают — вытряхивают оттуда книги, журналы, брошюры… «Башня Стражи». Значит, попались свидетельницы Иеговы.

Злость, отчаяние, тоска, досада охватывают меня. Подхожу к беззубой Паране, спокойно сидящей в кружке своих и дожевывающей какую-то горбушку. Ведь теперь ее начнут таскать! Ведь четвертый срок могут намотать!

— Что же это? — говорю я ей злобно. — Бог ваш так плохо о вас заботится? Или мало тебе трех сроков?

Параня спокойно отряхивает с колен белые крошки, как-то благостно и даже самодовольно вздыхает.

— С начала сотворения мира так было. Сыны века хитрее сыновей света.

Дурные чувства оставляют меня. Приходит какое-то новое, неожиданное, странно гармонирующее с простодушным небом. Я прислушиваюсь к нему, пробую и так и сяк, как бы разминая затёкшие от долгой неподвижности ноги, — нет, вроде все в порядке, всё действует. Что же это, как теплая вода, смывает с меня раздражение и досаду, ненависть и злобную тоску? Почему вдруг стало легко и даже весело? Во всю ширь красноперого

лесного горизонта обступает и омывает меня недоумение. Почему, почему все это? Зачем?

Мы живы, пока удивляемся. Значит, жива. И, торжествуя победу, я развязываю тесемки рюкзака перед усталой надзирательницей. Подошла и моя очередь.

Тайшет — Москва. 1962–1982

Имя Инессы Малинкович, Инны, встречается в тексте писем и воспоминаний довольно часто, и поэтому мне захотелось посвятить ее памяти эти несколько страниц. Она была из нашего круга — восторженная поклонница поэзии Б. Л; самоотверженный друг Ариадны Эфрон, моя наставница и подруга. Но не только. Она была пытливым исследователем, к сожалению, не опубликовавшим при жизни ни одной строчки. Лишь после ее смерти, в 1994 году в издательстве «Восточная литература» вышла крохотная зеленая книжица «Судьба старинной легенды», получившая высокие оценки специалистов. Сейчас эта книжка стала уже библиографической редкостью (тираж — 450 экземпляров!). Инна оставила после себя груды черновиков, неоконченных работ, писем, полных ума, юмора, живости, обаяния.

О Дудочнике с Фурманного переулка.Воспоминания об Инне Малинкович

В самом начале 50-х годов она пришла преподавать английский язык в среднюю женскую школу № 612 в старом московском переулке. В ту самую, которую сама она окончила с золотой медалью в 1947 году. И вот — после университета вернулась туда же.

Наверное, в другие времена ее ждала бы аспирантура и университетская карьера. Но в жуткие 50-е, когда, как говорил тот же Леонид Ефимович[8], «маразм крепчал», — школа была единственным прибежищем для интеллигентной еврейской девушки. Однако судьба не ошиблась, облюбовав ей именно это поприще. Дети оказались ее призванием, страстью, жизнью. В них она осуществилась, начиная с нас, с косичками по циркуляру, в черных форменных фартучках, смирно сидевших под портретом Сталина, и кончая уже последними, израильскими, так же любившими ее, как и мы, и проводившими в декабре 1992 года на иерусалимское кладбище.

У нее был дар располагать детей. И, как всякий дар, он необъясним. Наверное, она сама была во многом ребенком (как страдала она всю жизнь от своей «невзрослости» — видно по ее письмам), и легче всего ей было с детьми.

У этих детей были непростые судьбы. Об арестованных родителях не говорилось. Как выяснилось потом, спустя много лет — не было семьи без трагедии, но мы были пионерками звена имени Зои и Шуры и с упоением читали на утренниках «Стихи о советском паспорте». У меня были арестованы бабушка, мама, дед был выгнан с работы как сын священника, в доме ненавидели Сталина, я росла под влиянием Б. Л. Пастернака, близкого друга нашей семьи, — и однако мне страшно хотелось быть как все, я страдала от своего изгойства, скрывала, изворачивалась.

Чтобы расковать этих детей, разговорить их, Инна сразу организовала кружок. Это был в буквальном смысле «кружок» — сидели вокруг нее и смотрели ей в рот — английского языка. Там мы читали и переводили Байрона, Китса, Шелли, даже Шекспира (а кто умел — и стихами! Я — стихами!). И вот однажды на занятия этого кружка я принесла миниатюрное оксфордское издание Шелли с дарственной надписью Б. Л. Пастернака мне.

С этой минуты, с этого движения — когда Инна открыла

книжечку и увидела надпись — и началась наша дружба, прошедшая через всю жизнь.

— Ого, — сказала Инна, и я почувствовала, как она волнуется. — Какие у вас друзья!

— А что? — ответила я почти с вызовом. — Хорошие!

— Да, очень хорошие!

Это был уже диалог посвященных. В то время моя мама за эту дружбу уже который год была в лагере, Борис Леонидович был предметом оголтелой травли, и я, признаваясь своей учительнице в подобном знакомстве, открывала тайный кусок своей личной жизни, за которую боялась. Но она одобрила меня, и с этой минуты кончилось мое детское одиночество.

Я часто провожала ее после кружка к ней домой в Фурманный переулок, где она жила. Мы шли вдоль Чистых прудов, мимо катка, над которым заливалась Шульженко, горели заснеженные фонари, катилась веселая, для меня тогда недосягаемая жизнь, и она наставительно допрашивала: «А какие стихи вы любите? Гумилева? Светлова? Ну, это все побрякушки!»

А потом, в ее комнате, в которую мы проходили мимо спящих за ширмами родичей, комнате, которая стала моим вторым домом и где я помню каждый предмет, она читала мне другие, «настоящие» — Тютчева, Баратынского, Батюшкова.

С ее голоса я узнала эту поэзию. Ее глазами увидела живопись — сначала в скромных черно-белых альбомчиках, потом в музеях. С ее голоса узнала музыку. Телефона у нас в те времена не было, и обычно я звонила ей из автомата у Покровских ворот, можно ли зайти. «Сегодня обязательно, надо прослушать Глюка, мне на два дня одолжили пластинку». С техникой она всегда была не в ладах, поэтому эти прослушивания часто превращались в отчаянную борьбу с проигрывателем, и, если она в этой борьбе побеждала, из хриплого «Аккорда» лились божественные звуки. «Как в каждой идеально классической опере, самая лучшая часть — средняя, а в ней — центральная мелодия, здесь это — песня флейты». Слушали песню флейты. За большим окном-фонарем темнело, начинал медленно падать тяжелый серый снег. Кудрявый красавец — молодой Блок с бантом (карандашная копия) витал между окном и книжным шкафом, благословляя белокрылый пожар за окном…

— Да, я тоже очень люблю, когда идет снег. Так устаешь от всяких видов человеческой деятельности, так радуешься, что вот происходит что-то, не зависящее от человека, — снег, дождь, метель…

Мне нравился ее способ видеть мир, формулировать, оценивать людей и события, я впитывала ее словечки,

характеристики, повторяла ее мнения. На какое-то время я превратилась в маленькую обезьяну, копировала ее манеру говорить, даже почерк. И что же, я совсем не жалею об этом, ведь «час ученичества, он в жизни каждой торжественно неотвратим…»

Она любила определение Сент-Экзюпери «человек — это узел связей» и сумела связать узлом вокруг себя столько разных детских судеб! Прошло немного времени, и уже не одна я, затаив дыхание, слушала в сумерках «Песню флейты» — комната постепенно наполнялась, дети были разные, с разными склонностями, но все мы понимали, что здесь, в этих стенах, нам приоткроется дверца в иной мир, что здесь нас научат плыть против течения… Нашу компанию называли по-разному. Ариадна Сергеевна Эфрон — «Тимур и его команда», кто-то — «Ученики Чародея», кто- то, кажется мой брат, придумал милое и нейтральное — «ушатики», а все вместе — «Ушатия». Ну, что-то вроде Швамбрании.

Когда спустя много лет, уже в Иерусалиме, сравнительно незадолго до смерти, она вновь вернулась к интересам своей молодости, то ее последним «русским вздохом» стала Цветаева. Творчество Цветаевой, благодаря близости ее с дочерью поэта, Ариадной Сергеевной, вообще занимало особое место в ее духовной жизни. Для своей же итоговой работы она выбрала поэму «Крысолов». И, может быть, не последнюю роль сыграла здесь и сама тема поэмы — тема Увода, в данном случае — детей, вырывания их из привычного комфортного русла, из патерналистского лона государства, школы, семьи…

Может быть, не отдавая себе в этом отчета, чувствовала и она себя таким же крысоловом, Дудочником с Фурманного переулка — ловцом детских душ, и с помощью той же флейты — искусства вырывала нас из Гамельна (о, родители даже очень ревновали!), объединяла, растолковывала, манила… Можно сказать, что из большевистского Гамельна она нас вывела. И этот «увод» был, конечно, повторением ее собственного пути, по которому увел ее другой учитель — Л. Е. Пинский, недаром первый вариант своей работы она посвятила ему такими словами: «Л. Е. Пинскому, учителю и сердцелову».

В комнате на Фурманном образовалась своя детская Афинская академия. Сбившись в кружок (мы именно «сбивались» тогда, как овцы в степи в непогоду), мы внимали нашему «ушатому учителю», который по своим студенческим конспектам лекций Пинского вводил нас в мир европейской литературы. И хотя это было лишь отражением, копией, пересказом подлинного его курса, все, что я знаю, на что ссылаюсь, к чему обращаюсь в

европейской литературе до сих пор — оттуда, из этих конспектов, с ее голоса. Имя Леонида Ефимовича никогда не называлось, говорилось «Мэтр», и эта обстановка тайны, далекого присутствия какого-то очень большого авторитета (то, что он арестован, мы не знали, конечно), разумеется, удесятеряла и внимание, и благоговение.

Время шло, наступила «оттепель», вернулся Леонид Ефимович и предстал перец нами во плоти — в университете он прочитал несколько популярных лекций, помню одну — об эстетике Возрождения. Вернулась из лагеря мама, Б. Л. Пастернак стал снова бывать у нас в доме, и роли наши с Инной переменились — ее тянуло в наш дом, где было в ту пору много интересных людей, и, главное, Б. Л. Пастернак, его новые стихи, прямо из-под пера читавшийся роман. В нашем доме Инна познакомилась и с Ариадной Сергеевной Эфрон, только что вернувшейся из туруханской ссылки. Обаяние Али, какая-то спокойная сила, идущая от нее, заворожили мою бедную учительницу. И любовь ее к поэзии Марины Цветаевой началась тогда с обожания цветаевской породы, с изумления перед явленной одаренностью, сквозившей в каждом Аликом жесте. Эту любовь пронесла она через всю жизнь, до смерти на Иерусалимских холмах.

Первая же их встреча была скорее отталкиванием — это произошло у нас в Потаповском во время нобелевской травли Б. Л. Пастернака, когда сочинялось знаменитое письмо Хрущеву от имени Б. Л. «Это не человек, а железка какая-то», — говорила мне потом о ней Инна. А Аля, в свою очередь, с обычным ее юмором: «Ну, жива учительша-то твоя, что весь вечер жестокие слезы лила?»

30 мая 1960 года умер Борис Леонидович. Со всей страстной самоотверженностью была с нами Аля в эти дни. Вот мы возвращаемся из Переделкина, выходим из машины, поддерживаем маму, идем через двор к подъезду. Во дворе Инна с ребятами из своего класса (она — их классный руководитель) сажает тополя. Это субботник. Она держит в руке тополиную веточку, пахнет свежевырытой землей, веселые молодые лица вокруг. Я подхожу к ней и говорю, что все, все кончено, мы только что из Переделкина. Она роняет веточку, садится прямо на землю и плачет. Кто-то из девочек утешает ее, обнимает за плечи, вытирает платком ей слезы. Мы входим в подъезд.

А тополя выросли. И 30 мая они празднуют свой юбилей — в этом году им 33 года. Никто не подстригает их в зачумленном заброшенном городе, и они вымахали до шестого этажа, и каждую весну наш балкон был усыпан их пухом — тем самым «валящим

снегом с ног…».

Через два месяца после смерти Б. Л. Пастернака нас с мамой арестовали. Это был настоящий разгром, расправа, «избиение младенцев». Вывозили рукописи, книги, мебель, конфисковали комнату. На свободе остался мой младший брат. Что могли мы ожидать от 17-летнего мальчика, раздавленного обрушившейся катастрофой? Но мы получили все, что разрешалось заключенным, — адвокатов, посылки, передачи, письма, свидания. За всем этим стояла Инна, ее самоотверженность, ее поистине героические усилия. «Ушатия» сплотилась — это было уже не слушание полузапрещенных лекций о Шекспире, это были тяжелые ящики с посылками, раздобывание денег для нас, апелляции в прокуратуру, обивание порогов разных ГУМЗов, выбивание свиданий и дополнительных передач. А я капризничала, получив в посылке вздувшуюся банку с клубничным компотом или сгнивший зеленый лук — что, они не соображают, лук и здесь можно купить! Опять эти резиновые сапоги на слона! А «они» ночей не спали, чтобы у меня были витамины, сухие ноги и неотмороженный нос.

И письма Инна писала — остроумные, веселые, талантливые, только кончались они часто любимым, пушкинским: «Печален я, со мною друга нет…»

В это-то время ее приняла и накрепко полюбила Аля. Она полюбила в ней все — и смешную хрупкую внешность, и очки («смотрит из-под своих очков, а сам такой верный-верный воробушек!»). «Верный воробушек» — так она часто ее называла. «Инка — трогательная, трепетная, одна душа да очки… А вообще таких друзей, как Инка, нет на белом свете, это последний представитель вымершей породы бронтозавров от дружбы. Прелесть, что за человек». «Вчера выходила замуж их хозяйка (дело было в Тарусе летом). После свадьбы учитель с учеником (Инна с Наной Фрейдиной) на бровях пришли мне помогать воду таскать — наносили полную бочку, вот какие тимуровцы. Инка — по-настоящему хороший человек, даже без прилагательного: по-настоящему человек». Это все отрывки из писем Ариадны ко мне в лагерь.

А вот что писал воробушек, узнав об Алиной смерти, уже из Израиля: «…и я осиротела, как будто лучшую часть меня у меня забрали. Хоть и не виделись мы столько лет, а как-то все зналось, что есть Аля, как будто другой мир, с другими людьми и другими ценностями. Теперь таких нет. И жизнь ее трагическая, и смерть бессмысленная, как за тридевять земель, где и большая часть жизни ее прошла. Не хочется «разбираться», хочется плакать. Из всех моих «любвей» — мужских и женских — она — самая

незаинтересованная с моей стороны и принадлежит еще молодости, когда так любилось, как никогда после. Может, поэтому для меня Аля — всегда прекрасна и ни в чем не виновата». Об Але она не забывала никогда и незадолго до смерти начала писать о ней воспоминания. Они остались незаконченными, и хотя это неотстоявшийся, «сырой» материал, в них так сказалась сама Инна, ее способность любить, ее верность.

В 1974 году Инна эмигрировала в Израиль. Уехала вместе с мужем, мечтавшим об «исторической родине». После ее отъезда мы осиротели, «Ушатия» распалась. И я могла бы сказать ее словами: «…как будто лучшую часть меня у меня отняли». Приживалась она на новом месте трудно. Ее письма, особенно первые, были просто отчаянными. Она тосковала по оставленным друзьям, языку, природе, по, как она писала, «даже мягкой траве». Она тяжело заболела, муж ее оставил. И в эти тяжелейшие дни на помощь ей пришла религиозная община. Эти люди, ее новые друзья, ее новая семья буквально спасли ее от смерти.

Так началась ее новая, последняя жизнь в этой общине. Она соблюдала субботы, молилась, варила и ела, что положено. Она нашла в себе силы полюбить свою новую жизнь, оценить людей, окруживших ее теплом и заботой. Она снова вернулась к детям — это были религиозные еврейские мальчики, которых она обучала английскому. Они привозили ей на велосипедах к субботе пироги и фаршированную рыбу, помогали убирать дом. Их мамы возили ее по врачам, приглашали на субботний кидуш. Они ее и похоронили. Это кладбище Гават Шауль, где нет привычных для России деревьев, травы, скамеечек, всей той трогательной пестроты и уюта православных кладбищ, по которым мы так часто гуляли с ней когда-то. И цветы не положены. Друзья и родные кладут по камушку на надгробье. Так принято в этой стране. И могилы все одинаковые, и надписи, конечно, на иврите, справа налево… Мне часто снится сон, что я на этом кладбище и не знаю, куда положить свой камушек, — не могу прочитать надпись, и все могилы — на одно лицо…

Но те тополя, что сажала она с детьми 30 мая в московском переулке — это тоже память о ней, ее русское надгробье. И мраморная доска в вестибюле школы, где прошло почти тридцать лет ее жизни — ее учили, она учила. Среди окончивших школу с золотой медалью, среди первых — ее имя, золотом по мрамору, по-русски. Когда я повела своего маленького сына в первый класс этой же школы, забыла и о звонке на урок — все стояла и трогала эти буквы…

Мы увиделись с Инной через 12 лет после ее отъезда из России. Я переехала в Париж, и первым моим заграничным

путешествием стал Израиль. Я уже знала, что она тяжело больна, ходит с палочкой, живет одиноко, бедно. Но по письмам чувствовала, что «жив Курилка», что ее юмор, обаяние, жизнестойкость победили и что это будет счастливейшая встреча. Так оно и оказалось. Я думала, что уже никогда не увижу ее, и вдруг — Лод, пыльные пальмы, маленький южный аэродром, словно Сухуми какой-нибудь, и моя постаревшая, но веселая учительница, машет своей клюкой и плачет от радости.

А ее квартира! Две комнатки, зажатые между «фалафелем», где жарились лепешки для ешиботников, и гаражом, где все время чинились рычащие мотоциклы — уф! А между всем этим — филиал Фурманного, та самая комната, где я помнила каждый предмет, — ее книги, аскетический быт, пейзажи на стенах (вот только Блока с бантом нет!), знакомый сундук с посудой, столик из «Детского мира», на котором все тот же бюстик Достоевского. Ее дух, ее присутствие в каждом предмете, ее победа над материей. Мы пили чай по-московски, ели рис, привезенный мальчиками с пейсами на велосипеде, и замолкали только тогда, когда надо было жевать или глотать. Так прошло пять дней, и на прощание я ей пела: «Ты прежнею Татьяной стала!», а она хохотала, как только она одна умела — так заразительно, так от души, так благодарно.

Хотя передвигалась она с трудом, с палочкой, мы много гуляли. Иерусалим меня заворожил. Вечером, когда спадала жара, мы сидели в парке, недалеко от ее дома, откуда открывался вид, которому нет равного в мире по красоте и какой-то щемящей близости — ведь и не была здесь никогда, а все узнаваемо. Под нами проходило шоссе, оно заполнялось огнями, старый город, с его подсвеченными куполами, был за этим шоссе. Становилось даже прохладно, и начинали пахнуть ошалевшие за день незнакомые цветы. А она говорила, говорила, все хотела выговорить заветное, наболевшее, с которым трудно было жить — то чувство, которое мучает столь многих, и изживается — если изживается — годами: о своем раздвоении.

— Я — жертва межкультурья, двукультурья, как англичане говорят: культурный шизофреник. От одной отстала — к другой не пристала, а человек я — не крови, а культуры.

— Да, сердце мое разрывается между Россией и Израилем, но не променяю я этот конфликт на комфортабельную «этническую идентификацию». Да, у меня сплошная дуальность и дисгармония. Но главное — не поддаваться исторической волне фундаментализма, плыть против течения, как когда-то плыли мы против советских мифов…

— Так легко любить страну (и человека!) издалека! Так

влюбляются в Израиль мои хорошие умные московские друзья, приезжающие сюда на время. Это романтическая любовь. Может, и у меня к России такая же? А Израиль я люблю трудной любовью.

— Я достаточно заплатила за этот образ мыслей, когда выбрала свободу, не в силах взять на себя ответственность. Думала, что жизнь здесь — как в России плюс свобода. А оказалось, здесь — свобода минус все то, что мы любили в России.

— Тем не менее, я уже вросла в эту страну, и хотя я одинока здесь, но не изолирована — понимаешь разницу? Израильское государство — это я и есть, тысячи таких, как я, живущих своей частной жизнью. Слава Богу, государство у нас не тоталитарное, не сует нос в мою жизнь. А вам в России невдомек, что мой образ жизни и есть лучшее доказательство и оправдание государства Израиль!

Она много рассказывала мне о своих новых друзьях — О Пнине, Мальке, Хане и других, об их невероятных судьбах, стойкости и жизнелюбии. Некоторые чудом уцелели из лагерей смерти.

— Я все чаще думаю, какое богатство талантов, даже гениев (Эйнштейн, Кафка, Малер, у нас — Пастернак, может быть, Мандельштам) евреи производят при соприкосновении с другими народами и культурами. Из трения высекается искра особой, исключительной одаренности, а также пламя инквизиции, печей Освенцима и лагерных костров.

Вечный, великий, загадочный город лежал под нами, внизу, шумел ночной туристской жизнью. Вот русло высохшего Кедрона, над ним — Масличная гора, вот, под самыми нашими ногами — монастырь Креста, оливковая роща, по легенде, посаженная Лотом. А дальше, за сверкающим огнями Кнессетом, видным отовсюду, — мемориал Яд ва Шем с его никогда не гаснущими шестью миллионами свечек…

— Да, может быть, это и так. Но стоит ли платить за эти гениальные искры такими кострами? Давайте лучше жить без Малера и Кафки. Хватит и той искры, что высекается при нашем с вами соприкосновении.

Из этой нашей «искры» родилось ее страстное желание работать, писать, подытожить свой опыт и все те знания, что получила она в России. Историко-компаративный метод, воспринятый ею от Пинского, приложила она к текстам, по разным причинам особенно близким ей, — к поэзии Цветаевой. В 1992 году готовился юбилей поэта, и Инна хотела завершить свою работу к этой дате и поехать в Москву. А. Саакянц, наш старый и

верный друг, включила ее в список выступавших, но этому выступлению не суждено было состояться — у нее уже не было сил. А сама ее работа, ввиду большого объема, странствовала из журнала в журнал, пока наконец не появилась (лишь одна, последняя глава из нее) в журнале «Литературное обозрение» (1992, № 11–12). Через неделю после ее смерти!

Она обратилась к «Крысолову» Цветаевой. Не только потому, что тема, как я уже говорила, таинственно притягивала ее, но и потому, что это был уже хорошо знакомый ей материал — когда в 1963 году готовилось издание Марины Цветаевой в «Библиотеке поэта», Ариадна Сергеевна, перегруженная работой и, как обычно, опаздывавшая к сроку, попросила Инну помочь в работе над комментариями, и Инна с фанатичной добросовестностью просиживала в библиотеках в поисках толкований. И вот теперь, потянув за ниточку, она начала разматывать клубок дальше — как трансформировалась легенда на протяжении веков, что манило в ней столь разных поэтов?

Она искала емкую тему, которая впитала бы как можно больше информации, которая позволила бы ей мобилизовать все свои знания. Как скрупулезно изучала она источники, сколько вариантов отбросила!

«Ведь ты вытащила меня из смертной ямы, — писала она, — я должна докончить. Это мой долг — перед Алей, перед Мариной, перед Леонидом Ефимовичем, перед Россией». Она ходила в Британскую библиотеку в Иерусалиме, в Лондоне — в библиотеку Национального музея, выписывала из Германии варианты старинных легенд, в подлиннике читала Гёте, Гейне, Зимрока, Юлиуса Вольфа, сама переводила стихи для главы о Браунинге, не доверяя Маршаку, перечитала все, появлявшееся о Цветаевой по-русски. Но уже не простой ученицей, пережевывающей мысли своего любимого учителя, выступает она в этой работе. В ней много личного, выстраданного, и по тому, как расставлены акценты, — становится ясной и ее собственная позиция, которая шире литературных оценок.

Первая глава — о «Крысолове» Гёте. «Союзники у меня — только в прошлом. Недавно обрела нового — Гёте. Как он презирал этих дураков — романтиков-патриотов! Как говорил, кажется, Герцен, предпочитаю ошибаться вместе с Гёте, чем быть правой со всей этой оравой фундаменталистов». «По-моему, Гёте мне удался лучше всего. Есть даже маленькое открытие: кажется мне, что песенка Папагено из моцартовской «Волшебной флейты» pendant к гётевской песенке Крысолова. Сравнила тексты — поразительное совпадение формы и содержания».

После классического Крысолова Гёте, романтического —

Зимрока и «детского» — Браунинга она обратилась к «голодным крысам» Гейне. Гейне — ее старая любовь еще с юности. «Медленно пишу о Гейне. Перечла его и чувствую к нему, как писал Блок, «странную близость». Ну, для меня не такую уж странную, ибо — еврей… А почему пришелся он так ко двору в России? Всех захватывала его ирония!

Очень уж он актуальный. Кажется, до сих пор я не знаю об общественном развитии больше, чем он!»

В Гейне ее привлекала не только ирония (а уж чувства юмора, умения даже зло вышучивать самые «святые» вещи у моей учительницы хватало!). Его трагическая жизнь, болезнь, вынужденная отрезанность от внешнего мира — и при этом умение сохранить себя, отстоять свою личность, свое право быть самим собой — над этой загадкой Гейне билась она последние годы, проецируя на его жизни свой горький опыт. Многое, что писала она о Гейне, кажется написанным о самой себе. «Я читаю и зачитываюсь Гейне. Вот был умница! И эмигрант! И 8 лет в «матрацной могиле»! В эти годы он особенно поумнел: перестал, как он пишет, пасти свиней у гегельянцев и — блудный сын — выучился смирению. Или пытался выучиться. Никогда не врал перед собой. В судьбе моего сюжета — это случай особый. Крысы без крысолова. Тынянов в своем переводе назвал крыс «кагалом». У Гейне этого и в помине нет. Евреи для него — синоним торгашей и банкиров, никак не революционеров. А в последние годы и вообще — читал Библию и больше всего любил Моисея!»

О месте Гейне в ее жизни она могла бы сказать словами Цветаевой: «Генриха Гейне — нежно люблю, насмешливо люблю — мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть». В своей «матрацной могиле», в квартирке, зажатой между «фалафелем» и гаражом, она продолжала работать почти до самого конца. Иногда бывали перерывы, когда дул из пустыни горячий «хамсин», поднималось давление, она на время теряла зрение. Но — «Ванька-встанька», «Феникс», как называла ее Ариадна, — перемогала недуг и снова возвращалась к своим «милым спутникам». Она много думала над заглавием последней главы о «Крысолове» Цветаевой — хотела перефразировать Мандельштама: «…и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет…» Я предложила ей скомпилировать: «Своя чужая песнь».

«Свою главу о МЦ я писала запоем, как она сама своего «Крысолова». Не знаю, как читателям, а мне в процессе статьи уяснилось гениальное письмо Пастернака о поэме. Даже стыдно писать после него. Книга («Переписка Бориса Пастернака», я послала ей из Парижа. — И. Е.) у меня, и такая прекрасная,

поддерживает в часы ночных бдений. Не говорю уж о письме Марине о Крысолове. Если бы я могла понять его во всей его мудрости, вышла бы хорошая глава о Цветаевой. Только теперь, когда все мысли о цветаевском Крысолове, обнаружила, что в некоторых пунктах — о лейтмотивах, о слове, как организующем начале — додумалась до похожих идей».

То, что Инна до конца дней оставалась открытой, живой, доказывает ее новое отношение к Цветаевой. Выбор темы книги был сделан по любви, но второго романа с Цветаевой у нее не получилось. Если погружение в Гёте и Гейне она пережила как настоящие влюбленности, с Цветаевой она боролась, не принимала, оспаривала. В Гёте и Гейне она нашла союзников — в равнодушии первого к «мелким мировым дрязгам», в стоицизме второго, в его искусстве «не врать себе». Но между ее полудетским обожанием Марины и возвращением к ее поэзии в последние годы пролегла целая тяжелейшая жизнь, и вынесла она из этой борьбы терпимость и жизнелюбие — качества, прямо скажем, не из репертуара Цветаевой. «МЦ всегда отличала жизнебоязнь, — писала она в одном из «итоговых» писем — работа шла к концу, — об этом где-то в письмах Эфрона есть. А у Пастернака всегда была жизнеотвага. Помнишь? «И это тянет нас друг к другу». Отсюда очень многое — и повышенное чувство благодарности жизни и людям, и отсутствие чувства правоты, которое особенно дорого в наше время, когда все носятся со своей правотой и обвиняют друг друга. Я недавно думала, как вколачивает МЦ свои «формулы», а в результате — лучшие стихи это те, где, в конце концов, оказывается, как в «Тоске по родине», что «формула» — не права…»

Да, второй ее роман с Цветаевой не состоялся, она видела ее теперь во многом другими глазами, «вне романтической легенды», жизнь скорректировала угол зрения.

В последний раз мы виделись с ней в Париже осенью 1989 года. Мы сидели в Люксембургском саду около прелестного фонтана Медичи, усыпанного золотыми сентябрьскими листьями, и вспоминали нашу московскую молодость, Чистые пруды, Фурманный, поездки в Тарусу, «Ушатию», Ариадну… За решеткой сада веселился тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна 50 лет назад, рванувшись навстречу своей мученической судьбе.

— Да, она отказалась от жизни, после лагеря это было похоже на затянувшееся умирание. Но я слишком хорошо знаю, каково подчинить все идее выживания. Я вдруг стала замечать, как вульгарна эта пресловутая жизнестойкость, как вообще пошла жизнь без мысли о смерти. Помнишь Введенского? «На смерть, на

смерть держи равненье, поэт и всадник бедный!»

В сущности, мы разговаривали с ней всю жизнь. И в зимних сумерках, когда я провожала ее после уроков вдоль Чистых прудов, и в ее комнате с окном-фонарем, и в бесконечных письмах — сначала в мое изгнание, в лагерь, потом — к ней в эмиграцию, в Израиль, и во время редких встреч последних лет, — все это был один нескончаемый диалог. И теперь, когда уже нет на свете моего бессменного собеседника, остается лишь благодарить судьбу, что она послала мне его в начале жизни, ибо «любить с силой, равной квадрату дистанции, — участь наших сердец, пока мы дети».

Париж, 1993

notes

Примечания

1

В том числе сборники А. Ахматовой. Чьи там горели письма и чьи рукописные стихотворения, уже, по-видимому, не узнает никто.

2

Имеется в виду Алексей Сурков

3

Слово вписано чернилами, а внизу сноска: «вставке «якобы» верить».

4

Епишкин (Никифоров) Сергей Николаевич — муж знакомой О. В. Ивинской, из купеческой семьи, эмигрировал в Австралию, вернулся в СССР, подрабатывал уроками английского.

5

Будучи в лагере, Епишкин 3 марта 1954 года отправил в прокуратуру письмо с просьбой О пересмотре дела Ивинской

6

Инвалид войны первой группы.

7

Квартирная плата.

Л. Е. Пинский, ее учитель, МЭТР, преподававший историю западноевропейской литературы в МГУ им. М. В. Ломоносова.